Морские истории



РАССКАЗЫ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Морские истории. Рассказы русских писателей

Иван Сергеевич Тургенев, Александр Александрович Бестужев-Марлинский, Александр Серафимович, Максим Горький, Константин Михайлович Станюкович, Иван Алексеевич Бунин, Лев Николаевич Толстой, Чингиз Торекулович Айтматов, Константин Георгиевич Паустовский, Фазиль Абдулович Искандер, Александр Иванович Куприн, Борис Степанович Житков, Владимир Галактионович Короленко

Аннотация
Морские истории. Рассказы русских писателей
Ночь на корабле
Пожар на море
Акула
Прыжок
Мгновение

Человек за бортом
Матросик
Максимка
В бурю
Морской кот
На курорте
Мальва
Капитан
Листригоны
  I. Тишина
  II. Макрель
  III. Воровство
  IV. Белуга
  V. Господня рыба
  VI. Бора
  VII. Водолазы
  VIII. Бешеное вино
Сны Чанга
Шквал
Механик Салерно
Морская прививка
Пегий пес, бегущий краем моря
Рассказ о море

Аннотация

Матросы и капитаны, акулы и штормы, курортные наваждения и морские сны…

Герои этих рассказов бросают вызов стихии, спасают утопающих, ищут любовь, теряют себя и обретают смысл – на палубах, под килем, среди чаек, скал и соленого ветра. В сборнике представлены произведения Толстого, Короленко, Станюковича, Серафимовича, Куприна, Бунина, Житкова, Паустовского, Айтматова и других мастеров русской прозы, которые открывают перед читателем мир моря – суровый, чарующий, бесконечно живой.

Морские истории. Рассказы русских писателей

© Паустовский К. Г., наследник, 2025
© Айтматов Ч. Т., наследники, 2025
© Искандер Ф. А., наследник, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

* * *

Ночь на корабле

Я помню прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило;
Желаний и надежд томительный обман.
Шуми, шуми, послушное ветрило!
Волнуйся подо мной, угрюмый океан!

А. Пушкин

Александр Бестужев-Марлинский

Из записок гвардейского офицера на возвратном пути в Россию после кампании 1814 года

Рассказ

Английский фрегат «Flitch» («Стрела»),
6-й день пути

…Ветер свежал, валы разыгрывались сильнее и сильнее — фрегат[1] наш быстро катился по темной пучине океана. Заря давно уже потухла на краю пустого небосклона. Кругом темнело

---

[1] Примечания: 1

Фрегат — трехмачтовый военный парусный корабль; второй по величине после линейного корабля.

— и только вдали чернелись мачты сопутного нам русского флота, только мерцали по кораблям фонари, будто звездочки. Я сидел на корме, на коронаде[2], и любовался великанскими валами, которые как будто наперерыв гонялись за фрегатом, достигали его и с журчанием, с плеском о него разбивались. Фрегат вздрагивал при каждом ударе; клонился набок перед каждым напором ветра и снова вставал с треском и скрипом. Вахтенные матросы дремали по своим местам, и лишь однозвучное восклицание лейтенанта: «Steerboard! Backboard!» (право руля, лево руля) и вечный ответ: «Yes, yes» (слушаю!) повременно нарушал сторожной сон мореходцев. Я уже ознакомился с морскими опасностями и привык их не бояться. Притом равнодушие всех окружающих внушает спокойствие и самому робкому путешественнику; я беззаботно предался мечтаниям под свистом ветра, и, между тем как взоры мои летали за брызгами сшибающихся валов, мысли стремились далеко, очень далеко.

— Опять мечтаешь! — сказал мне капитан фрегата Рональд, тихо ударив по плечу, — а любезные твои товарищи беспечно пируют с нашими моря-

[2] Примечания: 2
Коронада — небольшая пушка.

ками в кают-компании. Но скажи искренно, dear Alister[3], куда и к кому летала теперь крылатая мысль твоя?

— Я упредил быстроту твоей стрелы, капитан! Я уже был на родине, милый Рональд!

Но я опишу прежде, кто был этот Рональд.

Он шотландец; говорят, отличный офицер на море и на суше; высокого росту и стройного стана, русоволос и смугл: две редкие вещи в британской природе. Не красавец, но, право, если б я был женщиной, то трудно б было в него не влюбиться. Какая-то суровая грусть придавала бледному лицу его важность и занимательность. Его глаза сверкали редко, но видно было, что это зарево прежнего пожара страстей. Есть глаза, которые с первого взгляда вызывают откровенность и заверяют дружбу; таково было благородное лицо Рональда. Мы с первой встречи были уже друзьями.

— Я был на родине! — повторял я.

— Счастливец! — сказал со вздохом Рональд. — Для тебя расцветает там будущее, но для меня оно нигде не существует.

— Ты несчастлив, Рональд? — спросил я, дру-

---

[3] Примечания: 3
Дорогой Алистер (*англ.*).

жески пожав ему руку. Его тронуло мое участие. За это искреннее пожатие руки он заплатил мне таким взором, что, если этот взор приснится мне и в могиле, я наверно улыбнусь от удовольствия. Со всем тем нелюбовь к человечеству превозмогла, и он с горькою улыбкою повторил:

— Несчастлив! люди так расточительны на выражения, что я боюсь показаться забавным, назвав себя только несчастливым. Говорят: как я несчастлив, что опоздал в театр, как я несчастлив, что не затравил зайца! Что ж сказать после этого мне, потерявшему все радости невозвратно и безнадежно?

— Ты любил, Рональд?

— Любил ли я?.. какая ж иная страсть в наши лета может возвысить душу до восторга или убить ее до отчаяния! Честолюбие родится уже в чаду потухшей любви; прилипчивое золото останавливает одну ползущую старость — юноша летит и любит. Ты сам любил, Алистер, и ты поймешь меня. Я стал чужой между одноземцами, товарищи не могут разуметь моих чувств; но у пылких душ одна отчизна, и я рад, что могу освежить свою разделом и высказать горе минутному другу, обитателю берегов невских; послушай.

Четыре года тому назад, как я ходил в Ост-Ин-

дию[4] на военном корабле, конвоировавшем флот компании. На возвратный путь к нам флагманом назначен был контр-адмирал кавалер Астон, занимавший в Мадрасе место вице-губернатора и возвращавшийся тогда с семейством своим в Европу. Он избрал наш корабль для пребывания, и мы снялись с якоря, едва он ступил на палубу. Я уже наслышался и о красоте старшей дочери Астона, но никогда не забуду той минуты, в которую ее увидел в полном блеске красоты и молодости. Как теперь гляжу на нее, одетую в светло-зеленое платье с перламутровою пряжкою на поясе и в широкой соломенной шляпке; не умею выразить, что со мной сталось, когда я подал ей руку, чтобы помочь выйти из шлюпки, когда она поблагодарила меня взором и, закрасневшись, опустила длинные ресницы!.. Есть страсти, которые вспыхивают, как порох, и горят до конца, как свеча, — такая-то страсть вспыхнула и во мне, Алистер!

По счастию или по несчастию, меня, как младшего лейтенанта, назначили к адмиралу флагофицером, то есть в должность, равносильную адъютантской, которая требовала, чтобы я безот-

---

[4] Примечания: 4

Ост-Индия — так в старину называлась собственно Индия, в отличие от Вест-Индии — островов в Атлантике близ Американского континента.

лучно находился при адмирале. Скоро я сделался у него домашним, еще скорее Мери ознакомилась со мною; уже она не краснела, встречаясь со мною взорами, — и нередко я заставал их пристально устремленными на меня. Бывало, она садилась диктовать какую-нибудь бумагу по службе, и я не дивился, отчего в них так много пропусков и ошибок. Бывало, когда я сижу за рисованием, она склонялась через мое плечо посмотреть на рисунок, и карандаш трепетал в руке, как в груди трепетало сердце. Как любил я спорить с этою милою, остроумною Мери и как часто забывал свой предмет и доказательства, вперяясь в ее небесные очи! Сколько раз, безмолвен, в упоении и в забытьи, сидел я за чайным столиком, любуясь каждым движением Мери и, кроме ее, ничего не видя и не слыша. Вся вселенная втеснилась для меня в каюту адмирала; в Мери забывал я всю вселенную. Три месяца восторгов пролетели как сон — и корабль наш бросил якорь у берегов Бразилии.

Желал бы забыть и позабыл тебе сказать, что Астон имел жену со всеми недостатками дурного воспитания, со всеми пороками злого характера, со всеми прихотями ничтожной гордости. Она управляла адмиралом, человеком умным, но

слабым, который предпочитал беспрекословно повиноваться воле жены, чем с шумом исполнять свою. Однако же леди Астон умела даже и его вывесть из терпения. Рассорилась с ним в Мадрасе и за две недели до его отъезда отправилась на ост-индском корабле к родным своим в Англию. Вообрази же, каково было наше изумление, когда при выходе адмирала на берег в Рио-Жанейро она кинулась в его объятия, как будто ничего не бывало. Такая нежданная и нежеланная встреча поразила и испугала Астона, который был весьма рад избавиться от любезной своей половины; но стечение народа было многочисленно, семейные ссоры и театральные сцены были бы не у места. Астон покорился необходимости и, проклиная внутренно такой случай, прижал жену к груди своей.

Мое счастье улетело с приездом леди Астон на корабль. Эта капризная женщина видела все в черном виде, и каждое движение дочери и каждый шаг мой были перетолкованы и оценены. Меня стали звать к адмиралу реже и реже и наконец совсем удалили от должности. Все, что терпело сперва мое самолюбие от обхождения леди Астон, — было услаждено удовольствием видеть Мери, — но все это было ничто против

мученья столь соседственной разлуки. Быть так близко подле нее и не быть с нею, слышать ее голос и не видеть ее лица, внимать шум ее походки, и только!.. О, Алистер! Это выше всякого понятия. Уныние Мери двоило тоску мою… и я таял очевидно. Этого мало: несчастье преследовало меня еще далее. Однажды мне удалось поговорить с Мери в каютное окно с галереи кают-компании, — но я дорого заплатил за это минутное удовольствие. Леди Астон меня увидела.

Чрез полчаса я был позван к адмиралу. Леди Астон с пылающим лицом сидела на диване, и следы ее гнева еще видны были на опрокинутом чайном столике и разбитых чашках; Мери плакала, сам адмирал ходил взад и вперед по каюте. «Вы съедете сию же минуту на корабль “Impregnable” (“Неодолимый”) и заступите там место заболевшего лейтенанта! — сказал он мне очень сурово. Я сожалею, что здесь задержал вас; вот ордер капитану Форрестеру… Прощайте!» Леди кивнула мне головою и бросила злобный взгляд; но я не мог видеть прелестного лица Мери, закрытого длинными ее локонами… Не помню, как вышел я наверх; не помню, как посадили меня в шлюпку; знаю только, что огромным валом опрокинуло нас у самого борта и с корабля едва

успели спасти меня и плавающих гребцов. Между тем буря свирепела час от часу, и уже нельзя было думать спустить гребное судно. Я остался.

Мы были уже на параллели Бискайского залива, когда ураган захватил нас. Он был жесток и продолжителен; двухдневная ночь задернула небо; ветер кружил, и никто не знал, где мы находимся. Пазы стали расходиться от качки; вода врывалась в корабль, как в решето; и люди падали у помп от изнеможения. Вдруг мы почувствовали удар — и руль вылетел вон, как перо… «Кидай лот[5]!» — «28 фут». — «Плохо!» — «25 фут». — «Еще хуже!» — «24 фута». — Ай, ай! Ай! Еще фут, и мы на мели, но глубина вдруг пошла на прибыль. Утешительный голос запел: «35 фут!» — «Хорошо!» — «42 фута». — «Нельзя лучше!» — «50 фут». «Бесподобно!» — «Дна нет, лот проносит». — Слава богу, думали все. Ушли от погибели. Но в это же мгновение корабль всем днищем грянул на мель, и волнением его начало бить о подводные скалы. Ужасное мгновение! Мертвая тишина настала по стоне и воплях… корабль тихо повалился набок, валы, как горы, пошли через палубу и, поднимая всю громаду, — разрушили ее в щепы, уносили

---

[5] Примечания: 5
Лот — прибор для определения глубины.

в море несчастных. Только при блеске молний, разрывающих мрак, обозначились черные скалы недалекого берега, — и белыми полосами мелькали, будто привидения, станицы хищных чаек, которые со зловещим криком вились над нами, радуясь своей добыче. Смерть была кругом: все гибло. Отчаянный, вбежал я в адмиральскую каюту: половина ее была уже в воде. Сердце мое облилось кровью — от того, что я увидел при бледном свете фонаря. Адмирал, между женой и двумя полумертвыми дочерьми, хотел и не мог скрыть ужасную истину! Мысль о вечной разлуке оледенила слезы в глазах его. Казалось, он оспаривал у жадной стихии ее жертвы; казалось, он хотел заслонить их от волн, врывающихся в разбитые окна. А Мери… Я бы отдал тысячу жизней одна за другою, чтобы спасти Мери, — но я позабыл о себе и о смерти, когда она с воплем исступления кинулась ко мне на грудь и заклинала спасти ее сестру, ее родителей. — Не знаю, какой ангел сохранил меня от безумства — видя неизбежную гибель той, которая была для меня все!

Рассвет озарил весь ужас нашего положения: одна только корма оставалась на поверхности — все прочее разнесено было волнами. Перед нами в полуверсте лежал пустой каменистый

берег, и высокие всплески показывали, что он неприступен. В горизонте не видно было ни одной мачты; только море бушевало кругом бедных остатков нашего корабля и ежеминутно грозило поглотить нас. Не знаю, можно ли вполне уразуметь мученье подобного состояния, еще более, когда видишь подле себя любезную?..

Я кончу вкоротке, Алистер; мы решились связать в плот кой-какие доски и бревна, привязать к ним женщин и пуститься с волнами к берегу, на Божию волю. Трое матросов унесены были волнами, еще двое раздавлены стиснутыми обломками, но остальные, напутствуемые Провидением, полуизбитые о камни, выброшены были на берег у подошвы скал. Во все это время я находился подле Мери, поддерживал ее на воде, удалял бревна, могшие сдавить ее, и уже видел ее вне опасности распростертую на песке, как вдруг огромный вал далеко взбежал на берег, покрыл нас — и унес бесчувственную Мери опять в море…

— Она утонула? — вскричал я.

— Она спаслась, Алистер!

Одна любовь могла вдохнуть в меня новые силы. Я кинулся в море, долго боролся с набегающими валами и наконец достиг ее — и с нею выплыл до мелкого места. Изнемогая, обвязал я

около ее тела брошенную с берега веревку — и опустился на дно. Горькая вода лилась в меня, в ушах звенело и журчало меня душило, грудь разрывалась — еще усилие, еще вздох — и больше не помню.

Есть утешительные минуты в жизни. Я открыл глаза, и что ж? Мери, бледная как воск, склонясь, стояла надо мною. Влажные волосы прильнули к шее, капли морской воды катились еще по прелестному ее лицу. Вся душа ее была в глазах, устремленных на меня со страхом ожидания. Рука ее лежала на моем сердце, которое билось для одной ее, для ней только перестало биться! Ах, зачем я не умер после этого небесного мгновения!

Мы находились на пустом берегу острова Овезанда. Вся семья адмирала спаслась. Еще двое офицеров и восемь человек матросов… прочие погибли. Скоро утихла буря, и шлюпки, с флота посланные, нашли нас и перевезли на покойнейший корабль. Помощь лекарей и старания дружбы восстановили силы наши, и флот, без всяких приключений, прибыл в Англию.

Леди Астон не могла не чувствовать важности услуги, мною оказанной. Обещания, которые вырвались у ней в минуту погибели, и ласки, которыми она осыпала меня за спасение Мери,

были у ней еще в свежей памяти: дом адмирала стал для меня отворен.

Я взял отставку и зажил в Лондоне. Настала зима, пришла пора балов, и я сказал «прости» своему спокойствию. Свет был для меня не чужой: я бросил его по сердцу и снова бросился в него для сердца, вслед за Мери. Лорд Грагам считался мне сродни, и потому я мог смело кидать свои карточки на камины богачей и вельмож, которые жили открыто. Мери, предупрежденная молвою, показалась к ним в сопровождении толпы модных воздыхателей, и все наши dandys заахали от удивления, все кинулись ее смотреть с таким же чувством, как смотрят они новую панораму или белого слона. Но, к сожалению, увидел я, что лесть и пышность кружили Мери голову. Она уже скучала домашнею жизнию и только воздухом гостиных дышала веселее. Гораздо чаще произносила она имена графинь и леди, чем имена других своих приятельниц. Улыбка самодовольствия мелькала на ее щеках, когда лорды и баронеты танцевали с нею; одним словом, я не узнавал в этой гордой красавице Мери, и она едва узнавала своих старых знакомцев. Я так много любил ее, что не мог не желать быть часто с нею; но довольно горд, чтоб не ползать в толпе окружавших ее

кукол и добиваться очереди. Поэтому я танцевал с нею редко, и беспокойное мое воображение не дремало на досуге. Нередко, правда, когда Мери сходилась со мною, видно было, что, хотя тщеславие шептало ей за лордов и эсквайров, сердце говорило за сира Рональда, и она незаметною ласкою награждала своего верного рыцаря. Однако ж самолюбие мое оскорблялось тем не менее, что она не искала, хотя и не избегала случаев быть со мною. Сколько бессонных ночей, сколько дней безотрадных провел я от этих балов; как много крови сожгли во мне ревность и досада! Только дома находил я в ветреной Мери прежнюю милую Мери, и сердце мое, охладевшее в свете, таяло от ее взора, и ревность утихала от ее внимания. Наконец благосклонность Мери оживила щекотливые надежды мои, и страсть сравняла все препятствия. Я забыл высокомерие ее родственников и неудовольствие моих родных. Лестная мысль обладать Мери совершенно овладела мною — и я стал довольно явно оказывать свои намерения. Да и почему бы не мог я жениться на Мери? Предки мои предводили кланами еще тогда, как предки многих из нынешних лордов пасли стада свои; имена Рональдов были чаще на устах славы, чем имя Астонов, и состо-

яние мое могло доставить жизнь не блестящую, но безбедную. Я не говорю уже о себе, потому что говорю в смысле приличий, хотя нигде и ни в чем я не бывал последним.

Заметив мои виды, леди Астон вспыхнула. Привязалась ни к чему, велела дочери удалиться и обиняками наговорила мне множество обидного. Для Мери я скрепил сердце, переломил свою гордость и молчал. Я еще желал внутренно разуверить себя, извинить леди Астон, приписывая все угрюмости ее характеру, а не умыслу. Дорого стоило мне решиться быть еще раз у Астона; однако ж любовь перемогла, и я дня через три явился к обеду.

Упрямая леди не вышла; адмирал был холоден; я ожидал этого и не удивился; но вид Мери поразил меня: ее спокойное цветущее лицо нимало не изменилось при моем входе. Она обошлась со мною, будто с едва знакомым. Односложные слова были ответом на мои вопросы. Друг Алистер! Она коротко знала мой нрав, знала, что малейшая безделица может расстроить меня надолго, что одно ее холодное слово могло отравить мое существование, — знала — и ни одного взора, ни одного утешительного взора не склонила на того, кому за три дня посылала с ними и сердце.

Это уже было чересчур для меня. Воля матери не могла заставить ее терзать меня и холодность удвоить высокомерием. Есть конец всему… и чувство собственного достоинства подкрепило мое слабое сердце. Я мог быть презрен, но презрителен — никогда! Рональд не привык играть роль Селадона на привязи — я гордо простился с Мери; но мог ли я хладнокровно перенести эту обиду моему самолюбию, эту измену в прекраснейшем существе на земле, и с тем — уничтожение лучших надежд, сладчайших мечтаний моих!.. Друг! Друг! Я впервые плакал тогда кровавыми слезами обманутой любви и неудовлетворенного бешенства!

Заря застала меня на пути к Плимуту, и через десять дней я ступил на испанский берег, как волонтер Веллингтоновой[6] армии. Там искал я рассеяния и не находил его. Мое сердце замерло для красот природы, для веселостей жизни, и шум бивака не заглушал тоски душевной. Образ Мери не оставлял меня в дыму битвы и на софах красавиц знойного климата. Искренно признаюсь

---

[6] Примечания: 6

Веллингтон Артур Уэлсли (1769–1852) — английский военачальник в 1808–1813 гг. Командовал союзными войсками в войне с Наполеоном на Пиренейском полуострове. В 1815 г. стал победителем в битве при Ватерлоо.

тебе, Алистер, что безнадежная страсть эта утешала меня. Я любил воображать Мери невольно меня оправдывающую, может быть сожалеющую Рональда. Я думал о ней, гоняясь за славой, — мечтал, как дойдет до нее весть о моей отваге, о моем отличии, — она со вздохом скажет: «он мог быть моим…», но к чему воскрешать невозвратное! К чему развевать пепел погасшей лавы!

Протекло два года, и моя тихая грусть взволнована была вновь письмом от двоюродной сестры моей из Англии. Она писала, что бывает часто у Астона, что у них многое переменилось. «В большом свете на все мода, — изъяснялась она. — Мери проблестела свою череду — и мотыльки вьются теперь около новых цветков. Да и без того в молодежи нашей не было бы проку: один золотой магнит привлекает ее постоянно, а Мери не довольно богата для того круга, в который бросила ее судьба. Воздушные королевства леди Астон рассеялись, и она видит теперь, что напрасно метила на перов да вицероев[7]; зато бедная Мери, со своим пылким сердцем и в нем с необходимостью любить, достойна участия, не только сожаления. Завлеченная наружностию, обма-

[7] Примечания: 7
Вицерой — вице-король, высший придворный чин.

нутая выученными фразами, она думала найти Грандисонов[8] в большом свете и поздно узнала свою ошибку. Автоматы наши не могли не только чувствовать, подобно ей, ни даже разуметь ее чувствований. Забытая в толпе, Мери, снедаемая самолюбием и раскаянием, блекнет и худеет, и мне кажется, милый Рональд, что она еще любит тебя, любит более чем когда-нибудь. Когда заводят о тебе разговор, она задумывается, вздыхает украдкою, и нередко слезы навертываются у ней на глазах. Адмирал скучает, что не с кем спорить о политике… «Бывало, Рональд, — говорит он; даже леди Астон начинает хвалить тебя». «Милый братец, — прибавила кузина, — отбрось гордость, которая делает тебя несчастливым, перестань бегать от самого себя; приезжай к нам, а прочее сладится само собою. Мери еще прекрасна и с тобой расцветет вновь, как роза». Можешь себе вообразить, Алистер, что это письмо еще более прежнего возбудило мой гнев. Нет! Унижением не купит Рональд своего счастия, не станет заменительным мужем за недостатком лучшего,

[8] Примечания: 8

Грандисон — идеальный герой романа английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689–1761) «История сэра Чарльза Грандисона» (1754).

не будет le pis-aller[9], как говорят французы. Я изорвал письмо и остался в армии.

Славный день сражения при Виттории был черным днем для меня. Увлеченный излишнею запальчивостию в преследовании неприятеля, я вскакал в кирасирский эскадрон и, простреленный пулею в руку, был сбит с лошади и захвачен в плен. В Испании трофеи были редки для французов, и меня немедленно отослали во Францию. Скоро, по размене пленных, я стал свободным и, выздоравливающий, полетел на родину. Как сладостно забилось сердце мое, когда с пристани в Кале завидел я туманные берега Британии. Время утишает гнев, разлука придает цену свиданию, и я радостно воображал себя уже в кругу друзей и родных и, скажу ли?.. мечтал о Мери, о счастии; сердце ее оправдывало и даже самый разум говорил: «кто не заблуждался?..» Я колебался. Все может быть, думал я наконец; но к чему разгадывать будущее?

Между тем в ожидании пакетбота[10] мне вздумалось побродить по городу. «Вот английская

---

[9] Примечания: 9
Крайним средством (*фр.*).

[10] Примечания: 10
Пакетбот — небольшое судно, употреблявшееся для пересылок, связи.

церковь», — сказал лон-лакей[11], указывая на один дом, и я зашел посмотреть ее. Меня удивило, что двери не были заперты, а в церкви ни души. Только в приделе, направо, стоял на катафалке гроб. Я взошел на ступени, чтобы прочесть надпись прибитой на нем гербовой доски, но верхняя ее часть случайно была закрыта крепом, и я только мог разобрать, что умершая была молодая путешественница, которая искала на твердой земле здоровья и нашла гроб, едва ступив на нее. Любопытство заставило меня поднять покрывало, но какой-то невольный трепет охватил меня, когда я стал отцеплять покров от цветочного венка, в который он запутался. Я поднял его медленно, и умершая, бледная как смерть, но прелестная как жизнь, представилась глазам моим. В церкви было темно: я наклонился, чтобы рассмотреть ее попристальнее, и вдруг глаза мои остановились вместе с дыханием: это была Мери Астон! Этих чувств, которые соединяют в одной минуте целые веки адских мучений, Алистер, не ощущают дважды. Не знаю, как вынес я и одно то мгновение, когда прижал губы свои к мертвым посиневшим устам обожаемой Мери и напе-

[11] Примечания: 11
Лон-лакей — привратник.

чатлел на них прощальный поцелуй, который запрещен был мне при ее жизни. Кровь во мне застыла, разум помрачился — и я без чувств упал на холодный пол… Друг Алистер! Я едва не плачу теперь, но тогда я не мог плакать… — Рональд завернулся в полосатый плащ свой, чтобы скрыть свои слезы… но ему нечего было их стыдиться — горячая слеза участия упала на сжатую в руке моей руку несчастного. Ветер завывал, паруса трепетали, и фрегат наш быстро катился по темной влаге океана.

1823

Пожар на море

Иван Тургенев
Рассказ

Это было в мае 1838 года.

Я находился вместе с множеством других пассажиров на пароходе «Николай I», делавшем рейсы между Петербургом и Любеком. Так как в то время железные дороги еще мало процветали, то все путешественники избирали морской путь. По этой же причине многие из них брали с собою собственные экипажи, чтобы продолжать свое путешествие по Германии, Франции и т. д.

У нас на корабле, помнится мне, было двадцать восемь господских экипажей. Нас, пассажиров, было около двухсот восьмидесяти, считая в этом числе человек двадцать детей.

Я был тогда очень молод и, не страдая морскою болезнью, очень был занят всеми этими новыми впечатлениями. На корабле было несколько дам, замечательно красивых или хорошеньких, — большая часть из них умерла, увы!

Матушка в первый раз отпустила меня ехать одного, и я должен был обещать ей вести себя

благоразумно и, главное, не дотрогиваться до карт… И вот именно это-то последнее обещание и было нарушено первым.

В этот самый вечер было большое собрание в общей каюте, — между прочим, тут находилось несколько игроков, хорошо известных в Петербурге. Они каждый вечер играли в банк, и золото, которое в то время можно было видеть чаще, нежели теперь, оглушительно звенело.

Один из этих господ, видя, что я держусь в стороне, и не зная причины этого, неожиданно предложил мне принять участие в его игре; когда я, с наивностью своих девятнадцати лет, объяснил ему причину своего воздержания, — он расхохотался и, обращаясь к своим товарищам, воскликнул, что нашел сокровище: молодого человека, никогда не дотрогивавшегося до карт и вследствие этого самого предназначенного иметь огромное, неслыханное счастье, настоящее счастье простаков!..

Не знаю, как это случилось, но через десять минут я уже сидел за игорным столом, с руками, полными карт, имея обеспеченную долю в игре, — и играл, играл отчаянно.

И нужно сознаться, что старая пословица не соврала. Деньги текли ко мне ручьями; две кучки

золота возвышались на столе по обеим сторонам моих дрожащих и покрытых каплями пота рук. Игрок, который завлек меня, не переставал меня подбивать и поощрять… Сказать по правде, я уж думал, что сразу разбогатею!..

Вдруг дверь каюты распахивается во всю ширину, в нее врывается дама вне себя, замирающим голосом восклицает: «Пожар!» — и падает в обмороке на диван. Это произвело сильнейшее волнение; никто не остался на месте; золото, серебро, банковые билеты покатились и рассыпались во все стороны, и мы все бросились вон. Как мы раньше не заметили дыма, который набирался уже и в каюту? я этого совершенно не понимаю! лестница была полна им. Темно-красное зарево, как от горящего каменного угля, вспыхивало там и сям. Во мгновение ока все были на палубе. Два широких столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль мачт; началась ужаснейшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Беспорядок был невообразимый: чувствовалось, что отчаянное чувство самосохранения охватило все эти человеческие существа и в том числе меня первого. Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матушки, если

ему удастся спасти меня. Матрос, который, естественно, не мог принять моих слов за серьезное, высвободился от меня; да я и сам не настаивал, понимая, что в том, что я говорю, нет здравого смысла. Впрочем, в том, что я видел вокруг себя, его было не более. Совершенно справедливо, что ничто не равняется трагизму кораблекрушения или пожара в море, кроме их комизма. Например: богатый помещик, охваченный ужасом, ползал по полу, неистово кладя земные поклоны; когда же вода, которую изобильно лили в отверстия угольных трюмов, на минуту укротила ярость пламени, он встал во весь рост и закричал громовым голосом: «Маловерные! неужели вы думали, что наш Бог, русский Бог, нас покинет?» Но в ту же минуту пламя метнуло сильнее, и многоверующий бедняк опять упал на четвереньки и снова принялся бить земные поклоны. Какой-то генерал с угрюмо-растерянным взором не переставал кричать: «Нужно послать курьера к государю! К нему послали курьера, когда был бунт военных поселений, где я был, да, лично, и это спасло хоть некоторых из нас!» Другой барин, с дождевым зонтиком в руках, вдруг с ожесточением принялся прокалывать находившийся тут же в багаже дрянной портретишко, писанный масляными

красками и привязанный к своему мольберту. Концом зонтика он проткнул пять дырок: на месте глаз, носа, рта и ушей. Разрушение это он сопровождал восклицанием: «К чему все это теперь?» И эта картина ему не принадлежала! Толстый господин, весь в слезах, похожий на немецкого пивовара, не переставал вопить плаксивым голосом: «Капитан! Капитан!..» И когда капитан, вышедший из терпенья, схватил его за шиворот и крикнул ему: «Ну? я капитан, что же вам нужно?» — толстяк посмотрел на него с убитым видом и снова принялся стонать: «Капитан!» И, однако, этот же капитан всем нам спас жизнь. Во-первых, тем, что в последнюю минуту, когда еще можно было добраться до машины, изменил направление нашего судна, которое, идя прямо на Любек, вместо того чтобы круто повернуть к берегу, непременно сгорело бы раньше, чем вошло в гавань; и во-вторых, тем еще, что приказал матросам обнажить кортики и без сожаления колоть всякого, кто попробует дотронуться до одной из двух оставшихся шлюпок, — все остальные опрокинулись благодаря неопытности пассажиров, хотевших спустить их в море.

Матросы, большею частью датчане, со своими энергическими и холодными лицами и чуть не

кровавым отблеском пламени на лезвиях ножей, внушали невольный страх. Был довольно сильный шквал; он еще усилился от пожара, который ревел в доброй трети судна. Я должен сознаться, что бы там ни подумала об этом мужская половина рода человеческого, что женщины в этом случае показали больше мужества, нежели мужчины. Бледных как смерть ночь застала их в постелях (вместо всякой одежды на них были накинуты только одеяла), и как ни был я неверующ уже тогда, но они показались мне ангелами, сошедшими с неба, чтобы пристыдить нас и придать нам храбрости. Но были, однако, и мужчины, которые выказали бесстрашие. Я особенно помню одного, г. Д-ва, нашего бывшего русского посланника в Копенгагене: он скинул сапоги, галстук и сюртук, который завязал рукавами на груди, и, сидя на толстом натянутом канате, болтал ногами, спокойно куря свою сигару и оглядывая каждого из нас по очереди с видом насмешливого сожаления. Что касается меня, то я нашел убежище на наружной лестнице, где и уселся на одной из последних ступенек. Я с оцепенением смотрел на красную пену, которая клокотала подо мною и брызги которой долетали мне в лицо, и говорил себе: «Так вот где придется

погибнуть в девятнадцать лет!» — потому что я твердо решился лучше утонуть, чем испечься. Пламя сводом выгибалось надо мною, и я очень хорошо отличал его вой от рева волн.

Недалеко от меня, на той же лестнице, сидела маленькая старушка, должно быть, кухарка которого-нибудь из семейств, ехавших в Европу. Спрятав голову в руки, она, казалось, шептала молитвы, — вдруг она быстро взглянула на меня и, потому ли, что ей показалось, будто она прочла на моем лице пагубную решимость, или по какой другой причине, но она схватила меня за руку и почти умоляющим голосом настоятельно сказала: «Нет, барин, никто в своей жизни не волен, — и вы не вольны, как никто не волен. Что Бог велит, то пусть и сбудется, — ведь это значило бы на себя руки наложить, а за это бы вас на том свете покарали».

У меня не было до той минуты никакой охоты к самоубийству, но тут, из-за чего-то вроде хвастовства, совершенно необъяснимого в моем положении, я два или три раза притворился, будто хочу исполнить намерение, которое она предполагает во мне, — и каждый раз бедная старуха бросалась ко мне, чтобы помешать тому, что в глазах ее было преступлением. Наконец мне сде-

лалось стыдно, и я перестал. В самом деле, зачем играть комедию в присутствии смерти, которую в эту минуту я серьезно считал угрожающей и неизбежной? Впрочем, мне не хватило времени ни отдать себе отчета в этой странности чувств, ни восхититься отсутствием эгоизма (что теперь назвали бы альтруизмом) бедной женщины, потому что в эту минуту рев пламени над нашими головами удвоил свою ярость, но как раз в ту же минуту голос, звеневший точно медь (это был голос нашего спасителя), раздался над нами: «Что вы там делаете, несчастные? Вы погибнете, идите за мною!» И тотчас, не зная, ни кто нас зовет, ни куда нужно идти, и старуха и я вскочили, будто подтолкнутые пружиной, и бросились сквозь дым вслед за матросом в синей куртке, который впереди нас лез вверх по веревочной лестнице. Не зная зачем, и я полез за ним по этой лестнице; я думаю, что, если бы он в эту минуту бросился в воду или сделал бы вообще что бы то ни было совсем необыкновенное, я слепо последовал бы за ним. Взобравшись на две или три ступеньки, матрос тяжело спрыгнул на верх одного из экипажей, низ которого уже загорался. Я прыгнул за ним и слышал, как старуха прыгнула за мною; потом с этого первого экипажа матрос прыгнул

на второй, потом на третий, я все время позади него — и мы таким образом очутились на носу парохода.

Почти все пассажиры собрались здесь. Матросы под наблюдением капитана спускали в море одну из наших двух шлюпок — к счастью, самую большую. Через другой борт корабля я увидел ярко освещенные пожаром крутые береговые утесы, которые спускаются к Любеку. Было добрых две версты до этих утесов. Я не умел плавать — место, на котором мы стали на мель (мы и не заметили, как это случилось), было, по всей вероятности, не глубоко, но волны были очень велики. И все-таки, как только я увидел скалы, уверенность, что я спасен, овладела мною — и, к изумлению окружающих меня лиц, я несколько раз подпрыгнул и крикнул: «Ура!» Я не захотел подойти ближе к тому месту, где толпа теснилась, чтобы добраться до лестницы, которая вела к большой шлюпке, — там было слишком много женщин, стариков и детей; да я с тех пор, как увидел скалы, уже и не торопился больше: я был уверен, что спасен. Я с удивлением заметил, что почти никто из детей не выказывал страха, что некоторые из них даже засыпали на руках у матерей. Ни один ребенок не погиб. Я увидел среди

группы пассажиров высокого генерала; с платья его текла вода; он стоял неподвижно, опираясь на поставленную стоймя лавку, которую он только что оторвал. Мне сказали, что в первую минуту перепуга он грубо оттолкнул женщину, которая хотела опередить его и раньше него спрыгнуть в одну из первых лодок, опрокинувшихся потом по вине пассажиров. Один из служащих на пароходе схватил его в охапку и с силой отбросил назад, на судно, и старый солдат, устыдившись своей минутной трусости, поклялся сойти с корабля только последним, после капитана. Он был высокого роста, бледен, с кровавой ссадиной на лбу, и глядел вокруг взглядом сокрушенным и покорным, точно бы просил прощенья.

В это время я приблизился к левому борту корабля и увидел нашу меньшую шлюпку, пляшущую на волнах, как игрушка; два находившиеся в ней матроса знаками приглашали пассажиров сделать рискованный прыжок в нее — но это было не легко: «Николай I» был линейный корабль, и нужно было упасть очень ловко, чтобы не опрокинуть шлюпки. Наконец я решился: я начал с того, что стал на якорную цепь, которая была протянута снаружи вдоль корабля, и собирался уже сделать скачок, когда толстая, тяжелая и мягкая

масса обрушилась на меня. Женщина уцепилась мне за шею и недвижно повисла на мне. Признаюсь, первым моим побуждением было насильно перебросить ее руки через мою голову и таким образом отделаться от этой массы; к счастью, я не последовал этому побуждению. Толчок чуть не сбросил нас обоих в море, но, к счастью, тут же, перед моим носом, болтался, вися неизвестно откуда, конец веревки, за который я уцепился одною рукою, с озлоблением, ссаживая себе кожу до крови… потом, взглянув вниз, я увидел, что я и моя ноша находимся как раз над шлюпкою и… тогда с Богом! Я скользнул вниз… лодка затрещала во всех швах… «Ура!» — крикнули матросы. Я уложил свою ношу, находившуюся в обмороке, на дно лодки и тотчас обернулся лицом к кораблю, где увидел множество голов, особенно женских, лихорадочно теснившихся вдоль борта.

«Прыгайте!» — крикнул я, протягивая руки. В эту минуту успех моей смелой попытки, уверенность, что я в безопасности от огня, придавали мне несказанную силу и отвагу, и я поймал единственных трех женщин, решившихся прыгнуть в мою шлюпку, так же легко, как ловят яблоки во время сбора. Нужно заметить, что каждая из этих дам непременно резко вскрикивала в ту минуту,

когда бросалась с корабля, и, очутившись внизу, падала в обморок. Один господин, вероятно одуревший с перепугу, едва не убил одну из этих несчастных, бросив тяжелую шкатулку, которая разбилась, падая в нашу лодку, и оказалась довольно дорогим несессером. Не спрашивая себя, имею ли я право распоряжаться ею, я тотчас подарил ее двум матросам, которые точно так же без всякого стеснения приняли подарок. Мы тотчас стали грести изо всех сил к берегу, сопровождаемые криками: «Возвращайтесь скорее! пришлите нам назад шлюпку!» Поэтому, когда оказалось не больше аршина глубины, пришлось вылезать. Мелкий, холодный дождик уже с час как моросил, не оказывая никакого влияния на пожар, но нас он промочил окончательно до костей.

Наконец мы добрались до этого желанного берега, который оказался не чем иным, как обширной лужей жидкой и липкой грязи, где ноги вязли по колено.

Наша лодка быстро удалилась и так же, как и большая шлюпка, принялась сновать между кораблем и берегом. Пассажиров погибло мало, всего восемь: один упал в угольный трюм; другой утонул, потому что захватил с собою все свои деньги. Этот последний, имя которого я едва знал,

играл со мною в шахматы в продолжение большей части дня и делал это с таким ожесточением, что князь W..., следивший за нашею партией, кончил тем, что воскликнул: «Можно подумать, что вы играете, будто у вас дело идет о жизни и смерти!»

Что касается до багажа, то он почти весь погиб, так же как и экипажи.

В числе дам, спасшихся от крушения, была одна г-жа T..., очень хорошенькая и милая, но связанная своими четырьмя дочками и их нянюшками; поэтому она и оставалась покинутой на берегу, босая, с едва прикрытыми плечами. Я почел нужным разыграть любезного кавалера, что стоило мне моего сюртука, который я до тех пор сохранил, галстука и даже сапог; кроме того, крестьянин с тележкой, запряженной парой лошадей, за которым я сбегал на верх утесов и которого послал вперед, не нашел нужным дождаться меня и уехал в Любек со всеми моими спутницами, так что я остался один, полураздетый, промокший до костей, в виду моря, где наш пароход медленно догорал. Я именно говорю «догорал», потому что я никогда бы не поверил, что такая «махинища» может быть так скоро уничтожена. Это было теперь не более как ши-

рокое пылающее пятно, недвижимое на море, изборожденное черными контурами труб и мачт и вокруг которого тяжелым и равнодушным полетом сновали чайки, — потом большой сноп золы, испещренный мелкими искрами и рассыпавшийся широкими кривыми линиями уже по менее беспокойным волнам. И только? — подумал я. — И вся наша жизнь разве только щепотка золы, которая разносится по ветру?

К счастью для философа, у которого начинал уже зуб на зуб не попадать, другой фурщик забрал меня. Он взял за это два дуката, но зато укутал меня в свой толстый плащ и спел мне две или три мекленбургские песни, которые мне довольно понравились. Таким образом, я добрался до Любека на заре; тут я встретил своих товарищей по крушению, и мы отправились в Гамбург. Там мы нашли двадцать тысяч рублей серебром, которые император Николай, как раз находившийся тогда проездом в Берлине, прислал нам со своим адъютантом. Все мужчины собрались и общим голосом решили предложить эти деньги дамам. Нам было тем легче сделать это, что в те времена всякий русский, приезжавший в Германию, пользовался неограниченным кредитом. Теперь уже не то.

Матрос, которому я за свое спасение наобещал непомерную сумму от имени матушки, явился требовать от меня исполнения моего обещания. Но так как я не был вполне уверен, он ли это действительно, да и сверх того, так как он ровно ничего не сделал, чтобы меня спасти, то я предложил ему талер, который он и принял с благодарностью.

Что касается до бедной старушки-кухарки, которая так заботилась о спасении моей души, то я ее никогда больше не видал — но уж про нее-то наверно можно сказать, что сгорела ли она или утонула, а место ее уже было уготовано в раю.

1883

Акула

Лев Толстой
Рассказ

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный, с моря дул свежий ветер; но к вечеру погода изменилась: стало душно и точно из топленой печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары.

Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!» — и в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили купальню.

На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, они вздумали плавать наперегонки в открытом море.

Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем.

Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сынишку. Когда сын стал отставать, отец

крикнул ему: «Не выдавай! понатужься!»

Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» — и все мы увидали в воде спину морского чудовища.

Акула плыла прямо на мальчиков.

— Назад! назад! вернитесь! акула! — закричал артиллерист. Но ребята не слыхали его, плыли дальше, смеялись и кричали еще веселее и громче прежнего.

Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь, смотрел на детей.

Матросы спустили лодку, бросились в нее и, сгибая весла, понеслись что было силы к мальчикам; но они были еще далеко от них, когда акула уже была не дальше двадцати шагов.

Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не видали акулы; но потом один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг, и мальчики поплыли в разные стороны.

Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилег к пушке, прицелился и взял фитиль.

Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет.

Раздался выстрел, и мы увидали, что артиллерист упал подле пушки и закрыл лицо руками.

Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту дым застлал нам глаза.

Но когда дым разошелся над водою, со всех сторон послышался сначала тихий ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий, радостный крик.

Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море.

По волнам колыхалось желтое брюхо мертвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль.

1875

Прыжок

Лев Толстой
Рассказ

Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей, и видно было — она знала, что ею забавляются, и оттого еще больше расходилась.

Она подпрыгнула к двенадцатилетнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ли ему или плакать.

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать ее. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на нее, но она еще злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной

на мачту. В одну минуту он взобрался по веревке на первую перекладину; но обезьяна еще ловчее и быстрее его, в ту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась еще выше.

— Так не уйдешь же ты от меня! — закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять подманила его, полезла еще выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепившись задней рукой[12] за веревку, повесила шляпу на край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина два, так что достать ее нельзя было иначе, как выпустить из рук веревку и мачту.

Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын; но, как увидали, что он пустил веревку и ступил на перекладину, покачивая руками, все замерли от страха.

---

[12] Примечания: 12

У обезьян 4 руки. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

Стоило ему только оступиться — и он бы вдребезги разбился о палубу. Да если б даже он и не оступился, а дошел до края перекладины и взял шляпу, то трудно было ему повернуться и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что будет.

Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался.

В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нес ружье, чтобы стрелять чаек[13]. Он увидал сына на мачте, и тотчас же прицелился в сына и закричал: «В воду! прыгай сейчас в воду! застрелю!» Мальчик шатался, но не понимал. «Прыгай или застрелю!.. Раз, два...» и как только отец крикнул: «три» — мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул.

Точно пушечное ядро, шлепнуло тело мальчика в море, и не успели волны закрыть его, как уже двадцать молодцов-матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через сорок — они долги показались всем — вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и из носа поли-

---

[13] Примечания: 13
Морские птицы. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

лась вода, и он стал дышать.

Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не видал, как он плачет.

1875

Мгновение

Владимир Короленко
Очерк

I

— Будет буря, товарищ.

— Да, капрал, будет сильная буря. Я хорошо знаю этот восточный ветер. Ночь на море будет очень беспокойная.

— Святой Иосиф пусть хранит наших моряков. Рыбаки успели все убраться…

— Однако посмотрите: вон там, кажется, я видел парус.

— Нет, это мелькнуло крыло птицы. От ветра можешь скрыться за зубцами стены… Прощай. Смена через два часа…

Капрал ушел, часовой остался на стенке небольшого форта, со всех сторон окруженного колыхающимися валами.

Действительно, близилась буря. Солнце садилось, ветер все крепчал, закат разгорался пурпуром, и по мере того как пламя разливалось по небу, — синева моря становилась все глубже

и холоднее. Кое-где темную поверхность его уже прорезали белые гребни валов, и тогда казалось, что это таинственная глубь океана пытается выглянуть наружу, зловещая и бледная от долго сдержанного гнева.

На небе тоже водворялась торопливая тревога. Облака, вытянувшись длинными полосами, летели от востока к западу и там загорались одно за другим, как будто ураган кидал их в жерло огромной раскаленной печи.

Дыхание близкой грозы уже веяло над океаном.

Над темной зыбью, точно крыло испуганной птицы, мелькал парус: запоздалый рыбак, убегая перед бурей, видимо, не надеялся уже достигнуть отдаленного берега и направил свою лодку к форту.

Дальний берег давно утонул в тумане, брызгах и сумерках приближавшегося вечера. Море ревело глубоко и протяжно, и вал за валом катился вдаль к озаренному еще горизонту. Парус мелькал, то исчезая, то появляясь. Лодка лавировала, трудно побеждая волны и медленно приближаясь к острову. Часовому, который глядел на нее со стены форта, казалось, что сумерки и море с грозной сознательностью торопятся покрыть

это единственное суденышко мглою, гибелью, плеском своих пустынных валов.

В стенке форта вспыхнул огонек, другой, третий. Лодки уже не было видно, но рыбак мог видеть огни — несколько трепетных искр над беспредельным взволнованным океаном.

II

— Стой! Кто идет?

Часовой со стены окликает лодку и берет ее на прицел.

Но море страшнее этой угрозы. Рыбаку нельзя оставить руль, потому что волны мгновенно бросят лодку на камни… К тому же старые испанские ружья не очень метки. Лодка осторожно, словно плавающая птица, выжидает прибоя, поворачивается на самом гребне волны и вдруг опускает парус… Прибоем ее кинуло вперед, и киль скользнул по щебню в маленькой бухте.

— Кто идет? — опять громко кричит часовой, с участием следивший за опасными эволюциями лодки.

— Брат! — отвечает рыбак, — отворите ворота ради святого Иосифа. Видишь, какая буря!

— Погоди, сейчас придет капрал.

На стене задвигались тени, потом открылась

тяжелая дверь, мелькнул фонарь, послышались разговоры. Испанцы приняли рыбака. За стеной, в солдатской казарме, он найдет приют и тепло на всю ночь. Хорошо будет вспоминать на покое о сердитом грохоте океана и о грозной темноте над бездной, где еще так недавно качалась его лодка.

Дверь захлопнулась, как будто форт заперся от моря, по которому, таинственно поблескивая вспышками фосфорической пены, набегал уже первый шквал широкою, во все море, грядою.

А в окне угловой башни неуверенно светил огонек, и лодка, введенная в бухту, мерно качалась и тихо взвизгивала под ударами отраженной и разбитой, но все еще крепкой волны.

III

В угловой башне была келья испанской военной тюрьмы. На одно мгновение красный огонек, светивший из ее окна, затмился, и за решеткой силуэтом обрисовалась фигура человека. Кто-то посмотрел оттуда на темное море и отошел. Огонек опять заколебался красными отражениями на верхушках валов.

Это был Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль-Диац, ин-

сургент[14] и флибустьер[15]. В прошлое восстание испанцы взяли его в плен и приговорили к смерти, но затем, по прихоти чьего-то милосердия, он был помилован. Ему подарили жизнь, то есть привезли на этот остров и посадили в башню. Здесь с него сняли оковы. Они были не нужны: стены были из камня, в окне — толстая железная решетка, за окном — море. Его жизнь состояла в том, что он мог смотреть в окно на далекий берег… И вспоминать… И, может быть, еще — надеяться.

Первое время, в светлые дни, когда солнце сверкало на верхушках синих волн и выдвигало далекий берег, он подолгу смотрел туда, вглядываясь в очертания родных гор, в выступавшие неясными извилинами ущелья, в чуть заметные пятнышки далеких деревень… Угадывал бухты, дороги, горные тропинки, по которым, казалось ему, бродят легкие тени и среди них одна, когда-то близкая ему… Он ждал, что в горах опять засверкают огоньки выстрелов с клубками дыма, что по волнам оттуда, с дальнего берега, понесутся паруса с родным флагом возмущенья

---

[14] Примечания: 14
Инсургент — мятежник, участник восстания (*лат.*).

[15] Примечания: 15
Флибустьер — морской партизан (*фр.*).

и свободы. Он готовился к этому и терпеливо, осторожно, настойчиво долбил камень около ржавой решетки.

Но годы шли. На берегу все было спокойно, в ущельях лежала синяя мгла, от берега отделялся лишь небольшой испанский сторожевой катер, да мирные рыбачьи суда сновали по морю, как морские чайки за добычей…

Понемногу все прошлое становилось для него, как сон. Как во сне, дремал в золотистом тумане усмирившийся берег, и во сне же бродили по нем призрачные тени давно прошедшего… А когда от берега отделялся дымок и, разрезая волны, бежал военный катер, — он знал: это везут на остров новую смену тюремщиков и стражи…

И еще годы прошли в этой летаргии. Хуан-Мария-Мигуэль-Хозе-Диац успокоился и стал забывать даже свои сны. Даже на дальний берег он смотрел уже с тупым равнодушием и давно уже перестал долбить решетку… К чему?..

Только когда поднимался восточный ветер, особенно сильный в этих местах, и волны начинали шевелить камнями на откосе маленького острова, — в глубине его души, как эти камни на дне моря, начинала глухо шевелиться тоска, неясная и тупая. От затянутого мглою берега, казалось

ему, опять отделяются какие-то тени и несутся над морскими валами, и кричат о чем-то громко, торопливо, жалобно, тревожно. Он знал, что это кричит только море, но не мог не прислушиваться невольно к этим крикам… И в глубине его души поднималось тяжелое, темное волнение.

В его каморке от угла к углу, по диагонали, была обозначена в каменном полу углубленная дорожка. Это он вытоптал босыми ногами камень, бегая в бурные ночи по своей клетке. Порой в такие ночи он опять царапал стену около решетки. Но в первое же утро, когда море, успокоившись, ласково лизало каменные уступы острова, он также успокаивался и забывал минуты исступления…

Он знал, что его держит здесь не решетка… Его держало это коварное, то сердитое, то ласковое море, и еще… сонное спокойствие отдаленного берега, лениво и тупо дремавшего в своих туманах…

IV

Так прошли еще годы, которые казались уже днями. Время сна не существует для сознанья, а его жизнь уже вся была сном, тупым, тяжелым и бесследным.

Однако с некоторых пор в этом сне опять начинали мелькать странные видения. В очень светлые дни на берегу поднимался дым костров или пожаров. В форте происходило необычайное движение: испанцы принялись чинить старые стены; изъяны, образовавшиеся в годы безмятежной тишины, торопливо заделывались; чаще прежнего мелькали между берегом и островом паровые баркасы с военным испанским флагом. Раза два, точно грузные спины морских чудовищ, тяжело проползли мониторы с башенками над самой водой. Диац смотрел на них тусклым взглядом, в котором порой пробивалось удивление. Один раз ему показалось даже, что в ущелье и по уступам знакомой горы, в этот день ярко освещенной солнцем, встают белые дымки от выстрелов, маленькие, как булавочные головки, выплывают внезапно и ярко на темно-зеленом фоне и тихо тают в светлом воздухе. Один раз длинная черная полоса монитора продвинулась к дальнему берегу, и несколько коротких оборванных ударов толкнулось с моря в его окно. Он схватился руками за решетку и крепко затряс ее. Она звякнула и задрожала. Щебенка и мусор посыпались из гнезд, где железные полосы были вделаны в стены…

Но прошло еще несколько дней… Берег опять затих и задремал; море было пусто, волны тихо, задумчиво накатывались одна на другую и, как будто от нечего делать, хлопали в каменный берег… И он подумал, что это опять был только сон…

Но в этот день с утра море начинало опять раздражать его. Несколько валов уже перекатилось через волнолом, отделяющий бухту, и слева было слышно, как камни лезут со дна на откосы берега… К вечеру в четырехугольнике окна то и дело мелькали сверкающие брызги пены. Прибой заводил свою глубокую песню, берег отвечал глубокими стонами и гулом.

Диац только повел плечами и решил лечь пораньше. Пусть море говорит, что хочет; пусть как хочет выбирается из беспорядочной груды валов и эта запоздалая лодка, которую он заметил в окно. Рабья лодка с рабского берега… Ему нет дела ни до нее, ни до голосов моря.

Он лег на свой матрац.

Когда сторож-испанец в обычный час принес фонарь и вставил его из коридора в отверстие над запертой дверью, то свет его озарил лежащую фигуру и бледное лицо с закрытыми глазами. Казалось, Диац спал спокойно; только по време-

нам брови его сжимались и по лицу проходило выражение тупого страданья, как будто в глубине усыпленного сознания шевелилось что-то глухо и тяжко, как эти прибрежные камни в морской глубине…

Но вдруг он сразу проснулся, точно кто назвал его по имени. Это шквал, перелетев целикам через волнолом, ударил в самую стену. За окном неслись в темноте белые клочья фосфорической пены, и, даже когда грохот стих, камера была полна шипеньем и свистом. Отголоски проникли за запертую дверь и понеслись по коридорам. Казалось, что-то сознательно грозное пролетело над островом и затихает, и замирает вдали…

Диац сразу стал на ноги. Ему казалось, что он спал лишь несколько секунд, и он взглянул в окно, ожидая еще увидеть вдали белый парусок лодки. Но в окне было черно, море бесновалось в полной тьме и были слышны смешанные крики убегавшего шквала.

Хотя такие бури бывали не часто, но все же он хорошо знал и этот грохот, и свист, и шипенье, и подземное дрожанье каменного берега. Но теперь, когда этот разнузданный гул стал убывать, под ним послышался еще какой-то новый звук, что-то тихое, ласковое и незнакомое…

Он кинулся к окну и, опять ухватившись руками за решетку, заглянул в темноту. Море было бесформенно и дико. Дальний берег весь был поглощен тяжелою мглою. Только на несколько мгновений между ним и тучей продвинулся красный, затуманенный месяц. Далекие, неуверенные отблески беспорядочно заколебались на гребнях бешеных валов и погасли… Остался только шум, могучий, дико сознательный, суетливый и радостно зовущий…

Хозе-Мария-Мигуэль-Диац почувствовал, что все внутри его дрожит и волнуется, как море. Душа просыпается от долгого сна, проясняется сознание, оживают давно угасшие желания… И вдруг он вспомнил ясно то, что видел на берегу несколько дней назад… Ведь это был не сон! Как мог он считать это сном? Это было движение, это были выстрелы… Это было восстание!..

Налетел еще шквал, опять пронеслись сверкающие брызги, и опять из-под шипенья и плеска послышался прежний звук, незнакомый и ласковый. Диац кинулся к решетке и, в порыве странного одушевления, сильно затряс ее. Посыпались опять известь и щебенка, разъеденные солеными брызгами, упало несколько камней, и решетка свободно вынулась из амбразуры.

А под окном, в бухте, качалась и визжала лодка…

V

На стене в это время сменился караул.

— Святой Иосиф… Святая Мария! — пробормотал новый часовой и, покрыв голову капюшоном, скрылся за выступ стены. По морю, во всю ширину, вставая и падая, поблескивая в темноте гребнями пены, летел новый шквал. Ветер, казалось, сходил с ума, остров вперед уже вздрагивал и стонал. Со дна, как бледные призраки, лезли на откосы огромные камни, целыми годами лежавшие в глубине.

Шквал налетел как раз в ту минуту, когда Диац выскочил из окна. Его сразу залило водой, оглушило и сшибло с ног… Несколько секунд он лежал без сознания, с одним ужасом в душе, озябший и несчастный, а над ним с воем неслось что-то огромное, дикое, враждебное…

Когда грохот несколько стих, он открыл глаза. По небу неслись темные тучи, без просветов, без очертаний. Скорее чувствовалось, чем виделось движение этих громад, которые все так же неудержимо неслись на запад. А вдалеке опять вставало что-то невидимое, но грозное, и гудело

угрюмо, зловеще, непрерывно.

Только каменные стены форта оставались неподвижными и спокойными среди общего движения. В темноте можно было различить жерла пушек, выступившие из амбразур… Из дальней казармы в промежуток сравнительного затишья донеслись звуки вечерней молитвы, барабан пробил последнюю зорю… Там, за стенами, казалось, замкнулось спокойствие. Огонек в его башне светился ровным, немигающим светом.

Диац поднялся и, точно прибитая собака, пошел к этому огоньку… Нет, море обманчиво и ужасно. Он войдет в свою тихую келью, наложит решетку, ляжет в своем углу на свой матрац и заснет тяжелым, но безопасным сном неволи.

Надо будет только тщательно заделать решетку, чтобы не заметил патруль… Могут еще подумать, что он хотел убежать в эту бурную ночь… Нет, он не хочет бежать… На море гибель…

Он схватился руками за карниз, поднялся к окну и остановился…

В камере было пусто и сравнительно тихо. Ровный желтоватый свет фонаря падал на стены, на вытоптанный пол, на матрац, лежавший в углу… Над изголовьем, вырезанная глубоко в камне,

виднелась надпись:

«Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль-Диац, инсургент. Да здравствует свобода!»

И всюду по стенам, крупные и мелкие, глубокие и едва намеченные, мелькали те же надписи:

«Хуан-Мигуэль-Диац… Мигуэль-Диац…» И — цифры… Сначала он отмечал время днями, неделями, потом месяцами… «Матерь божия, уже два года»… «Три года… Господь, сохрани мой разум… Диац… Диац…»

Десятый год отмечен просто цифрой, без восклицаний… Далее счет прекращался… Только имя продолжало мелькать, вырезанное слабеющей и ленивой рукой… И на все это бесстрастно и ровно падал желтоватый свет фонаря…

И вдруг Диацу представилось, что на его постели лежит человек и спит тяжелым сном. Грудь подымается тихо, с тупым спокойствием… Это он? Тот Диац, который вошел сюда полным сил и любви к жизни и свободе?..

Новый шквал с воем и грохотом налетал на остров… Диац отпустил руки и опять спрыгнул на берег. Шквал пронесся и стал затихать… Ровный огонек опять светил из окна в темноту.

VI

Часовой на стене, повернувшись спиной к ветру и охватив руками ружье, чтоб его не вырвало ураганам, читал про себя молитвы, прислушиваясь к адскому грохоту моря и неистовому свисту ветра. Небо еще потемнело; казалось, весь мир поглотила уже эта бесформенная тьма, охватившая одинаково и тучи, и воздух, и море. Лишь по временам среди шума, грохота, плеска с пугающей внезапностью обозначались белые гребни, и волна кидалась на остров, далеко отбрасывая брызги через низкие стены.

Прочитав все, какие знал, молитвы, часовой повернулся к морю и замер в удивлении. Вдоль бухты, среди сравнительного затишья, чуть заметная в темноте, двигалась лодка, приближаясь к тому месту, где, уже не защищенное от ветра, море кипело и металось во мраке. Внезапно белый парус взвился и надулся ветром. Лодка качнулась, поднялась и исчезла…

В это мгновение Диац взглянул назад, и ему показалось, что темный островок колыхнулся и упал в бездну, вместе с ровным огоньком, который до этого мгновения следил за ним своим мертвым светом. Впереди были только хаос и

буря. Кипучий восторг переполнил его застывшую душу. Он крепче сжал руль, натянул парус и громко крикнул… Это был крик неудержимой радости, безграничного восторга, пробудившейся и сознавшей себя жизни… Сзади раздался заглушенный ружейный выстрел, потом гул пушечного выстрела понесся вдаль, разорванный и разметанный ураганом. Сбоку набегал шквал, подхватывая лодку… Она поднималась, поднималась… казалось, целую вечность… Хозе-Мария-Мигуэль-Диац с сжатыми бровями, твердым взглядом глядел только вперед, и тот же восторг переполнял его грудь… Он знал, что он свободен, что никто в целом мире теперь не сравняется с ним, потому что все хотят жизни… А он… Он хочет только свободы.

Лодка встала на самой вершине вала, дрогнула, колыхнулась и начала опускаться… Со стены ее видели в последний раз… Но еще долго маленький форт посылал с промежутками выстрел за выстрелом бушующему морю…

VII

А наутро солнце опять взошло в ясной синеве. Последние клочки туч беспорядочно неслись еще по небу; море стихало, колыхаясь и как будто

стыдясь своего ночного разгула… Синие, тяжелые волны все тише бились о камни, сверкая на солнце яркими, веселыми брызгами.

Дальний берег, освеженный и омытый грозой, рисовался в прозрачном воздухе. Всюду смеялась жизнь, проснувшаяся после бурной ночи.

Небольшой пароход крейсировал вдоль берега, расстилая по волнам длинный хвост бурого дыма. Кучка испанцев следила за ним со стены форта.

— Наверное, погиб, — сказал один… — Это было чистое безумие… Как вы думаете, дон Фернандо?

Молодой офицер повернул к говорившему задумчивое лицо.

— Да, вероятно, погиб, — сказал он. — А может быть, смотрит на свою тюрьму с этих гор. Во всяком случае, море дало ему несколько мгновений свободы. А кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябанья!..

— Однако что это там? Посмотрите… — И офицер указал на южную оконечность гористого берега. На одном из крайних мысов, занятых лагерем инсургентов, в синеющей полосе замелькали кучками белые вспышки дыма. Звука не было слышно, только суетливые дымки появлялись и гасли, странно оживляя пустынные ущелья. С моря в ответ отрывисто грянул пушечный

выстрел, и, когда дым весь лег на сверкающие искрами волны, — все опять стихло. И берег, и море молчали…

Офицеры переглянулись… Что значило это непонятное оживление на позициях восставших туземцев?.. Ответ ли это на вопрос об участи беглеца?.. Или просто случайная перестрелка внезапной тревоги?..

Ответа не было…

Сверкающие волны загадочно смеялись, набегая на берег и звонко разбиваясь о камни…

1900

Человек за бортом

Константин Станюкович
Рассказ

I

Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось по горизонту.

Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес свою парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и рокочущая каким-то таинственным гулом, окаймленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запахом.

Пусто кругом.

Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыгивающая летучая рыбка, высоко в воздухе прореет белый альбатрос, торопливо пронесется над водой маленькая петрель, спешащая к далекому афри-

канскому берегу, раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан — оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.

— Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь! — спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.

Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана.

Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий сутулый старик Лаврентьев, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторванного марсафалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами, — отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любил лезть в драку

с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольем), — этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами, — обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани, — смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.

И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались всё молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный теноpок подголоска Шутикова. Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.

— За самое нутро хватает, подлец, — говорили про подголоска матросы.

Песня лилась за песнею, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину

с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством…

— Вали плясовую, ребята!

Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь удальством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.

Макарка, маленький бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.

Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый стройный чернявый матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрительными замечаниями.

— И хорошо же ты поешь, ах, хорошо, пес тебя ешь! — заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.

— Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять, так хучь в оперу! — с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов

Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.

Лаврентьич, не терпевший и презиравший чиновников[16] как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обрывать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливого писарька и сказал:

— Ты-то у нас опера!.. Брюхо отрастил от лодырства, и вышла опера!..

Среди матросов раздалось хихиканье.

— Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? — заметил сконфуженный писарек. — Эх, необразованный народ! — тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.

— Ишь какая образованная мамзеля! — презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения…

— То-то я и говорю, — начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову, важно ты поешь песни, Егорка…

— Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово… молодца Егорка!.. — заметил кто-то.

---

[16] Примечания: 16

«Чиновниками» матросы называют всех нестроевых: писарей, фельдшера, баталера, подшкипера. (*Примеч. К. М. Станюковича.*)

В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.

И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара, и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратная, подобранная сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки, — все в нем притягивало и располагало к себе с первого раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.

Это была одна из тех редких счастливых жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блочок, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе,

за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.

Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер под штормовыми парусами бросало, как щепку, на океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих гребнях утлое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики-матросы, видавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.

А Шутиков в это время, придерживаясь одною рукою за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, посторонними разговорами. Он так спокойно и просто «ляс-

ничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую мысль об опасности.

— И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? — снова заговорил Лаврентьич, посасывая носогрейку с махоркой. — Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел… да все не так забористо.

— Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало, стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь… Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! — прибавил Шутиков, улыбаясь.

И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испитый голос.

II

В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел плотный пожилой матрос

Игнатов.

Бледный и растерянный, с непокрытой коротко остриженной круглой головой, он сообщил порывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.

— Двадцать франоков! Двадцать франоков, братцы! — жалобно повторял он, подчеркивая цифру.

Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.

Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он, еще сегодня, после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот сейчас он пошел было за сапожным товаром — и… замок, братцы, сломан… двадцати франоков нет…

— Это как же? Своего же брата обкрадывать? — закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.

Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое

крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую, скаредную натуру.

Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать Семенычем, был прижимистым и жадным к деньгам человеком. Он и в кругосветное плавание пошел, вызвавшись охотником и оставив в Кронштадте жену — торговку на базаре — и двоих детей, с единственной целью прикопить в плавании деньжонок и, выйдя в отставку, заняться в Кронштадте по малости торговлей. Он вел крайне воздержанную жизнь, вина не пил, на берегу денег не тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и, под большим секретом, давал мелкие суммы взаймы за проценты надежным людям. Вообще Игнатов был человек оборо-

тистый и рассчитывал сделать хорошее дело, привезя в Россию для продажи сигар и кое-какие японские и китайские вещи. Он и раньше уж занимался такими делишками, когда плавал по летам в Финском заливе: в Ревеле, бывало, закупит килек, в Гельсингфорсе сигар и мамуровки и с выгодой перепродаст в Кронштадте.

Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотен и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки, и притом для матроса порядочные.

— Это беспременно подлец Прошка, никто, как он! — закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов. — Даве он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук… Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы? — спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их поддержки. — Неужто я так и решусь денег?.. Ведь деньги-то у меня кровные… Сами знаете, братцы, какие у матроса деньги… По грошам сбирал… чарки своей не пью… — прибавил он униженным, жалобным тоном.

Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем не менее и сам потерпевший, и слушатели не

сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущенные матросы осыпали предполагаемого вора бранью.

— Этакий мерзавец!.. Только срамит матросское звание… — с сердцем сказал Лаврентьич.

— Да-да… Завелась и у нас паршивая собака…

— Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!

— Так как же, братцы? — продолжал Игнатов. — Что с Прошкой делать?.. Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть по форме разберут.

Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный, неписаный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.

И Лаврентьич первый энергично запротестовал.

— Это, выходит, с лепортом по начальству? — презрительно протянул он. Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу он матросскую правилу? Эх, вы… народ! — И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом. Тоже выдумал, а еще матросом считаешься! —

прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.

— По-вашему как же?

— А по-нашему так же, как прежде учивали. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.

— Мало ли его, подлеца, били! А ежели он не отдаст?.. Так, значит, и пропадать деньгам? Это за что же? Пусть уж лучше форменно засудят вора… Такую собаку нечего жалеть, братцы.

— Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов… Небось, Прошка не все украл… Еще малость осталась? — иронически промолвил Лаврентьич.

— Считал ты, что ли!

— То-то не считал, а только не матросское это дело — кляузы. Не годится! — авторитетно заметил Лаврентьич. — Верно ли я говорю, ребята?

И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, что кляузы заводить не годится.

— А теперь веди сюда Прошку! Допроси его при ребятах! — решил Лаврентьич.

И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прошкой.

В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.

III

Прохор Житин, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в положение какого-то отверженного парии. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры походя, и за дело, и так, здорово живешь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У, лодырь!» И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немыслимо. И Прошка так, казалось, привык к этому положению загнанной, паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную

жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег — выпивкой и ухаживаньем за прекрасным полом, до которого он был большой охотник; на женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у товарищей, несмотря на суровое возмездие, получаемое им в случае поимки. Он был вечный гальюнщик — другой должности ему не было, и состоял в числе шканечных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут ему доставалось, так как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, будто взаправду тянет.

— У-у… подлый лодырь! — ругал его шканечный унтер-офицер, обещая ему уже «начистить» зубы.

И, разумеется, «чистил».

IV

Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. Он хотел было залезть подальше от этой непрошеной ноги, как новый пинок

дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ноги и глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожидая, что его еще будут бить.

— Ступай за мной! — проговорил Игнатов, едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку.

Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону.

Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоразмерным туловищем на коротких кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещичьей усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изношенно. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей, но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; все на нем

сидело мешковато и неряшливо, — словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.

Когда, вслед за Игнатовым, Прошка вошел в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.

Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаху ударил Прошку по лицу.

Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрещину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее.

— Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь! — сердито промолвил Лаврентьич.

— Это ему в задаток, подлецу! — заметил Игнатов и, обратившись к Прошке, сказал: — Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?

При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю важность обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьезные недоброжелательные лица, и вдруг побледнел и как-то весь съежился. Тупой страх исказил его черты.

Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.

Прошка молчал, потупив глаза.

— Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! — продолжал допросчик.

— Я денег твоих не брал! — тихо ответил Прошка.

Игнатов пришел в ярость.

— Ой, смотри… до смерти изобью, коли ты добром не отдашь денег!.. сказал Игнатов и сказал так злобно и серьезно, что Прошка подался назад.

И со всех сторон раздались неприязненные голоса:

— Повинись лучше, скотина!

— Не запирайся, Прошка!

— Лучше добром отдай!

Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадежным отчаянием человека, хватающегося за соломинку:

— Братцы! Как перед истинным богом! Хучь под присягу сичас! Разрази меня на месте!.. Делайте со мной, что вгодно, а я денег не брал!

Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых.

Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил:

— Не ври, подлая тварь… Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана

франок вытащил… помнишь? А как у Леонтьева рубаху украл, тоже шел под присягу, а? Тебе, бесстыжему, присягнуть, что плюнуть…

Прошка снова опустил голову.

— Винись, говорят тебе, скорее. Сказывай, где мои деньги? Нешто я не видел, как ты около вертелся… Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? — наступал допросчик.

— Так ходил…

— Так ходил?! Эй, Прошка, не доводи до греха. Признавайся.

Но Прошка молчал.

Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном.

— Тебе ничего не будет… слышишь?.. Отдай только мои деньги… Тебе ведь пропить, а у меня семейство… Отдай же! — почти молил Игнатов.

— Обыщите меня… Не брал я твоих денег!

— Так ты не брал, подлая душа? Не брал? — воскликнул Игнатов с побледневшим от злобы лицом. — Не брал?!

И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку.

Бледный, вздрагивающим всем съежившимся телом, Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.

Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену. А Игнатов, возбужденный безответностью жертвы, свирепел все более и более.

— Полно… Будет… будет! — раздался вдруг из толпы голос Шутикова.

И этот мягкий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.

Многие из толпы, вслед за Шутиковым, сердито крикнули:

— Будет… будет!

— Ты прежде обыщи Прошку и тогда учи!

Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон из круга. Несколько мгновений все молчали.

— Ишь ведь, какой подлец… запирается! — переводя дух, проговорил Игнатов. — Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст денег! — грозился Игнатов.

— А может, это и не он! — вдруг тихо сказал Шутиков.

И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных, насупившихся

лицах.

— Не он? Впервые ему, что ли?.. Это беспременно его дело… Вор известный, чтоб ему…

И Игнатов, взяв двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи.

— И зол же человек на деньги! Ох, зол! — сердито проворчал Лаврентьич вслед Игнатову, покачивая головой. — А ты не воруй, не срами матросского звания! — вдруг прибавил он неожиданно и выругался — на этот раз, по-видимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.

— Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? — спросил он после минутного молчания. — Кабысь больше некому.

Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.

Толпа стала расходиться.

Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.

— Запрятал, шельма, куда-нибудь! — решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придется худо: Игнатов не простит ему этих денег.

V

Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.

Матросы спали на палубе — внизу было душно, — а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы, по обыкновению, коротают ночные часы, разгоняя дрему беседами и сказками.

В эту ночь, с полуночи до шести, на вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка.

Шутиков уж рассказал несколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и отправился покурить. Выкуривши трубку, он пошел, осторожно ступая между спящими, на шканцы и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклевывавшего носом, тихо окликнул его:

— Это ты… Прошка?

— Я! — встрепенулся Прошка.

— Что я тебе скажу, — продолжал Шутиков тихим и ласковым голосом: — ведь Игнатов, сам знаешь, человек какой… Он тебя вовсе изобьет на берегу… безо всякой жалости…

Прошка насторожился… Этот тон был для него неожиданностью.

— Что ж, пусть бьет, а я евойных денег не касался! — ответил после короткого молчания Прошка.

— То-то, он не верит и, пока не вернет своих денег, тебе не простит… И многие ребята сумневаются…

— Сказано: не брал! — повторил Прошка с прежним упорством.

— Я, братец, верю, что ты не брал… Слышь, верю, и пожалел, что тебя занапрасно давеча били и Игнатов еще грозит бить… А ты вот чего, Прошка: возьми ты у меня двадцать франоков и отдай их Игнатову… Бог с ним! Пусть радуется на деньги, а мне когда-нибудь отдашь — приневоливать не стану… Так-то оно будет аккуратней… Да, слышь, никому про это не сказывай! — прибавил Шутиков.

Прошка был решительно озадачен и не находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидел бы, что оно смущено и необыкновенно взволнованно. Еще бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от битья. Это уж было слишком для человека, давно

не слыхавшего ласкового слова.

Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.

— Так бери деньги! — сказал Шутиков, доставая из кармана штанов завернутый в тряпочку весь свой капитал.

— Это как же… Ах ты, господи! — растерянно бормотал Прошка…

— Эка… глупый… Сказано: получай, не кобянься!

— Получай?! Ах, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! — отвечал Прошка дрогнувшим от волнения голосом и вдруг решительно прибавил: — Только твоих денег, Шутиков, не нужно… Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом… Не желаю… Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.

— Так, значит, ты…

— То-то я! — чуть слышно промолвил Прошка. — Никто бы и не дознался… Деньги-то в пушке запрятаны…

— Эх, Прохор, Прохор! — упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.

— Теперь пусть он меня бьет… Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку… жарь его, мерзавца, не жалей! — с

каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка. — Все перенесу с моим удовольствием… По крайности, знаю, что ты пожалел, поверил… Ласковое слово сказал Прошке… Ах ты, господи! Вовек этого не забуду!

— Ишь ведь ты какой! — промолвил ласково Шутиков.

Он помолчал и заговорил:

— Слушай, что я тебе скажу, братец ты мой: брось-ка ты все эти дела… право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему… Стань форменным матросом, чтобы все, значит, как следует… Так-то душевней будет… А то разве самому тебе сладко?.. Я, Прохор, не в укор, а жалеючи!.. — прибавил Шутиков.

Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто, во всю его жизнь, не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били — вот какое было ученье.

И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.

Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя

прежде. Долго еще стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул навертывавшуюся слезу.

Утром, после смены, он принес Игнатову золотой. Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зубы и хотел было идти, но Прошка стоял перед ним и повторял:

— Бей еще… Бей, Семеныч! В морду в самую дуй!

Удивленный Прошкиной смелостью, Игнатов презрительно оглядел Прошку и повторил:

— Я разделал бы тебя, мерзавца, начисто, кабы ты мне не отдал деньги, а теперь не стоит рук марать… Сгинь, сволочь, но только смотри… попробуй еще раз ко мне лазить… Искалечу! — внушительно прибавил Игнатов и, оттолкнув с дороги Прошку, побежал вниз прятать свои деньги.

Тем и ограничилась расправа.

Благодаря ходатайству Шутикова, и боцман Щукин, узнавший о воровстве и собиравшийся «после убирки искровянить стервеца», вместо того довольно милостиво, относительно говоря, потрепал, как он выражался, «Прошкино хайло».

— Испужался Прошка Семеныча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! — говорили матросы во время утренней чистки.

VI

С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто, при всех, он, разумеется, не решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отверженца унизит Шутикова в чужих глазах. Он никогда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, принимая близко к сердцу все, до него касающееся. Он любовался, поглядывая снизу, как Шутиков тихо управляет на рее, замирал от удовольствия, слушая его пение, и вообще находил необыкновенно хорошим все, что ни делал Шутиков. Иногда днем, но чаще во время ночных вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.

— Ты чего, Прохор? — спросит, бывало, приветливо Шутиков.

— Так, ничего! — ответит Прошка.

— Куда ж ты?

— А к своему месту… Я ведь так только! — скажет Прошка, словно бы извиняясь, что беспокоит

Шутикова, и уйдет.

Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать белье, то починить его гардероб, и часто отходил смущенный, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принес щегольски сработанную матросскую рубаху с голландским передом и, несколько взволнованный, подал ее Шутикову.

— Молодец, Житин… Важная, брат, работа! — одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубаху.

— Это я тебе, Егор Митрич… Уважь… Носи на здоровье.

Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков, наконец, принял подарок.

Прошка был в восторге.

И лодырничать стал Прошка меньше, работая без прежнего лукавства. Бить его стали реже, но отношение к нему оставалось по-прежнему пренебрежительное, и Прошку нередко дразнили, устраивая из этой травли потеху.

Особенно любил дразнить его один из шканечных, забиячный, но трусливый молодой матрос Иванов. Как-то однажды, желая потешить собравшийся кружок, он донимал Прошку своим

глумлением. Прошка, по обыкновению, отмалчивался, и Иванов становился все назойливее и безжалостнее в своих шутках.

Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился.

— Это, Иванов, не того… нехорошо это… Чего ты пристал к человеку, ровно смола.

— Прошка у нас не обидчивый! — со смехом отвечал Иванов. — Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелям опосля носил… Не кочевряжься… Расскажи, Прошенька! — глумился на общую потеху Иванов.

— Не тронь, говорю, человека… — строго повторил Шутиков.

Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и вора Прошку, Шутиков так горячо заступается.

— Да ты чего? — окрысился вдруг Иванов.

— Я-то ничего, а ты не куражься… Ишь тоже нашел над кем куражиться.

Тронутый до глубины души и в то же время боявшийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприятностей, Прошка решился подать голос:

— Иванов ничего… Он ведь так только… Шутит, значит…

— А ты съездил бы его по уху, небось перестал бы так шутить.

— Прошка бы съездил… — удивленно воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным. — Ну-ка, попробуй, Прошка… Насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.

— Может, и сам бы съел сдачи.

— Не от тебя ли?

— То-то от меня! — сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьезно.

Иванов стушевался. И только когда Шутиков отошел, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку.

— Однако… нашел себе приятеля Шутиков… Нечего сказать… приятель… хорош приятель, Прошка-гальюнщик!

После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.

VII

Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.

Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное — относительная близость Южного

полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя собой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марселями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.

Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подскабливал шлюпку, кто вязал мат.

Шутиков стоял на грот-русленях[17], прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил орудие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линя (веревки, на которой прикреплен лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает ее…

Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:

— Человек за бортом!

---

[17] Примечания: 17

Грот — вторая мачта на корабле. Руслень — площадка снаружи борта корабля (для отвода винта).

Не прошло нескольких секунд, как снова зловещий крик:

— Еще человек за бортом!

На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.

Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки и с юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал:

— Фок и грот на гитовы!

С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.

— Он, кажется, схватился за буек! — проговорил капитан, отрываясь от бинокля. — Сигнальщик… не спускай их с глаз!..

— Есть… Вижу!

— Скорей… скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! — нервно, отрывисто торопил капитан.

Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались, как бешеные. Через восемь минут клипер уже лежал в дрейфе,

и баркас с людьми под начальством мичмана Лесового тихо спускался с боканцев.

— С богом! — напутствовал капитан. — Ищите людей на ост-норд-ост… Да не заходите далеко! — прибавил он.

Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал, по крайней мере, милю.

— Кто это упал? — спросил капитан старшего офицера.

— Шутиков. Сорвался, бросая лот… Лопнул пояс…

— А другой?

— Житин! Бросился за Шутиковым.

— Житин? Этот трус и рохля? — удивился капитан.

— Я сам не могу понять! — ответил Василий Иваныч.

Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся от глаз, не вооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.

На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами вполго-

лоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и два сигнальщика смотрели в подзорные трубы.

Так прошло долгих полчаса.

— Баркас идет назад! — доложил сигнальщик.

И снова все взоры устремились на океан.

— Верно, спасли людей! — тихо заметил старший офицер капитану.

— Почему вы думаете, Василий Иваныч?

— Лесовой не вернулся бы так скоро!

— Дай бог! Дай бог!

Ныряя в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.

— Молодцом правит Лесовой! Молодцом! — вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку.

Баркас подходил все ближе и ближе.

— Оба в шлюпке! — весело крикнул сигнальщик.

Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры.

— Счастливо отделались! — проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная,

хорошая улыбка.

Улыбался в ответ и Василий Иванович.

— А Житин-то… трус, трус, а вот подите!.. — продолжал капитан.

— Удивительно… И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! — прибавил Василий Иванович в пояснение.

И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты.

Через десять минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят на боканцы.

Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.

Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.

— Молодец, Житин! — сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища.

А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо робея.

— Ну, ступай переоденься скорей да выпей за

меня чарку водки… За твой подвиг представлю тебя к медали, и от меня получишь денежную награду.

Совсем ошалевший Прошка не догадался сказать: «Рады стараться!» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой.

— Снимайтесь с дрейфа! — приказал капитан, поднимаясь на мостик.

Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были поставлены убранные паруса, и минут через пять клипер снова несся прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились.

— Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! — остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согревшийся чаркой рома, поднялся вслед за Шутиковым на палубу. — Портной, портной, а какой отчаянный! — продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.

— Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю, — шабаш… Богу отдавать душу придется! — рассказывал Шутиков. — Не продержусь, мол, долго на воде-то… Слышу — Прохор голосом кричит… Плывет с кругом и мне буек подал… То-то обрадо-

вал, братцы! Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошел.

— А страшно было? — спрашивали матросы.

— А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно! Не дай бог! — отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь.

— И как это ты, братец, вздумал? — ласково спросил Прошку подошедший боцман.

Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил:

— Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч... Вижу, он упал, Шутиков, значит... Я, значит, господи благослови, да за им!

— То-то и есть!.. Душа в ем... Ай да молодца, Прохор! Ишь ведь... Накось, покури трубочки-то на закуску! — сказал Лаврентьич, передавая Прошке, в знак особенного благоволения, свою короткую трубочку, и при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.

С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.

1887

Матросик

Константин Станюкович
Рассказ

I

Двое суток русский военный клипер «Жемчуг» штормовал, как говорят моряки.

Двое суток он выдерживал жестокий ураган в Индийском океане, вблизи западного берега Северной Африки, встретив врага со спущенными стеньгами, под несколькими штормовыми парусами, с наглухо задраенными люками и с протянутыми на верхней палубе леерами.

Положение было серьезное.

В те ужасные долгие часы, когда ураган напрягал все свои силы, с диким воем потрясая мачты и завывая в трепыхавшихся снастях, и когда громадные, высокие и пенящиеся волны с бешенством нападали на маленький клипер со всех сторон, вкатываясь верхушками на палубу, и кидали его, словно щепку, готовые его поглотить, — в такие часы, казавшиеся вечностью, смерть витала перед глазами моряков. Эти водя-

ные горы казались неминуемой общей братской могилой. И сердца даже бывалых и мужественных людей замирали в предсмертной тоске, хотя лица их и были сурово-спокойны и напряженно-серьезны.

К вечеру вторых суток буря несколько затихла, и все на клипере радостно и благодарно вздохнули, понимая, казалось, с большой ясностью, от какой избавились опасности и как были близки к смерти.

Клипер, хорошо построенный, не особенно пострадал во время трепки. В нескольких местах волны проломали борт; офицерский катер и капитанский вельбот были сорваны с боканцев в океан — вот и всего.

Несмотря на то, что буря заметно стихала и «Жемчуг» был уже вне опасности, и капитан и старший штурман, видимо, чем-то озабоченные, оба с истомленными, осунувшимися и серьезными лицами, не сходили с мостика, тревожно вглядываясь в мрак наступившей ночи.

Казалось, теперь можно было бы поставить достаточно парусов и нестись со свежим попутным ветром к югу, но капитан — небольшой сухощавый человек лет под сорок, довольно сурового вида — вместо того приказал на ночь

поставить только зарифленные марселя, бизань и фор-стеньги-стаксель и держаться в крутой бейдевинд, чтобы клипер, так сказать, топтался на месте.

Такое решение принято было капитаном потому, что он не знал точно места, где находится в данное время «Жемчуг». В течение двух суток урагана солнце ни на минуту не показывалось, и, следовательно, нельзя было по высоте солнца определить широту и долготу места. Не видно было ни луны, ни звезд, по которым тоже возможно определиться, как говорят моряки.

А между тем ураган мог отнести клипер к берегам Африки, берега же эти были негостеприимны. Много рифов и подводных мелей было около них, и «Жемчуг», избавившись от одной опасности, легко мог набежать на другую, едва ли не худшую.

И теперь ночь была темна. На подернутом облаками небе ни одной звездочки.

Среди этой тьмы клипер покачивался на волнах, все еще сердито разбивающихся о бока «Жемчуга», и вахтенный офицер, молодой мичман, то и дело вскрикивал часовым на баке:

— Вперед смотреть!

Нередко тоже раздавался его молодой звонкий

голос:

— На марса-фалах стоять!

На эти предупреждающие окрики и часовые на баке и вахтенные матросы, стоящие у марса-фалов, тотчас же отвечали:

— Есть, смотрим! Есть, стоим!

— Все равно ничего не увидать в этой проклятой тьме! — сердито проворчал капитан себе под нос, ни к кому не обращаясь.

И минуту спустя приказал вахтенному офицеру:

— Велите разводить пары!

— Есть!

Мичман послал рассыльного за старшим механиком и вслед за тем дернул ручку машинного телеграфа.

Капитан почти не спал двое суток, позволяя себе вздремнуть в своей каюте час-другой, во время которых на мостике капитана заменял старший офицер.

И теперь его жестоко клонило ко сну.

Но он простоял еще два часа, пока не были готовы пары, и только тогда решил сойти отдохнуть.

Перед уходом он тихо заметил старшему штурману, стоявшему у компаса:

— Береженого и Бог бережет, Степан Степа-

ныч!

— Совершенно верно-с, Иван Семеныч! — подтвердил старший штурман.

— И если, не дай бог, нанесет нас на мель…

Старший штурман угрюмо сплюнул и сурово сказал:

— Зачем наносить!

— Так все же машина поможет. Не так ли, Степан Степаныч?

Судя по тону голоса капитана, ему очень хотелось слышать от старого, опытного, много плававшего штурмана подтверждение своих слов, которым он и сам едва ли очень верил.

Что, в самом деле, могла сделать машина, да еще не особенно сильная, при таком свежем ветре и громадном волнении!

— Конечно-с! — лаконически ответил старший штурман.

Но его лицо, слабо освещенное светом, падавшим от компаса, старое, угрюмо-спокойное лицо, густо поросшее седыми баками, по-видимому нисколько не разделяло надежд капитана на действительность помощи машины.

И, словно бы желая в свою очередь успокоить свою тайную тревогу и тревогу капитана, он прибавил:

— Положим, ураган жарил по направлению к берегу, но все же в начале урагана мы были в пятидесяти милях от берега и держались в бейдевинд… Вот, бог даст, завтра определимся… А теперь вам выспаться следует, Иван Семеныч!

— То-то очень спать хочется… Пойду вздремнуть.

И, обращаясь к вахтенному офицеру, громко и властно сказал:

— Хорошенько вперед смотреть!.. Как бы берега близко не было… Чуть что заметите, дайте знать!

— Есть! — ответил мичман.

Капитан ушел и, не раздеваясь, бросился, как был, в кожане поверх сюртука и в фуражке, на диван и мгновенно уснул.

II

Притулившись на баке у наветренного борта, кучка вахтенных матросов, одетых в кожаны, с зюйдвестками на головах, тихо лясничала.

Чей-то громкий и насмешливый голос говорил:

— Ну, разве не дурак ты, Матросик?! Как есть дурак!

Тот, кого звали Матросиком, тихо засмеялся и

простодушно ответил:

— Дурак, значит, и есть.

— Да как же не дурак! Сидел бы теперь у себя дома, в деревне, а заместо того взял да и за другого на службу пошел… И хоть бы за деньги, а то дарма! Небось, ничего не дали?

— Такая причина была, — оправдывался Матросик.

— Нечего сказать, причина! Вовсе прост ты, вот и причина!

Тот, кого называли Матросиком, словно бы оправдываясь, проговорил:

— Этот самый парень, заместо которого я пошел, братцы, только что поженился и очень приверженный к земле был мужик… Коренной в семье. Без его разор был бы. И так, братцы вы мои, убивались по нем отец с матерью да супруга, значит, евойная, что жалость взяла. Мне, думаю, что? Одинокий сирота, живу в работниках… Ну таким родом и явился я к барину и в ноги: «Дозвольте, мол, в некрута вместо Васьки Захарова!» Барин даже очень был доволен… Вот она, братцы, какая причина! — закончил Матросик.

Он проговорил эти слова необыкновенно просто, словно бы и поступок его был самый простой, и он не сознавал, сколько в нем было доброты и

самоотвержения.

За эту бесконечную доброту и готовность помочь всякому на «Жемчуге» все матросы любили этого первогодка. Звали его не по фамилии — фамилия его была Кушкин, — а Матросиком, вследствие того, что Кушкин однажды, вскоре после назначения его на «Жемчуг», на вопрос боцмана: «Кто ты такой?», вместо того чтобы ответить: «Матрос второй статьи Илья Кушкин», простодушно ответил: «Матросик».

Так с тех пор на клипере его все прозвали Матросиком.

И в самом деле, прозвище это подходило к Кушкину.

Это был маленького роста, худощавый, почти смуглый молодой паренек лет двадцати двух-трех, с пригожим жизнерадостным добрым лицом, главным украшением которого были большие темные глаза, полные какой-то чарующей ласки и привета. Когда Матросик улыбался, широко раскрывая свой рот с красными сочными губами и показывая ослепительно-белые зубы, то невольно улыбались и те, на кого он смотрел.

Вся его маленькая фигурка была ладная и необыкновенно располагающая. Ходил он всегда веселой и легкой походкой и любил одеваться

аккуратно и опрятно. Даже его желтоватого цвета руки с тонкими, слегка искривленными пальцами не были пропитаны смолой и грязны, как у других матросов. Матросик, видимо, щеголял опрятностью.

Уроженец одной из северных губерний, Илья Кушкин еще с отрочества плавал по бурному Ладожскому озеру и, поступивши в матросы и затем назначенный в кругосветное плавание на «Жемчуг», скоро сделался хорошим и исправным матросом.

Когда Матросик окончил свой рассказ, кто-то из кучки спросил:

— Так тебе, Матросик, ничего и не дали за твою простоту?

— Предлагали, братцы. Пятичницу давали.

— А ты не взял?

— То-то не взял. Бедные мужики эти Захаровы… Как с их взять? Однако угощение принимал — страсть угощали, братцы! А молодая баба, Васькина жена, так та мне две рубахи ситцевые справила. «Вовек, — говорит, — не забуду, Илья, что ты моего мужика при мне оставил». Небось, люди добро помнят.

С мостика то и дело раздавались окрики вахтенного офицера. То он командовал: «Вперед

хорошенько смотреть», то: «На марса-фалах стоять».

Эти частые и громкие окрики среди ночной тишины несколько раздражали матросов.

— И чего это мичман зря суетится да глотку дерет! — заметил кто-то.

— А может, не зря, — промолвил Матросик.

— Коли встречных судов боится, все равно не увидишь скоро. Слава богу, хоть штурма приключилась, а все-таки нехорошая ночь! — раздался чей-то голос.

— То-то вахтенный и опасается, что ночь!.. И пары по той же причине… И ходу нам нет! — сказал Матросик.

— По какой причине?

— А по той самой, братцы, что неизвестно, в какие места нас буря занесла. Вот он и опаску имеет. В море, братцы, завсегда надо опаску иметь. Я хоть и по озеру ходил, а бога приходилось-таки часто вспоминать! — проговорил Матросик.

С этими словами он повернул голову к океану и стал зорко всматриваться вперед, в покачивавшийся на волнах клипер.

Смотрел Матросик минут пять-десять и вдруг крикнул неестественно громким голосом.

— Бурун под носом!

— Марса-фалы отдать!.. — тревожно скомандовал вахтенный мичман.

Марселя бесшумно упали, и в то же мгновение «Жемчуг» остановился, врезавшись в гряду, и беспомощно стал биться, словно птица, попавшая в силки.

III

Капитан мгновенно проснулся и через минуту был на мостике. Старший офицер и старший штурман были там же. Все офицеры и все матросы, наскоро одевшись, выскочили наверх.

Клипер било жестоко о камни, и машина, работавшая полным ходом, не могла его сдвинуть с места. Видно было, что «Жемчуг» засел плотно.

Все были в подавленном состоянии.

Ветер дул свежий, и волны кружились вокруг клипера. Кругом кромешная тьма.

Прошло бесконечных десять минут, и снизу дали знать, что течь увеличивается. Пущены были в ход все помпы, но вода тем не менее все прибывала. Положение было критическое, и не было никакой возможности высвободиться из него. И помощи ожидать было не от кого.

Однако на всякий случай зарядили орудия, и через каждые пять минут раздавались выстрелы,

разносившие по океану весть о бедствии.

Но никто этих выстрелов, казалось, не слыхал.

Верхняя и нижняя палубы осветились фонарями. Молчаливые и сосредоточенно-серьезные матросы торопливо вытаскивали рангоут, разные вещи. У денежного сундука, вынесенного из капитанской каюты, стоял часовой.

Несмотря на работу всех помп, клипер постепенно наполнялся водой через полученные пробоины от ударов о камни гряды, в которой он засел. О спасении клипера нечего было и думать, и потому по приказанию капитана принимались меры для спасения людей и для обеспечения их провизией.

Но ночью, при громадном волнении, спустить шлюпки и посадить на них людей было бы безумием. Приходилось ждать рассвета.

И в голове каждого моряка, несмотря на спокойные, по-видимому, голоса капитана и старшего офицера, отдававших приказания, проносилась ужасная мысль:

«Не исчезнет ли “Жемчуг” в волнах до рассвета?»

Наконец забрезжило, и из сотни человеческих грудей вырвался крик радости. Громкое «ура» разнеслось по океану, споря с ревом ветра и гулом

бурунов.

Высокий, казалось, отвесный, берег неясными контурами выделялся близко, совсем близко. Между ним и грядой, на которой бился «Жемчуг», было не более пятидесяти сажен.

Но радость быстро сменилась отчаянием. Ветер не стихал; волны с грозным ревом разбивались о берег. Буруны пенились вокруг «Жемчуга». Все поняли, что спасение на шлюпках невозможно.

И близкий берег казался недостижимым, а смерть — неминуемою.

Выстрелы о помощи раздавались по-прежнему, но не вселяли надежды, хотя и привлекли на берег кучку арабов, которых можно было рассмотреть в бинокли.

Но что они могли сделать? Как помочь?

IV

Рассвело.

Утро было серое и печальное. Низкие темные тучи заволакивали небо. Ветер не стихал. Волны по-прежнему были громадны.

«Жемчуг» по временам трещал от ударов, но еще держался на воде.

Бледный, казавшийся стариком капитан, не сомневавшийся почти, что жена и трое его детей,

оставшихся в Кронштадте, сегодня сделаются сиротами, все-таки не показывал ни перед кем своего отчаяния и распоряжался, словно бы надеялся на спасение.

И он обошел палубу и говорил, ободряя матросов:

— Скоро ветер стихнет, и мы на шлюпках доберемся до берега. Не робей, молодцы, ребята!

И «молодцы-ребята» как будто верили — так им хотелось верить! — и отвечали:

— Рады стараться, вашескобродие!

Вернувшись на мостик, капитан сказал старшему офицеру:

— Если бы конец подать на берег и на этом конце укрепить канат!.. Это единственная возможность спасти людей. Но как подать? Шлюпку немедленно зальет. Ветер не стихает. Барометр падает.

— Разве вплавь, Иван Семеныч?

— Вплавь? Но кто решится? Это верная гибель. Если чудом и доплывет, то разобьется о камни… Весь берег ими усеян… Но, во всяком случае, надо попробовать… Арабы могут перехватить конец, и тогда мы спасены. Прикажите поставить людей во фронт. Я вызову охотников.

Когда люди выстроились, капитан подошел к

фронту и, объяснив, в чем дело, крикнул:

— Есть ли охотники выручить всех нас, ребята? Если есть, выходи.

Никто не шелохнулся. Всякий с ужасом взглядывал на пенистые волны, гребешки которых вкатывались на палубу.

Только маленький чернявый Матросик вышел из фронта, решительно подошел к капитану и, застенчиво краснея, проговорил:

— Я желаю, вашескобродие!

— Ты, Матросик? — удивленно воскликнул капитан, невольно оглядывая маленькую, тщедушную на вид фигурку Матросика.

— Точно так, вашескобродие.

— Куда тебе!.. Ты сейчас же утонешь!

— Не извольте беспокоиться, вашескобродие… Я к воде способен. Плаваю, вашескобродие!

— И хорошо?

— Порядочно, вашескобродие! — скромно ответил Матросик, бывший превосходным пловцом.

— Но ты знаешь, чем рискуешь?

— Точно так, вашескобродие!

— И все-таки желаешь?

— Буду стараться, вашескобродие! Как для людей не постараться! — просто прибавил он.

— Ты будешь нашим спасителем, если подашь

конец… От имени всех спасибо тебе, Матросик! — проговорил взволнованно капитан.

Матросик разделся догола, одел пробковый пояс и обвязался концом.

Когда все было готово, он низко поклонился всем и дрогнувшим голосом произнес:

— Прощайте, братцы!

— Прощай, Матросик!

Все смотрели на него как на обреченного.

Он бросился в волны.

V

Все бинокли и подзорные трубы были устремлены на бесстрашного пловца. Голова его в виде черной точки то показывалась на гребнях, то исчезала между волнами.

— Молодец! Хорошо плывет! — говорил про себя капитан, не отрывая глаз от бинокля.

Действительно, Матросик плыл хорошо, подгоняемый попутной волной… Уже близко. Несколько размахов — и он у берега. Арабы ему что-то кричат, указывая вправо от взятого им направления. Но он ничего не понимает, довольный и радостный, что сейчас доплывет, укрепит к берегу конец и люди будут спасены.

Но вдруг набежавшая волна с силой бросает

Матросика, и он всей грудью ударяется о прибрежный острый камень.

Ужасная боль и слабость мгновенно охватывают его. К нему подбегают арабы, и он им указывает на конец уже потускневшими глазами.

Смерть Матросика была почти моментальная.

VI

Арабы вытащили труп Матросика на песок и стали вытягивать конец.

Через полчаса за одну из скал, правее, был прикреплен канат, и по этому канату стали переправляться с «Жемчуга» люди. К полудню ветер заметно стих, так что возможно было продолжать переправу при помощи каната на шлюпках.

Когда все переправились на пустынный берег, капитан, указывая на труп маленького чернявого Матросика, сказал:

— Вот кто пожертвовал собою, чтобы спасти нас, братцы!

И, обнажив голову, приложился к покойнику.

Все крестились и отдавали последнее целование Матросику.

А в это время «Жемчуг» исчезал под волнами.

1898

Максимка

Посвящается Тусику

Константин Станюкович
Рассказ

I

Только что пробил колокол. Было шесть часов прелестного тропического утра на Атлантическом океане.

По бирюзовому небосклону, бесконечно высокому и прозрачно-нежному, местами подернутому, словно белоснежным кружевом, маленькими перистыми облачками, быстро поднимается золотистый шар солнца, жгучий и ослепительный, заливая радостным блеском водяную холмистую поверхность океана. Голубые рамки далекого горизонта ограничивают его беспредельную даль.

Как-то торжественно безмолвно кругом.

Только могучие светло-синие волны, сверкая на солнце своими серебристыми верхушками и нагоняя одна другую, плавно переливаются с тем ласковым, почти нежным ропотом, который точно нашептывает, что в этих широтах, под

тропиками, вековечный старик-океан всегда находится в добром расположении духа.

Бережно, словно заботливый нежный пестун, несет он на своей исполинской груди плывущие корабли, не угрожая морякам бурями и ураганами.

Пусто вокруг!

Не видно сегодня ни одного белеющего паруса, не видно ни одного дымка на горизонте. Большая океанская дорога широка.

Изредка блеснет на солнце серебристою чешуйкой летучая рыбка, покажет черную спину играющий кит и шумно выпустит фонтан воды, высоко прореет в воздухе темный фрегат или белоснежный альбатрос, пронесется над водой маленькая серая петрель, направляясь к далеким берегам Африки или Америки, и снова пусто. Снова рокочущий океан, солнце да небо, светлые, ласковые, нежные.

Слегка покачиваясь на океанской зыби, русский военный паровой клипер «Забияка» быстро идет к югу, удаляясь все дальше и дальше от севера, мрачного, угрюмого и все-таки близкого и дорогого севера.

Небольшой, весь черный, стройный и красивый со своими тремя чуть-чуть подавшимися

назад высокими мачтами, сверху донизу покрытый парусами, «Забияка» с попутным и ровным, вечно дующим в одном и том же направлении северо-восточным пассатом бежит себе миль по семи-восьми в час, слегка накренившись своим подветренным бортом. Легко и грациозно поднимается «Забияка» с волны на волну, с тихим шумом рассекает их своим острым водорезом, вокруг которого пенится вода и рассыпается алмазною пылью. Волны ласково лижут бока клипера. За кормой стелется широкая серебристая лента.

На палубе и внизу идет обычная утренняя чистка и уборка клипера — подготовка к подъему флага, то есть к восьми часам утра, когда на военном судне начинается день.

Рассыпавшись по палубе в своих белых рабочих рубахах с широкими откидными синими воротами, открывающими жилистые загорелые шеи, матросы, босые, с засученными до колен штанами, моют, скребут и чистят палубу, борты, пушки и медь — словом, убирают «Забияку» с тою щепетильною внимательностью, какою отличаются моряки при уборке своего судна, где всюду, от верхушек мачт до трюма, должна быть умопомрачающая чистота и где все, доступное

кирпичу, суконке и белилам, должно блестеть и сверкать.

Матросы усердно работали и весело посмеивались, когда горластый боцман Матвеич, старый служака с типичным боцманским лицом старого времени, красным и от загара, и от береговых кутежей, с выкаченными серыми глазами, «чумея», как говорили матросы, во время «убирки» выпаливал какую-нибудь уж очень затейливую ругательную импровизацию, поражавшую даже привычное ухо русского матроса. Делал Матвеич это не столько для поощрения, сколько, как он выражался, «для порядка».

Никто за это не сердился на Матвеича. Все знают, что Матвеич добрый и справедливый человек, кляуз не заводит и не злоупотребляет своим положением. Все давно привыкли к тому, что он не мог произнести трех слов без ругани, и порой восхищаются его бесконечными вариациями. В этом отношении он был виртуоз.

Время от времени матросы бегали на бак, к кадке с водой и к ящику, где тлел фитиль, чтобы наскоро выкурить трубочку острой махорки и перекинуться словом. Затем снова принимались чистить и оттирать медь, наводить глянец на пушки и мыть борты, и особенно старательно,

когда приближалась высокая худощавая фигура старшего офицера, с раннего утра носившегося по всему клиперу, заглядывая то туда, то сюда.

Вахтенный офицер, молодой блондин, стоявший вахту с четырех до восьми часов, уже давно разогнал дрему первого получаса вахты. Весь в белом, с расстегнутою ночной сорочкой, он ходит взад и вперед по мостику, вдыхая полной грудью свежий воздух утра, еще не накаленный жгучим солнцем. Нежный ветер приятно ласкает затылок молодого лейтенанта, когда он останавливается, чтобы взглянуть на компас — по румбу ли правят рулевые, или на паруса — хорошо ли они стоят, или на горизонт — нет ли где шквалистого облачка.

Но все хорошо, и лейтенанту почти нечего делать на вахте в благодатных тропиках.

И он снова ходит взад и вперед и слишком рано мечтает о том времени, когда вахта кончится и он выпьет стакан-другой чаю со свежими горячими булками, которые так мастерски печет офицерский кок, если только водку, которую он требует для поднятия теста, не вольет в себя.

II

Вдруг по палубе пронесся неестественно громкий и тревожный окрик часового, который, сидя на носу судна, смотрел вперед:

— Человек в море!

Матросы кинули мгновенно работы, и, удивленные и взволнованные, бросились на бак, и устремили глаза на океан.

— Где он, где? — спрашивали со всех сторон часового, молодого белобрысого матроса, лицо которого вдруг побелело как полотно.

— Вон, — указывал дрогнувшей рукой матрос. — Теперь скрылся. А сейчас видел, братцы… На мачте держался… привязан, что ли, — возбужденно говорил матрос, напрасно стараясь отыскать глазами человека, которого только что видел.

Вахтенный лейтенант вздрогнул от окрика часового и впился глазами в бинокль, наводя его в пространство перед клипером.

Сигнальщик смотрел туда же в подзорную трубу.

— Видишь? — спросил молодой лейтенант.

— Вижу, ваше благородие… Левее извольте взять…

Но в это мгновение и офицер увидел среди волн обломок мачты и на ней человеческую фигуру.

И взвизгивающим, дрожащим голосом, торопливым и нервным, он крикнул во всю силу своих здоровых легких:

— Свистать всех наверх! Грот и фок на гитовы! Баркас к спуску!

И, обратившись к сигнальщику, возбужденно прибавил:

— Не теряй из глаз человека!

— Пошел все наверх! — рявкнул сипловатым баском боцман после свистка в дудку.

Словно бешеные, матросы бросились к своим местам.

Капитан и старший офицер уже вбегали на мостик. Полусонные, заспанные офицеры, надевая на ходу кители, поднимались по трапу на палубу.

Старший офицер принял команду, как всегда бывает при аврале, и, как только раздались его громкие, отрывистые командные слова, матросы стали исполнять их с какою-то лихорадочною порывистостью. Все в их руках точно горело. Каждый словно бы понимал, как дорога каждая секунда.

Не прошло и семи минут, как почти все паруса,

за исключением двух-трех, были убраны, «Забияка» лежал в дрейфе, недвижно покачиваясь среди океана, и баркас с шестнадцатью гребцами и офицером у руля спущен был на воду.

— С богом! — крикнул с мостика капитан на отваливший от борта баркас.

Гребцы навалились изо всех сил, торопясь спасти человека.

Но в эти семь минут, пока остановился клипер, он успел пройти больше мили, и обломка мачты с человеком не видно было в бинокль.

По компасу заметили все-таки направление, в котором находилась мачта, и по этому направлению выгребал баркас, удаляясь от клипера.

Глаза всех моряков «Забияки» провожали баркас. Какою ничтожною скорлупою казался он, то показываясь на гребнях больших океанских волн, то скрываясь за ними.

Скоро он казался маленькой черной точкой.

III

На палубе царила тишина.

Только порой матросы, теснившиеся на юте и на шканцах, менялись между собой отрывистыми замечаниями, произносимыми вполголоса:

— Должно, какой-нибудь матросик с потопшего

корабля.

— Потонуть кораблю здесь трудно. Разве вовсе плохое судно.

— Нет, видно, столкнулся с каким другим ночью…

— А то и сгорел.

— И всего-то один человек остался, братцы!

— Может, другие на шлюпках спасаются, а этого забыли…

— Живой ли он?

— Вода теплая. Может, и живой.

— И как это, братцы, акул-рыба его не съела. Здесь этих самых акулов страсть!

— Ддда, милые! Опаская эта флотская служба. Ах, какая опаская! — произнес, подавляя вздох, совсем молодой чернявый матросик с серьгой, первогодок, прямо от сохи попавший в кругосветное плавание.

И с омраченным грустью лицом он снял шапку и медленно перекрестился, точно безмолвно моля Бога, чтобы он сохранил его от ужасной смерти где-нибудь в океане.

Прошло три четверти часа общего томительного ожидания.

Наконец сигнальщик, не отрывавший глаза от подзорной трубы, весело крикнул:

— Баркас пошел назад!

Когда он стал приближаться, старший офицер спросил сигнальщика:

— Есть на нем спасенный?

— Не видать, ваше благородие! — уже не так весело отвечал сигнальщик.

— Видно, не нашли! — проговорил старший офицер, подходя к капитану.

Командир «Забияки», низенький, коренастый и крепкий брюнет пожилых лет, заросший сильно волосами, покрывавшими мясистые щеки и подбородок густою черною заседевшею щетиной, с небольшими круглыми, как у ястреба, глазами, острыми и зоркими, — недовольно вздернул плечом и, видимо сдерживая раздражение, проговорил:

— Не думаю-с. На баркасе исправный офицер и не вернулся бы так скоро, если б не нашел человека-с.

— Но его не видно на баркасе.

— Быть может, внизу лежит, потому и не видно-с… А впрочем-с, скоро узнаем…

И капитан заходил по мостику, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на приближавшийся баркас. Наконец он взглянул в бинокль и хоть не видел спасенного, но по спокойно-весе-

лому лицу офицера, сидевшего на руле, решил, что спасенный на баркасе. И на сердитом лице капитана засветилась улыбка.

Еще несколько минут, и баркас подошел к борту и вместе с людьми был поднят на клипер.

Вслед за офицером из баркаса стали выходить гребцы, красные, вспотевшие, с трудом переводившие дыхание от усталости. Поддерживаемый одним из гребцов, на палубу вышел и спасенный — маленький негр, лет десяти-одиннадцати, весь мокрый, в рваной рубашке, прикрывавшей небольшую часть его худого, истощенного, черного, отливавшего глянцем тела.

Он едва стоял на ногах и вздрагивал всем телом, глядя ввалившимися большими глазами с какою-то безумною радостью и в то же время недоумением, словно не веря своему спасению.

— Совсем полумертвого с мачты сняли; едва привели в чувство бедного мальчишку, — докладывал капитану офицер, ходивший на баркасе.

— Скорее его в лазарет! — приказал капитан.

Мальчика тотчас же отнесли в лазарет, вытерли насухо, уложили в койку, покрыли одеялами, и доктор начал его отхаживать, вливая в рот ему по несколько капель коньяку.

Он жадно глотал влагу и умоляюще глядел на

доктора, показывая на рот.

А наверху ставили паруса, и минут через пять «Забияка» снова шел прежним курсом, и матросы снова принялись за прерванные работы.

— Арапчонка спасли! — раздавались со всех сторон веселые матросские голоса.

— И какой же он щуплый, братцы!

Некоторые бегали в лазарет узнавать, что с арапчонком.

— Доктор отхаживает. Небось, выходит!

Через час марсовой Коршунов принес известие, что арапчонок спит крепким сном, после того как доктор дал ему несколько ложечек горячего супа…

— Нарочно для арапчонка, братцы, кок суп варил; вовсе, значит, пустой, безо всего, — так, отвар быдто, — с оживлением продолжал Коршунов, довольный и тем, что ему, известному вралю, верят в данную минуту, и тем, что он на этот раз не врет, и тем, что его слушают.

И, словно бы желая воспользоваться таким исключительным для него положением, он торопливо продолжает:

— Фершал, братцы, сказывал, что этот самый арапчонок по-своему что-то лопотал, когда его кормили, просил, значит: «Дайте больше, мол,

этого самого супу»… И хотел даже вырвать у доктора чашку… Однако не допустили: значит, брат, сразу нельзя… Помрет, мол.

— Что ж арапчонок?

— Ничего, покорился…

В эту минуту к кадке с водой подошел капитанский вестовой Сойкин и закурил остаток капитанской сигары. Тотчас же общее внимание было обращено на вестового, и кто-то спросил:

— А не слышно, Сойкин, куда денут потом арапчонка?

Рыжеволосый, веснушчатый, франтоватый, в собственной тонкой матросской рубахе и в парусинных башмаках, Сойкин не без достоинства пыхнул дымком сигары и авторитетным тоном человека, имеющего кое-какие сведения, проговорил:

— Куда деть? Оставят на Надежном мысу, когда, значит, придем туда.

«Надежным мысом» он называл мыс Доброй Надежды.

И, помолчав, не без пренебрежения прибавил:

— Да и что с им делать, с черномазой нехристью? Вовсе даже дикие люди.

— Дикие не дикие, а все божья тварь… Пожалеть надо! — промолвил старый плотник Захарыч.

Слова Захарыча, видимо, вызвали общее сочувствие среди кучки курильщиков.

— А как же арапчонок оттель к своему месту вернется? Тоже и у его, поди, отец с матерью есть! — заметил кто-то.

— На Надежном мысу всяких арапов много. Небось, дознаются, откуда он, — ответил Сойкин и, докурив окурок, вышел из круга.

— Тоже вестовщина. Полагает о себе! — сердито пустил ему вслед старый плотник.

IV

На другой день мальчик-негр хотя и был очень слаб, но настолько оправился после нервного потрясения, что доктор, добродушный пожилой толстяк, радостно улыбаясь своею широкою улыбкою, потрепал ласково мальчика по щеке и дал ему целую чашку бульону, наблюдая, с какой жадностью глотал он жидкость и как потом благодарно взглянул своими большими черными выпуклыми глазами, зрачки которых блестели среди белков.

После этого доктор захотел узнать, как мальчик очутился в океане и сколько времени он голодал, но разговор с пациентом оказался решительно невозможным, несмотря даже на выразитель-

ные пантомимы доктора. Хотя маленький негр, по-видимому, был сильнее доктора в английском языке, но так же, как и почтенный доктор, безбожно коверкал несколько десятков английских слов, которые были в его распоряжении.

Они друг друга не понимали.

Тогда доктор послал фельдшера за юным мичманом, которого все в кают-компании звали Петенькой.

— Вы, Петенька, отлично говорите по-английски, поговорите-ка с ним, а у меня что-то не выходит! — смеясь, проговорил доктор. — Да скажите ему, что дня через три я его выпущу из лазарета! — прибавил доктор.

Юный мичман, присев около койки, начал свой допрос, стараясь говорить короткие фразы тихо и раздельно, и маленький негр, видимо, понимал если не все, о чем спрашивал мичман, то, во всяком случае, кое-что, и спешил отвечать рядом слов, не заботясь об их связи, но зато подкрепляя их выразительными пантомимами.

После довольно продолжительного и трудного разговора с мальчиком-негром мичман рассказал в кают-компании более или менее верную в общих чертах историю мальчика, основанную на его ответах и мимических движениях.

Мальчик был на американском бриге «Бетси» и принадлежал капитану («большому мерзавцу», — вставил мичман), которому чистил платье, сапоги и подавал кофе с коньяком или коньяк с кофе. Капитан звал слугу своего «боем»[18], и мальчик уверен, что это его имя. Отца и матери он не знает. Капитан год тому назад купил маленького негра в Мозамбике и каждый день бил его. Бриг шел из Сенегала в Рио с грузом негров. Две ночи тому назад бриг сильно стукнуло другое судно (эту часть рассказа мичман основал на том, что маленький негр несколько раз проговорил: «кра, кра, кра» и затем слабо стукнул своим кулачком по стенке лазаретной каютки), и бриг пошел ко дну... Мальчик очутился в воде, привязался к обломку мачты и провел на ней почти двое суток...

Но несравненно красноречивее всяких слов, если бы такие и мог сказать мальчик о своей ужасной жизни, говорило и его удивление, что с ним ласково обращаются, и забитый его вид, и эти благодарные его взгляды загнанной собачонки, которыми он смотрел на доктора, фельдшера и на мичмана, и — главное — его покрытая рубцами, блестящая черная худая спина с выдающимися

[18] Примечания: 18

Воу — по-английски «мальчик»; кроме того, «бой» — общепринятое в английских колониях наименование слуг вообще.

ребрами.

Рассказ мичмана и показания доктора произвели сильное впечатление в кают-компании. Кто-то сказал, что необходимо поручить этого бедняжку покровительству русского консула в Каптоуне и сделать в пользу негра сбор в кают-компании.

Пожалуй, еще большее впечатление произвела история маленького негра на матросов, когда в тот же день, под вечер, молодой вестовой мичмана, Артемий Мухин — или, как все его звали, Артюшка, — передавал на баке рассказ мичмана, причем не отказал себе в некотором злорадном удовольствии украсить рассказ некоторыми прибавлениями, свидетельствующими о том, какой был дьявол этот американец-капитан.

— Каждый день, братцы, он мучил арапчонка. Чуть что, сейчас в зубы: раз, другой, третий, да в кровь, а затем снимет с крючка плетку, — а плетка, братцы, отчаянная, из самой толстой ремешки, — и давай лупцевать арапчонка! — говорил Артюшка, вдохновляясь собственной фантазией, вызванной желанием представить жизнь арапчонка в самом ужасном виде. — Не разбирал, анафема, что перед им безответный мальчонка, хоть и негра… У бедняги и посейчас вся спина исполосована… Доктор сказывал:

страсть поглядеть! — добавил впечатлительный и увлекавшийся Артюшка.

Но матросы, сами бывшие крепостные и знавшие по собственному опыту, как еще в недавнее время «полосовали» им спины, и без Артюшкиных прикрас жалели арапчонка и посылали по адресу американского капитана самые недобрые пожелания, если только этого дьявола уже не сожрали акулы.

— Небось, у нас уж объявили волю хрестьянам, а у этих мериканцев, значит, крепостные есть? — спросил какой-то пожилой матрос.

— То-то есть!

— Чудно что-то… Вольный народ, а поди ж ты! — протянул пожилой матрос.

— У их арапы быдто вроде крепостных! — объяснял Артюшка, слыхавший кое-что об этом в кают-компании. — Из-за этого самого у их промеж себя и война идет[19]. Одни мериканцы, значит, хотят, чтобы все арапы, что живут у их, были вольные, а другие на это никак не согласны — это те, которые имеют крепостных арапов, — ну и жарят друг дружку, страсть!.. Только господа сказывали, что которые мериканцы за арапов

---

[19] Примечания: 19

Рассказ относится ко времени междоусобной войны в Соединенных Штатах.

стоят, те одолеют! Начисто разделают помещиков мериканских! — не без удовольствия прибавил Артюшка.

— Не бойсь, Господь им поможет… И арапу на воле жить хочется… И птица клетки не любит, а человек и подавно! — вставил плотник Захарыч.

Чернявый молодой матросик-первогодок, тот самый, который находил, что флотская служба очень «опаская», с напряженным вниманием слушал разговор и, наконец, спросил:

— Теперь, значит, Артюшка, этот самый арапчонок вольный будет?

— А ты думал как? Известно, вольный! — решительно проговорил Артюшка, хотя в душе и не вполне был уверен в свободе арапчонка, не имея решительно никаких понятий об американских законах насчет прав собственности.

Но его собственные соображения решительно говорили за свободу мальчика. «Черта-хозяина» нет, к рыбам в гости пошел, так какой тут разговор!

И он прибавил:

— Теперь арапчонку только новый пачпорт выправить на Надежном мысу. Получи пачпорт, и айда на все четыре стороны.

Эта комбинация с паспортом окончательно

рассеяла его сомнения.

— То-то и есть! — радостно воскликнул черняВый матросик-первогодок.

И на его добродушном румяном лице с добрыми, как у щенка, глазами засветилась тихая светлая улыбка, выдававшая радость за маленького несчастного негра.

Короткие сумерки быстро сменились чудною, ласковою тропическою ночью. Небо зажглось мириадами звезд, ярко мигающих с бархатной выси. Океан потемнел вдали, сияя фосфорическим блеском у бортов клипера и за кормою.

Скоро просвистали на молитву, и затем подвахтенные, взявши койки, улеглись спать на палубе.

А вахтенные матросы коротали вахту, притулившись у снастей, и лясничали вполголоса. В эту ночь во многих кучках говорили об арапчонке.

V

Через два дня доктор, по обыкновению, пришел в лазарет в семь часов утра и, обследовав своего единственного пациента, нашел, что он поправился, может встать, выйти наверх и есть матросскую пищу. Объявил он об этом маленькому негру больше знаками, которые были на

этот раз быстро поняты поправившимся и повеселевшим мальчиком, казалось, уже забывшим недавнюю близость смерти. Он быстро вскочил с койки, обнаруживая намерение идти наверх погреться на солнышке, в длинной матросской рубахе, которая сидела на нем в виде длинного мешка, но веселый смех доктора и хихиканье фельдшера при виде черненького человечка в таком костюме несколько смутили негра, и он стоял среди каюты, не зная, что ему предпринять, и не вполне понимая, к чему доктор дергает его рубаху, продолжая смеяться.

Тогда негр быстро ее снял и хотел было юркнуть в двери нагишом, но фельдшер удержал его за руку, а доктор, не переставая смеяться, повторял:

— No, no, no…

И вслед за тем знаками приказал негру надеть свою рубашку-мешок.

— Во что бы одеть его, Филиппов? — озабоченно спрашивал доктор щеголеватого курчавого фельдшера, человека лет тридцати. — Об этом-то мы с тобой, братец, и не подумали…

— Точно так, вашескобродие, об этом мечтания не было. А ежели теперь обрезать ему, значит, рубаху примерно до колен, вашескобродие, да, с позволения сказать, перехватить талию

ремнем, то будет даже довольно «обоюдно», вашескобродие, — заключил фельдшер, имевший несчастную страсть употреблять некстати слова, когда он хотел выразиться покудрявее, или, как матросы говорили, позанозистее.

— То есть как «обоюдно»? — улыбнулся доктор.

— Да так-с… обоюдно… Кажется, всем известно, что обозначает «обоюдно», вашескобродие! — обиженно проговорил фельдшер. — Удобно и хорошо, значит.

— Едва ли это будет «обоюдно», как ты говоришь. Один смех будет, вот что, братец. А впрочем, надо же как-нибудь одеть мальчика, пока не попрошу у капитана разрешения сшить мальчику платье по мерке.

— Очень даже возможно хороший костюм сшить… На клипере есть матросы по портной части. Сошьют.

— Так устраивай свой обоюдный костюм.

Но в эту минуту в двери лазаретной каюты раздался осторожный, почтительный стук.

— Кто там? Входи! — крикнул доктор.

В дверях показалось сперва красноватое, несколько припухлое, неказистое лицо, обрамленное русыми баками, с подозрительного цвета носом и воспаленными живыми и добрыми гла-

зами, а вслед за тем и вся небольшая, сухощавая, довольно ладная и крепкая фигура фор-марсового Ивана Лучкина.

Это был пожилой матрос, лет сорока, прослуживший во флоте пятнадцать лет и бывший на клипере одним из лучших матросов и отчаянных пьяниц, когда попадал на берег. Случалось, он на берегу пропивал все свое платье и являлся на клипер в одном белье, ожидая на следующее утро наказания с самым, казалось, беззаботным видом.

— Это я, вашескобродие, — проговорил Лучкин сиповатым голосом, переступая большими ступнями босых жилистых ног и теребя засмоленной шершавой рукой обтянутую штанину.

В другой руке у него был узелок.

Он глядел на доктора с тем застенчиво-виноватым выражением и в лице и в глазах, которое часто бывает у пьяниц и вообще у людей, знающих за собой порочные слабости.

— Что тебе, Лучкин?.. Заболел, что ли?

— Никак нет, вашескобродие, — я вот платье арапчонку принес… Думаю: голый, так сшил и мерку еще раньше снял. Дозвольте отдать, вашескобродие.

— Отдавай, братец… Очень рад, — говорил док-

тор, несколько изумленный. — Мы вот думали, во что бы одеть мальчика, а ты раньше нас подумал о нем…

— Способное время было, вашескобродие, — как бы извинялся Лучкин.

И с этими словами он вынул из ситцевого платка маленькую матросскую рубаху и такие же штаны, сшитые из холста, встряхнул их и, подавая ошалевшему мальчику, весело и уже совсем не виноватым тоном, каким говорил с доктором, сказал, ласково глядя на негра:

— Получай, Максимка! Одежа самая, братец ты мой, вери гут. Одевай да носи на здоровье, а я посмотрю, как сидит… Вали, Максимка!

— Отчего ты его Максимкой зовешь? — рассмеялся доктор.

— А как же, вашескобродие? Максимка и есть, потому как его в день святого угодника Максима спасли, он и выходит Максимка… Опять же имени у арапчонка нет, надо же его как-нибудь звать.

Радости мальчика не было пределов, когда он облачился в новую чистую пару. Видимо, такого платья он никогда не носил.

Лучкин осмотрел свое изделие со всех сторон, обдергал и пригладил рубаху и нашел, что платье во всем аккурате.

— Ну, теперь валим наверх, Максимка… Погрейся на солнышке! Дозвольте, вашескобродие.

Доктор, сияя добродушной улыбкой, кивнул головой, и матрос, взяв за руку негра, повел его на бак и, показывая матросам, проговорил:

— Вот он и Максимка! Не бойсь, теперь забудет идола-мериканца, знает, что российские матросы его не забидят.

И он любовно трепал мальчика по плечу и, показывая на его курчавую голову, сказал:

— Ужо, брат, и шапку справим… И башмачки будут, дай срок!

Мальчик ничего не понимал, но чувствовал по всем этим загорелым лицам матросов, по их улыбкам, полным участия, что его не обидят.

И он весело скалил свои ослепительно белые зубы, нежась под горячими лучами родного ему южного солнца.

С этого дня все стали его звать Максимкой.

VI

Представив матросам на баке маленького, одетого по-матроссски негра, Иван Лучкин тотчас же объявил, что будет «доглядывать» за Максимкой и что берет его под свое особое покровительство, считая, что это право принадлежит исключи-

тельно ему уж в силу того, что он «обрядил мальчонка» и дал ему, как он выразился, «форменное прозвище».

О том, что этот заморенный, худой маленький негр, испытавший на заре своей жизни столько горя у капитана-американца, возбудил необыкновенную жалость в сердце одинокого как перст матроса, жизнь которого, особенно прежде, тоже была не из сладких, и вызвал желание сделать для него возможно приятными дни пребывания на клипере, — о том Лучкин не проронил ни слова. По обыкновению русских простых людей, он стыдился перед другими обнаруживать свои чувства и, вероятно, поэтому объяснил матросам желание «доглядывать» за Максимкой исключительно тем, что «арапчонок занятный, вроде облизьяны, братцы». Однако на всякий случай довольно решительно заявил, бросая внушительный взгляд на матроса Петрова, известного задиру, любившего обижать безответных и робких «первогодков»-матросов, — что если найдется такой, «прямо сказать, подлец», который забидит сироту, то будет иметь дело с ним, с Иваном Лучкиным.

— Не бойсь, искровяню морду в самом лучшем виде! — прибавил он, словно бы в пояснение того,

что значит иметь с ним дело. — Забижать дите — самый большой грех… Какое ни на есть оно: крещеное или арапское, а все дите… И ты его не забидь! — заключил Лучкин.

Все матросы охотно признали заявленные Лучкиным права на Максимку, хотя многие скептически отнеслись к рачительному исполнению принятой им добровольно на себя хлопотливой обязанности.

Где, мол, такому «отчаянному матросне» и забулдыге-пьянице возиться с арапчонком?

И кто-то из старых матросов не без насмешки спросил:

— Так ты, Лучкин, значит, вроде быдто няньки будешь у Максимки?

— То-то, за няньку! — отвечал с добродушным смехом Лучкин, не обращая внимания на иронические усмешки и улыбки. — Нешто я в няньки не гожусь, братцы? Не к барчуку ведь!.. Тоже и этого черномазого надо обрядить… другую смену одежи сшить, да башмаки, да шапку справить… Дохтур исхлопочет, чтобы, значит, товар казенный выдали… Пущай Максимка добром вспомнит российских матросиков, как оставят его беспризорного на Надежном мысу. По крайности, не голый будет ходить.

— Да как же ты, Лучкин, будешь лопотать с эстим самым арапчонком? Ни ты его, ни он тебя!..

— Не бойсь, договоримся! Еще как будем-то говорить! — с какою-то непостижимой уверенностью произнес Лучкин. — Он даром что арапского звания, а понятливый… я его, братцы, скоро понашему выучу… Он поймет…

И Лучкин ласково взглянул на маленького негра, который, притулившись к борту, любопытно озирался вокруг.

И негр, перехватив этот полный любви и ласки взгляд матроса, тоже в ответ улыбался, оскаливая зубы, широкой благодарной улыбкой, понимая без слов, что этот матрос друг ему.

Когда в половине двенадцатого часа были окончены все утренние работы, и вслед за тем вынесли на палубу ендову с водкой, и оба боцмана и восемь унтер-офицеров, ставши в кружок, засвистали призыв к водке, который матросы не без остроумия называют «соловьиным пением», — Лучкин, радостно улыбаясь, показал мальчику на свой рот, проговорив: «Сиди тут, Максимка!», и побежал на шканцы, оставив негра в некотором недоумении.

Недоумение его, впрочем, скоро разрешилось.

Острый запах водки, распространявшийся по

всей палубе, и удовлетворенно-серьезные лица матросов, которые, возвращаясь со шканцев, утирали усы своими засмоленными шершавыми руками, напомнили маленькому негру о том, что и на «Бетси» раз в неделю матросам давали по стакану рома, и о том, что капитан пил его ежедневно и, как казалось мальчику, больше, чем бы следовало.

Лучкин, уже вернувшийся к Максимке и после большой чарки водки бывший в благодушном настроении, весело трепанул мальчика по спине и, видимо, желая поделиться с ним приятными впечатлениями, проговорил:

— Бон водка! Вери гут шнапс, Максимка, я тебе скажу.

Максимка сочувственно кивнул головой и промолвил:

— Вери гут!

Это быстрое понимание привело Лучкина в восхищение, и он воскликнул:

— Ай да молодца, Максимка! Все понимаешь… А теперь валим, мальчонка, обедать… Небось, есть хочешь?

И матрос довольно наглядно задвигал скулами, открывая рот.

И это понять было нетрудно, особенно ко-

гда мальчик увидал, как снизу один за другим выходили матросы-артельщики, имея в руках изрядные деревянные баки (мисы) со щами, от которых шел вкусный пар, приятно щекотавший обоняние.

И маленький негр довольно красноречиво замахал головой, и глаза его блеснули радостью.

— Ишь ведь, все понимает? Башковатый! — промолвил Лучкин, начинавший уже несколько пристрастно относиться и к арапчонку, и к своему умению разговаривать с ним понятно, и, взяв Максимку за руку, повел его.

На палубе, прикрытой брезентами, уже расселись, поджав ноги, матросы небольшими артелями, человек по двенадцати, вокруг дымящихся баков со щами из кислой капусты, запасенной еще из Кронштадта, и молча и истово, как вообще едят простолюдины, хлебали варево, заедая его размоченными сухарями.

Осторожно ступая между обедающими, Лучкин подошел с Максимкой к своей артели, расположившейся между грот- и фок-мачтами, и проговорил, обращаясь к матросам, еще не начинавшим, в ожидании Лучкина, обедать:

— А что, братцы, примете в артель Максимку?

— Чего спрашиваешь зря? Садись с арапчон-

ком! — проговорил старый плотник Захарыч.

— Может, другие которые… Сказывай, ребята! — снова спросил Лучкин.

Все в один голос отвечали, что пусть арапчонок будет в их артели, и потеснились, чтобы дать им обоим место.

И со всех сторон раздались шутливые голоса:

— Не бойсь, не объест твой Максимка!

— И всю солонину не съест!

— Ему и ложка припасена, твоему арапчонку.

— Да я, братцы, по той причине, что он негра… некрещеный, значит, — промолвил Лучкин, присевши к баку и усадивши около себя Максимку. — Но только я полагаю, что у Бога все равны… Всем хлебушка есть хочется…

— А то как же? Господь на земле всех терпит… Не бойсь, не разбирает. Это вот разве который дурак, как вестовщина Сойкин, мелет безо всякого рассудка об нехристях! — снова промолвил Захарыч.

Все, видимо, разделяли мнение Захарыча. Недаром же русские матросы с замечательной терпимостью относятся к людям всех рас и с исповеданий, с какими приходится им встречаться.

Артель отнеслась к Максимке с полным радушием. Один дал ему деревянную ложку, другой

придвинул размоченный сухарь, и все глядели ласково на затихшего мальчика, видимо, не привыкшего к особенному вниманию со стороны людей белой кожи, и словно бы приглашали его этими взглядами не робеть.

— Однако и начинать пора, а то щи застынут! — заметил Захарыч.

Все перекрестились и начали хлебать щи.

— Ты что же не ешь, Максимка, а? Ешь, глупый! Шти, братец, скусные. Гут щи! — говорил Лучкин, показывая на ложку.

Но маленький негр, которого на бриге никогда не допускали есть вместе с белыми и который питался объедками один, где-нибудь в темном уголке, робел, хотя и жадными глазами посматривал на щи, глотая слюну.

— Эка пужливый какой! Видно, застращал арапчонка этот самый дьявол-мериканец? — промолвил Захарыч, сидевший рядом с Максимкой.

И с этими словами старый плотник погладил курчавую голову Максимки и поднес к его рту свою ложку…

После этого Максимка перестал бояться и через несколько минут уже усердно уписывал и щи, и накрошенную потом солонину, и пшенную кашу с маслом.

А Лучкин то и дело его похваливал и повторял:

— Вот это бон, Максимка. Вери гут, братец ты мой. Кушай себе на здоровье!

VII

По всему клиперу раздается храп отдыхающих после обеда матросов. Только отделение вахтенных не спит, да кто-нибудь из хозяйственных матросов, воспользовавшись временем, тачает себе сапоги, шьет рубаху или чинит какую-нибудь принадлежность своего костюма.

А «Забияка» идет да идет себе с благодатным пассатом, и вахтенным решительно нечего делать, пока не набежит грозовое облачко и не заставит моряков на время убрать все паруса, чтобы встретить тропический шквал с проливным дождем готовыми, то есть с оголенными мачтами, предоставляя его ярости меньшую площадь сопротивления.

Но горизонт чист. Ни с одной стороны не видно этого маленького серенького пятнышка, которое, быстро вырастая, несется громадной тучей, застилающей горизонт и солнце. Страшный порыв валит судно набок, страшный ливень стучит по палубе, промачивает до костей, и шквал так же быстро проносится далее, как и появляется. Он

нашумел, облил дождем и исчез.

И снова ослепительное солнце, лучи которого быстро сушат и палубу, и снасти, и паруса, и матросские рубахи, и снова безоблачное голубое небо и ласковый океан, по которому бежит, снова одевшись всеми парусами, судно, подгоняемое ровным пассатом.

Благодать кругом и теперь… Тишина и на клипере.

Команда отдыхает, и в это время нельзя без особой крайности беспокоить матросов, — такой давно установившийся обычай на судах.

Притулившись в тени у фок-мачты, не спит сегодня и Лучкин, к удивлению вахтенных, знавших, что Лучкин здоров спать.

Мурлыкая себе под нос песенку, слов которой не разобрать, Лучкин кроил из куска парусины башмаки и по временам взглядывал на растянувшегося около него, сладко спавшего Максимку и на его ноги, чернеющиеся из-за белых штанин, словно бы соображая, правильна ли мерка, которую он снял с этих ног тотчас же после обеда.

По-видимому, наблюдения вполне успокаивают матроса, и он продолжает работу, не обращая больше внимания на маленькие черные ноги.

Что-то радостное и теплое охватывает душу

этого бесшабашного пропойцы при мысли о том, что он сделает «на первый сорт» башмаки этому бедному, беспризорному мальчишке и справит ему все, что надо. Вслед за тем невольно проносится вся его матросская жизнь, воспоминание о которой представляет довольно однообразную картину бесшабашного пьянства и порок за пропитые казенные вещи.

И Лучкин не без основательности заключает, что не будь он отчаянным марсовым, бесстрашие которого приводило в восторг всех капитанов и старших офицеров, с которыми он служил, то давно бы ему быть в арестантских ротах.

— За службу жалели! — проговорил он вслух и почему-то вздохнул и прибавил: — То-то она и загвоздка!

К какому именно обстоятельству относилась эта «загвоздка»: к тому ли, что он отчаянно пьянствовал при съездах на берег и дальше ближайшего кабака ни в одном городе (кроме Кронштадта) не бывал, или к тому, что он был лихой марсовой и потому только не попробовал арестантских рот, — решить было трудно. Но несомненным было одно: вопрос о какой-то «загвоздке» в его жизни, заставил Лучкина на несколько минут прервать мурлыканье, заду-

маться и в конце концов проговорить вслух:

— И хуфайку бы нужно Максимке… А то какой же человек без хуфайки?

В продолжение часа, полагавшегося на послеобеденный отдых команды, Лучкин успел скроить передки и приготовить подошвы для башмаков Максимки. Подошвы были новые, из казенного товара, приобретенные еще утром в долг у одного хозяйственного матроса, имевшего собственные сапоги, причем для верности, по предложению самого Лучкина, знавшего, как трудно у него держатся деньги, в особенности на твердой земле, уплату долга должен был произвести боцман, удержав деньги из жалованья.

Когда раздался боцманский свисток и вслед за тем команда горластого боцмана Василия Егоровича, или Егорыча, как звали его матросы, Лучкин стал будить сладко спавшего Максимку. Он хоть и пассажир, а все же должен был, по мнению Лучкина, жить по-матроссски, как следует по расписанию, во избежание каких-либо неприятностей, главным образом со стороны Егорыча. Егорыч хотя и был, по убеждению Лучкина, добер и дрался не зря, а с «большим рассудком», а все-таки под сердитую руку мог съездить по уху и арапчонка за «непорядок». Так уж лучше и

арапчонка к порядку приучать.

— Вставай, Максимка! — говорил ласковым тоном матрос, потряхивая за плечо негра.

Тот потянулся, открыл глаза и поглядел вокруг. Увидав, что все матросы встают и Лучкин собирает свою работу, Максимка торопливо вскочил на ноги и, как покорная собачонка, смотрел в глаза Лучкина.

— Да ты не бойся, Максимка… Ишь, глупый… всего боится! А это, братец, тебе будут башмаки…

Хотя негр решительно не понимал, что говорил ему Лучкин, то показывая на его ноги, то на куски скроенной парусины, тем не менее улыбался во весь свой широкий рот, чувствуя, вероятно, что ему говорят что-нибудь хорошее. Доверчиво и послушно пошел он за поманившим его Лучкиным на кубрик и там любопытно смотрел, как матрос уложил в парусиновый чемоданчик, наполненный бельем и платьем, свою работу, и снова ничего не понимал, и только опять благодарно улыбался, когда Лучкин снял свою шапку и, показывая пальцем то на нее, то на голову маленького негра, тщетно старался объяснить и словами и знаками, что и у Максимки будет такая же шапка с белым чехлом и лентой.

Но зато негр чувствовал всем своим малень-

ким сердцем расположение этих белых людей, говоривших совсем не на том языке, на котором говорили белые люди на «Бетси», и особенно доброту этого матроса с красным носом, напоминавшим ему стручковый перец, и с волосами, похожими цветом на паклю, который подарил ему такое чудное платье, так хорошо угостил его вкусными яствами и так ласково смотрит на него, как никто не глядел на него во всю жизнь, кроме пары чьих-то больших черных навыкате глаз на женском чернокожем лице.

Эти глаза, добрые и нежные, жили в его памяти как далекое, смутное воспоминание, неразделное с представлением шалашей, крытых бананами, и высоких пальм. Были ли это грезы или впечатления детства — он, конечно, не мог бы объяснить; но эти глаза, случалось, жалели его во сне. И теперь он увидал и наяву добрые, ласковые глаза.

Да и вообще эти дни пребывания на клипере казались ему теми хорошими грезами, которые являлись только во сне, — до того они не похожи были на недавние, полные страданий и постоянного страха.

Когда Лучкин, бросив объяснения насчет шапки, достал из чемоданчика кусок сахару и дал его

Максимке, мальчик был окончательно подавлен. Он схватил мозолистую, шершавую руку матроса и стал ее робко и нежно гладить, заглядывая в лицо Лучкина с трогательным выражением благодарности забитого существа, согретого лаской. Эта благодарность светилась и в глазах и в лице… Она слышалась и в дрогнувших гортанных звуках нескольких слов, порывисто и горячо произнесенных мальчиком на своем родном языке перед тем, как он засунул сахар в рот.

— Ишь ведь, ласковый! Видно, не знал доброго слова, горемычный! — промолвил матрос с величайшей нежностью, которую только мог выразить его сиповатый голос, и потрепал Максимку по щеке. — Ешь сахар-то. Скусный! — прибавил он.

И здесь, в этом темном уголке кубрика, после обмена признаний, закрепилась, так сказать, взаимная дружба матроса с маленьким негром. Оба, казалось, были вполне довольны друг другом.

— Беспременно надо выучить тебя, Максимка, по-нашему, а то и не разобрать, что ты лопочешь, черномазый! Однако валим наверх! Сейчас антиллеринское ученье. Поглядишь!

Они вышли наверх. Скоро барабанщик пробил артиллерийскую тревогу, и Максимка, присло-

нившись к мачте, чтоб не быть сбитым с ног, сперва испугался при виде бегущих стремглав к орудиям матросов, но потом скоро успокоился и восхищенными глазами смотрел, как матросы откатывали большие орудия, как быстро совали в них банники и, снова выдвигая орудия за борт, недвижно замирали около них. Мальчик ждал, что будут стрелять, и недоумевал, в кого это хотят стрелять, так как на горизонте не было ни одного судна. А он уже был знаком с выстрелами и даже видел, как близко шлепнулась какая-то штука за кормою «Бетси», когда она, пустившись по ветру, удирала во все лопатки от какого-то трехмачтового судна, которое гналось за шкуной, наполненной грузом негров. Мальчик видел испуганные лица у всех на «Бетси» и слышал, как ругался капитан, пока трехмачтовое судно не стало значительно отставать. Он не знал, конечно, что это был один из военных английских крейсеров, назначенный для ловли негропромышленников, и тоже радовался, что шкуна убежала, и таким образом его мучитель-капитан не был пойман и не вздернут на нока-рее за по-

зорную торговлю людьми[20].

Но выстрелов не было, и Максимка так их и не дождался. Зато с восхищением слушал барабанную дробь и не спускал глаз с Лучкина, который стоял у бакового орудия комендором и часто нагибался, чтобы прицеливаться.

Зрелище ученья очень понравилось Максимке, но не менее понравился ему и чай, которым после ученья угостил его Лучкин. Сперва Максимка только диву давался, глядя, как все матросы дуют горячую воду из кружек, закусывая сахаром и обливаясь потом. Но когда Лучкин дал и ему кружку и сахару, Максимка вошел во вкус и выпил две кружки.

Что же касается первого урока русского языка, начатого Лучкиным в тот же день, перед вечером, когда начала спадать жара и когда, по словам матроса, было «легче войти в понятие», то начало его — признаться — не предвещало особенных успехов и вызывало немало-таки насмешек сре-

---

[20] Примечания: 20

В прежнее время, когда особенно процветала торговля неграми, состоялась международная конвенция между всеми почти государствами Европы о противодействии этому злу. В силу этой конвенции, Франция и Англия посылали к берегам Африки и Америки военные крейсеры для ловли негропромышленников. С пойманными расправлялись строго. Капитана и помощника его вешали, а матросов отправляли в каторжные работы. Негров объявляли свободными, а пойманные суда делались призом поймавших.

ди матросов при виде тщетных усилий Лучкина объяснить ученику, что его зовут Максимкой, а что учителя зовут Лучкиным.

Однако Лучкин хоть и не был никогда педагогом, тем не менее обнаружил такое терпение, такую выдержку и мягкость в стремлении во что бы то ни стало заложить, так сказать, первое основание обучения, — каковым он считал знание имени, — что им могли бы позавидовать патентованные педагоги, которым, вдобавок, едва ли приходилось преодолевать трудности, представившиеся матросу.

Придумывая более или менее остроумные способы для достижения заданной себе цели, Лучкин тотчас же приводил их и в исполнение.

Он тыкал в грудь маленького негра и говорил: «Максимка», затем показывал на себя и говорил: «Лучкин». Проделав это несколько раз и не достигнув удовлетворительного результата, Лучкин отходил на несколько шагов и вскрикивал: «Максимка!» Мальчик скалил зубы, но не усваивал и этого метода. Тогда Лучкин придумал новую комбинацию. Он попросил одного матросика крикнуть: «Максимка!» — и когда матрос крикнул, Лучкин не без некоторого довольства человека, уверенного в успехе, указал пальцем на

Максимку и даже для убедительности осторожно затем встряхнул его за шиворот. Увы! Максимка весело смеялся, но, очевидно, понял встряхивание за приглашение потанцевать, потому что тотчас же вскочил на ноги и стал отплясывать, к общему удовольствию собравшейся кучки матросов и самого Лучкина.

Когда танец был окончен, маленький негр отлично понял, что пляской его остались довольны, потому что многие матросы трепали его и по плечу, и по спине, и по голове и говорили, весело смеясь:

— Гут, Максимка! Молодца, Максимка!

Трудно сказать, насколько бы увенчались успехом дальнейшие попытки Лучкина познакомить Максимку с его именем — попытки, к которым Лучкин хотел было вновь приступить, но появление на баке мичмана, говорящего по-английски, значительно упростило дело. Он объяснил мальчику, что он не «бой», а Максимка, и кстати сказал, что Максимкиного друга зовут Лучкин.

— Теперь, брат, он знает, как ты его прозвал! — проговорил, обращаясь к Лучкину, мичман.

— Премного благодарен, ваше благородие! — отвечал обрадованный Лучкин и прибавил: — А то я, ваше благородие, долго бился… Мальчонка

башковатый, а никак не мог взять в толк, как его зовут.

— Теперь знает… Ну-ка, спроси.

— Максимка!

Маленький негр указал на себя.

— Вот так ловко, ваше благородие… Лучкин! — снова обратился матрос к мальчику.

Мальчик указал пальцем на матроса.

И оба они весело смеялись. Смеялись и матросы и замечали:

— Арапчонок в науку входит…

Дальнейший урок пошел как по маслу.

Лучкин указывал на разные предметы и называл их, причем, при малейшей возможности исковеркать слово, коверкал его, говоря вместо рубаха — «рубах», вместо мачта — «мачт», уверенный, что при таком изменении слов они более похожи на иностранные и легче могут быть усвоены Максимкой.

Когда просвистали ужинать, Максимка уже мог повторять за Лучкиным несколько русских слов.

— Ай да Лучкин! Живо обучил арапчонка. Того и гляди, до Надежного мыса понимать станет по-нашему! — говорили матросы.

— Еще как поймет-то! До Надежного ходу никак не меньше двадцати ден… А Максимка понят-

ливый!

При слове «Максимка» мальчик взглянул на Лучкина.

— Ишь, твердо знает свою кличку!.. Садись, братец, ужинать будем!

Когда после молитвы раздали койки, Лучкин уложил Максимку около себя на палубе. Максимка, счастливый и благодарный, приятно потягивался на матросском тюфячке, с подушкой под головой и под одеялом, — все это Лучкин исхлопотал у подшкипера, отпустившего арапчонку койку со всеми принадлежностями.

— Спи, спи, Максимка! Завтра рано вставать!

Но Максимка и без того уже засыпал, проговорив довольно недурно для первого урока: «Максимка» и «Лючики», как переделал он фамилию своего пестуна.

Матрос перекрестил маленького негра и скоро уже храпел во всю ивановскую.

С полуночи он стал на вахту и вместе с фор-марсовым Леонтьевым полез на фор-марс.

Там они присели, осмотрев предварительно, все ли в порядке, и стали «лясничать», чтобы не одолевала дрема. Говорили о Кронштадте, вспоминали командиров… и смолкли.

Вдруг Лучкин спросил:

— И никогда, ты, Леонтьев, этой самой водкой не занимался?

Трезвый, степенный и исправный Леонтьев, уважавший Лучкина как знающего фор-марсового, работавшего на ноке, и несколько презиравший в то же время его за пьянство, — категорически ответил:

— Ни в жисть!

— Вовсе, значит, не касался?

— Разве когда стаканчик в праздник.

— То-то ты и чарки своей не пьешь, а деньги за чарки забираешь?

— Деньги-то, братец, нужнее… Вернемся в Россию, ежели выйдет отставка, при деньгах ты завсегда обернешься…

— Это что и говорить…

— Да ты к чему это, Лучкин, насчет водки?..

— А к тому, что ты, Леонтьев, задачливый матрос…

Лучкин помолчал и затем опять спросил:

— Сказывают: заговорить можно от пьянства?

— Заговаривают люди, это верно… На «Копчике» одного матроса заговорил унтерцер… Слово такое знал… И у нас есть такой человек…

— Кто?

— А плотник Захарыч… Только он в секрете

держит. Не всякого уважит. А ты нешто хочешь бросить пьянство, Лучкин? — насмешливо промолвил Леонтьев.

— Бросить не бросить, а чтобы, значит, без пропою вещей…

— Попробуй пить с рассудком…

— Пробовал. Ничего не выходит, братец ты мой. Как дорвусь до винища — и пропал. Такая моя линия!

— Рассудку в тебе нет настоящего, а не линия, — внушительно заметил Леонтьев. — Каждый человек должен себя понимать… А ты все-таки поговори с Захарычем. Может, и не откажет… Только вряд ли тебя заговорит! — прибавил насмешливо Леонтьев.

— То-то и я так полагаю! Не заговорит! — вымолвил Лучкин и сам почему-то усмехнулся, точно довольный, что его не заговорить.

VIII

Прошло три недели, и хотя «Забияка» был недалеко от Каптоуна, но попасть в него не мог. Свежий противный ветер, дувший, как говорят моряки, прямо «в лоб» и по временам доходивший до степени шторма, не позволял клиперу приблизиться к берегу; при этом ветер и волне-

ние были так сильны, что нечего было и думать пробовать идти под парами. Даром потратили бы уголь.

И в ожидании перемены погоды «Забияка» с зарифленными марселями держался недалеко от берегов, стремительно покачиваясь на океане.

Так прошло дней шесть-семь.

Наконец ветер стих. На «Забияке» развели пары, и скоро, попыхивая дымком из своей белой трубы, клипер направился к Каптоуну.

Нечего и говорить, как рады были этому моряки.

Но был один человек на клипере, который не только не радовался, а, напротив, по мере приближения «Забияки» к порту, становился задумчивее и угрюмее.

Это был Лучкин, ожидавший разлуки с Максимкой.

За этот месяц, в который Лучкин, против ожидания матросов, не переставал пестовать Максимку, он привязался к Максимке, да и маленький негр в свою очередь привязался к матросу. Они отлично понимали друг друга, так как и Лучкин проявил блистательные педагогические способности, и Максимка обнаружил достаточную понятливость и мог объясняться кое-как по-русски. Чем

более они узнавали один другого, тем более дружили. Уж у Максимки были две смены платья, башмаки, шапка и матросский нож на ремешке. Он оказался смышленым и веселым мальчиком и давно уже сделался фаворитом всей команды. Даже и боцман Егорыч, вообще не терпевший никаких пассажиров на судне, как людей, ничего не делающих, относился весьма милостиво к Максимке, так как Максимка всегда во время работ тянул вместе с другими снасти и вообще старался чем-нибудь да помочь другим и, так сказать, не даром есть матросский паек. И по вантам взбегал, как обезьяна, и во время шторма не обнаруживал ни малейшей трусости, — одним словом, был во всех статьях «морской мальчонка».

Необыкновенно добродушный и ласковый, он нередко забавлял матросов своими танцами на баке и родными песнями, которые распевал звонким голосом. Все его за это баловали, а мичманский вестовой Артюшка нередко нашивал ему остатки пирожного с кают-компанейского стола.

Нечего и прибавлять, что Максимка был предан Лучкину, как собачонка, всегда был при нем и, что называется, смотрел ему в глаза. И на марс к нему лазил, когда Лучкин бывал там во время

вахты, и на носу с ним сидел на часах, и усердно старался выговаривать русские слова…

Уже обрывистые берега были хорошо видны… «Забияка» шел полным ходом. К обеду должны были стать на якорь в Каптоуне.

Невеселый был Лучкин в это славное солнечное утро и с каким-то особенным ожесточением чистил пушку. Около него стоял Максимка и тоже подсоблял ему.

— Скоро прощай, брат Максимка! — заговорил, наконец, Лучкин.

— Зачем прощай? — удивился Максимка.

— Оставят тебя на Надежном мысу… Куда тебя девать?

Мальчик, не думавший о своей будущей судьбе и не совсем понимавший, что ему говорит Лучкин, тем не менее догадался по угрюмому выражению лица матроса, что сообщение его не из радостных, и подвижное лицо его, быстро отражавшее впечатления, внезапно омрачилось, и он сказал:

— Мой не понимай Лючика.

— Айда, брат, с клипера… На берегу оставят… Я уйду дальше, а Максимка здесь.

И Лучкин пантомимами старался пояснить, в чем дело.

По-видимому, маленький негр понял. Он ухватился за руку Лучкина и молящим голоском проговорил:

— Мой нет берег… Мой здесь Максимка, Лючика, Лючика, Максимка. Мой люсска матлос… Да, да, да…

И тогда внезапная мысль озарила матроса. И он спросил:

— Хочешь, Максимка, русска матрос?

— Да, да, — повторял Максимка и изо всех сил кивал головой.

— То-то бы отлично! И как это мне раньше невдомек… Надо поговорить с ребятами и просить Егорыча… Он доложит старшему офицеру…

Через несколько минут Лучкин на баке говорил собравшимся матросам:

— Братцы! Максимка желает остаться с нами. Будем просить, чтобы дозволили ему остаться… Пусть плавает на «Забияке»! Как вы об этом полагаете, братцы?

Все матросы выразили живейшее одобрение этому предложению.

Вслед за тем Лучкин пошел к боцману, и просил его доложить о просьбе команды старшему офицеру, и прибавил:

— Уж ты, Егорыч, уважь, не откажи… И попроси

старшего офицера… Максимка сам, мол, желает… А то куда же бросить бесприютного сироту на Надежном мысу. И вовсе он пропасть там может, Егорыч… Жаль мальчонку… Хороший он ведь, исправный мальчонка.

— Что ж, я доложу… Максимка мальчишка аккуратный. Только как капитан… Согласится ли арапского звания негру оставить на российском корабле… Как бы не было в этом загвоздки…

— Никакой не будет заговоздки, Егорыч. Мы Максимку из арапского звания выведем.

— Как так?

— Окрестим в русскую веру, Егорыч, и будет он, значит, русского звания арап.

Эта мысль понравилась Егорычу, и он обещал немедленно доложить старшему офицеру.

Старший офицер выслушал доклад боцмана и заметил:

— Это, видно, Лучкин хлопочет.

— Вся команда тоже просит за арапчонка, ваше благородие… А то куда его бросить? Жалеют… А он бы у нас заместо юнги был, ваше благородие! Арапчонок исправный, осмелюсь доложить. И ежели его окрестить, вовсе душу, значит, можно спасти…

Старший офицер обещал доложить капитану.

К подъему флага вышел наверх капитан. Когда старший офицер передал ему просьбу команды, капитан сперва было отвечал отказом. Но, вспомнив, вероятно, своих детей, тотчас же переменил решение и сказал:

— Что ж, пусть останется. Сделаем его юнгой… А вернется в Кронштадт с нами… что-нибудь для него сделаем… В самом деле, за что его бросать, тем более что он сам этого не хочет!.. Да пусть Лучкин останется при нем дядькой… Пьяница отчаянный этот Лучкин, а подите… эта привязанность к мальчику… Мне доктор говорил, как он одел негра.

Когда на баке было получено разрешение оставить Максимку, все матросы чрезвычайно обрадовались. Но больше всех, конечно, радовались Лучкин и Максимка.

В час дня клипер бросил якорь на Каптоунском рейде, и на другой день первая вахта была отпущена на берег. Собрался ехать и Лучкин с Максимкой.

— А ты смотри, Лучкин, не пропей Максимкито! — смеясь, заметил Егорыч.

Это замечание, видимо, очень кольнуло Лучкина, и он ответил:

— Может, из-за Максимки я и вовсе тверезый

вернусь!

Хотя Лучкин и вернулся с берега мертвецки пьяным, но, к общему удивлению, в полном одеянии. Как потом оказалось, случилось это благодаря Максимке, так как он, заметив, что его друг чересчур пьет, немедленно побежал в соседний кабак за русскими матросами, и они унесли Лучкина на пристань и положили в шлюпку, где около него безотлучно находился Максимка.

Лучкин едва вязал языком и все повторял:

— Где Максимка? Подайте мне Максимку… Я его, братцы, не пропил, Максимку… Он мне первый друг… Где Максимка?

И когда Максимка подошел к Лучкину, тот тотчас же успокоился и скоро заснул.

Через неделю «Забияка» ушел с мыса Доброй Надежды, и вскоре после выхода Максимка был не без торжественности окрещен и вторично назван Максимкой. Фамилию ему дали по имени клипера — Забиякин.

Через три года Максимка вернулся на «Забияке» в Кронштадт четырнадцатилетним подростком, умевшим отлично читать и писать по-русски благодаря мичману Петеньке, который занимался с ним.

Капитан позаботился о нем и определил его в школу фельдшерских учеников, а вышедший в отставку Лучкин остался в Кронштадте, чтобы быть около своего любимца, которому он отдал всю привязанность своего сердца и ради которого уже теперь не пропивал вещей, а пил «с рассудком».

1896

В бурю

Александр Серафимович
Рассказ

I

— Ай-яй… ай-яй-яй!.. — разносились над гладкой сверкающей поверхностью моря пронзительные крики Андрейки, извивавшегося в лодке. — Де-едко… не буду!..

Дед — коренастый, с нависшими, лохматыми, с проседью бровями и изрезанным морщинами лицом, словно выдубленным солнцем, ветром и соленой водой, — одной рукой держал мальчика за шиворот, другой больно стегал просмоленной веревкой, которая так и впивалась в тело, и потом швырнул его на дно лодки. Андрейка поднялся, всхлипывая, свесился через борт и стал перебирать показавшиеся из воды мокрые сети.

Кругом ослепительно сверкала вода, по которой едва приметно шли стекловидные морщины. Горячее, заставлявшее щуриться солнце стояло высоко. Черные, начинавшие течь смолой бока лодки, протянутые к мачте, перекрещива-

ющиеся веревки, с которых также капала смола, обвисшие, черные от грязи и смолы паруса резко, отчетливо вырисовывались своей чернотой в неподвижно знойном воздухе.

Берегов не было видно.

Андрейка, с сердитым, сморщившимся в кулачок лицом, продолжал перебирать сеть, осторожно и крепко захватывая каждую бившуюся в ней рыбу.

Еще в два часа ночи, когда только чуть-чуть стали бледнеть звезды, Андрейка отчалил с дедом от берега. Легкий предутренний ветерок тихонько подвигал лодку. Когда рассвело и по воде и по небу побежали розовые полосы, а спокойное, гладкое море открылось до самых краев, ветер упал. Пришлось взяться за весла. Андрейка греб попеременно с дедом. Сначала работа у него шла легко и свободно, но прошел час, другой, и он стал уставать. Каждый раз, как он откидывался назад и весла с плеском проходили в прозрачной, игравшей розовым отблеском воде, ему казалось, что он уже больше не в состоянии разогнуться, до того ныла поясница и ломило руки; но он снова и снова закидывал весла, и лодка ползла, как черепаха. Наконец дед, все время молча сидевший на корме, проговорил:

— Будя, Андрейка!

Обрадованный Андрейка торопливо пробрался по качавшейся лодке на корму, а дед сел за весла и стал молча и упорно грести. Андрейка правил рулем, глядел на разбегавшиеся из-под весел длинные водяные жгуты, на мерно и сильно откидывавшуюся фигуру деда и отирал свое мокрое, вспотевшее лицо, с наслаждением предаваясь отдыху.

Из-за моря поднялось солнце и залило светом спокойную, ровную воду. Начинался знойный день без малейшего ветерка.

Скоро показались на поверхности моря большие плававшие круглые обрубки с укрепленными на них маленькими флажками, — это были поплавки сетей. Подъехали к одному из таких поплавков, за веревку, привязанную к нему, вытащили один конец сети и, навалившись на борт, стали подвигать лодку, перебирая руками показывавшуюся над водой сеть, которая тянулась в воде на несколько сот саженей. Андрейке, совсем перевесившемуся через борт, весело было смотреть в прозрачную глубину, где от времени до времени вдруг начинало что-то белеть, колебля и водя из стороны в сторону все выше и выше подымавшуюся сеть, и наконец

на поверхности, трепеща и разбрызгивая воду, показалась бившаяся, запутавшаяся жабрами в ячейке рыба. Андрейка подхватывал ее, запуская пальцы в нежные розовые жабры, высвобождал из сети и бросал на дно лодки, где было налито немного воды. Рыба, обезумевшая от боли, страха и отчаяния, начинала биться, разбрызгивая воду, не понимая, что это с ней произошло, и пытаясь вырваться из этой тесной, ужасной обстановки, где она задыхалась, вздымая окровавленные, разорванные жабры.

Солнце подымалось все выше и выше, и зной, неподвижный, слепящий, стоял над морем, в истоме раскинувшимся под горячим небом. Андрейка, разморенный жаром, от скуки и однообразия разговаривал с рыбами, которых он вытаскивал из сети:

— Ах ты, селедка-длиннохвостка, погоди, ужо просолеешь хорошенько, не будешь брыкаться! Ишь ты, брыкучая, ступай-ка в лодку! А ты, сазан-брюхан, пузо-то наел. Вылазь, вылазь, неча кобениться, отъелся, не пролезешь никак, хитрый идол! Выла-азь… — И Андрейка вытащил и с трудом поднял вверх обеими руками большую рыбу.

— Гли, деду, пузо-то како!

Но не успел дед раскрыть рта, как сазан, очутившийся на воздухе и замерший от изумления, вдруг рванулся изо всех сил, выскользнул, плюхнулся в воду, блеснул хвостом — и был таков.

Тогда-то над морем и раздались отчаянные вопли Андрейки, потому что дед, молча, не говоря ни слова, поднялся, взял просмоленную веревку, сложил ее несколько раз и жестоко наказал мальчика.

II

У Андрейки нет ни отца, ни матери. Сколько он помнит себя, он живет в белой хатке, под большой вербой, с дедом Агафоном. Возле хаты с одной стороны белеет береговой песок и синеет море, с другой, насколько глаз хватает, тянется безлесная, голая, сожженная, покрытая высохшим бурьяном да полынью степь, размытая оврагами и балками.

Лет двенадцать тому назад дед Агафон жил в этой хате с семьей, с женой и пятью детьми. Случилась эпидемия дифтерита, и дети Агафона перемерли в одну неделю.

Раз как-то зимою Агафон с женой сидел вдвоем в хате. Ночная вьюга мела в черные окна. Агафон угрюмо думал о чем-то, починяя сети,

жена возилась у печки. Снаружи кто-то постучал. Агафон отпер дверь, и на пороге появилась женщина, в рубище, занесенная снегом, дрожащая, с мертвенно-бледным, стянутым от холода лицом; на руках у нее в лохмотьях лежал крохотный ребенок, весь посинелый и уже не плакавший. Заикаясь, не выговаривая стянувшимися губами, женщина стала просить пустить ее переночевать. Ее приютили, накормили. Отогревшийся ребенок наполнил хату детским плачем, и жена Агафона, стоя над ним, то и дело вытирала слезы фартуком, вспоминая своих детей.

Женщина рассказала, что идет из Орловской губернии на Кубань разыскивать мужа, который уехал туда с полгода и ничего не пишет. Она все проела, что было, и наконец решила отправиться на розыски. Дорогой пришлось питаться подаянием, по железной дороге удавалось на некоторых станциях упросить кондукторов, и они провозили ее несколько станций бесплатно, а по проселочным дорогам подвозили добрые люди. Так добралась она до Ейска. Из него она вышла рано утром, заблудилась в степи, настала ночь, поднялась вьюга; женщина уже приготовилась к смерти, как среди ночи увидела огонек одинокой хаты.

Ночью пришедшая расхворалась, бредила, металась, вскрикивала. Жена Агафона три раза взбрызнула и напоила ее святой водой, но той делалось хуже и хуже, и к вечеру следующего дня она умерла. Агафон и его жена оставили ребенка у себя приемышем.

Андрейка смутно помнит ласковую старую женщину, приемную мать, которая купала, поила, кормила его и укачивала посреди хаты на подвешенной к потолку люльке. Он помнит также, что, когда ему сравнялось четыре года, пришли какие-то люди, сняли ее с лавки, где она спала, положили на стол под образа, зажгли свечи, а потом унесли куда-то, и он остался вдвоем с дедом Агафоном. Помнит он, что дед каждый раз, как отправлялся на море, отводил его в поселок, который лежал в овраге, в степи, верстах в трех от берега, и оставлял у своей кумы, бабки Спиридонихи. С шести лет дед стал брать мальчика с собой на море, и Андрейка часто спал на носу лодки, на подостланной дедом соломе, а над ним носились чайки, светило солнце и летели брызги волн.

Семи лет Андрейка уже во всем помогал деду. Вставали они рано — часа в три утра: Андрейка торопливо плескал себе в лицо холодной водой,

вытирался подолом рубахи, торопливо крестился на ту часть неба, где горела утренняя звезда, и, перевирая, читал «Отче наш» и «Свят, свят» — две молитвы, которые он только и знал. Потом Андрейка притаскивал кизяку, растапливал печь, чистил картошку, рыбу, варил уху. Позавтракав, они уходили в море.

И на море и дома дед заставлял Андрейку делать все наравне с собою: править парусами, грести, чинить, собирать, тянуть, спускать сети, обирать рыбу с крючьев и прочее. И Андрейка все делал, надрываясь от непосильной работы. За малейший промах, недосмотр, ошибку дед жестоко наказывал Андрейку. Стоило мальчику на море неверно положить руля или не вовремя подобрать или отдать парус, как дед подымался и тут же, не говоря ни слова, беспощадно сек мальчика просмоленной веревкой, от которой никогда не заживали рубцы. У Андрейки было худенькое загорелое личико, и сам он весь был маленький и худенький.

Жизнь у него проходила однообразно: кругом было только море, небо, степь да берег. Берег был голый, обнаженный, с глинистыми размытыми устьями оврагов, с песчаными косами и отмелями. Но все это однообразное пустынное

пространство для Андрейки было населено и оживлено.

По степи, посвистывая, бегали или, как столбики, стояли у своих нор суслики; в воздухе, мелькая по иссохшей траве тенью, медлительно плавали коршуны, ястреба, луни, трепетали, неподвижно повиснув, кобчики; по курганам угрюмо и одиноко чернели степные орлы. Над песчаным берегом носились крикливые белые чайки, подбирая выброшенную из сетей рыбу, иногда чуть не выхватывая ее из рук рыбаков; весною и осенью тут стоял несмолкаемый гам и шум от бесчисленной пролетной птицы.

Но более всего и разнообразнее всего было населено море. Тут стадами ходили стерляди, осетры, сельди, тарань, сазаны, красноперка, вьюны; в песке кишели мириады водяных вшей, ползали крабы. В конце июля море начинало «цвести» и по ночам светиться. Светились голубоватым светом гребешки волн, следы от лодки, разбегающиеся круги от удара весел, линия прибоя у берега, брызги, каждая капля морской воды, выведенная из состояния покоя. Этот странный колеблющийся, то вспыхивающий, то угасающий голубоватый свет казался Андрейке таинственно связанным со всеми покойниками и утопленни-

ками, которые нашли могилу в море.

Дед Агафон был молчалив и угрюм, но, когда речь заходила об обитателях моря, морщины у него разглаживались, серые глаза добродушно смотрели из-под нависших бровей, и он готов был рассказывать по целым суткам.

— Дедко, откуда рыбы столько берется? Ловят, ловят, ловят, а она все идет. Сколько народу рыбалит, на море негде весло опустить, — все сети.

— Бог плодит, Бог ее плодит, разве у Бога мало места, — сколько он воды сотворил, чтобы, значит, рыба водилась — для пропитания людей.

— А рыба знает, что ее ловят?

— Ну, а то не знает, что ль... Рыба, к примеру, вот как мы с тобой рассказываем, как встрелась друг с дружкой, сейчас так и так, мол, все и обскажет насчет рыбалков: где сети поставлены, где крючья; ну, только, конечно, по-своему разговаривает, — человеку не дадено знать... Только одни, которые утопленники в море на дне лежат, понимают, как рыба разговаривает, потому рыба их не остерегается, знает, что они уж не выдадут, плавает возле и друг с дружкой рассказывает.

Андрейка несколько минут молча смотрит на деда расширенными глазами. Ему представляется темная, синяя глубина, смутно желтеющее

морское дно и на нем раздувшийся, посинелый, с открытыми в воде глазами мертвец, возле плавают рыбы и, колебля жабрами и глотая соленую воду, рассказывают друг другу, что, где и как происходит. Рассказывают они и про него, про Андрейку, что он с дедом Агафоном сидит в лодке там, наверху, и опускает в воду сети.

Андрейке становится немного жутко. Когда прежде он сидел в лодке, внешний мир замыкался для него водной поверхностью моря, и о том, что было там, в глубине, он не думал. Там была просто вода, и *оттуда* сети вытаскивали рыбу. Теперь же эта огромная пугающая глубина оказывалась вся заселенной не теми молчаливо-беспомощно бившимися в лодке рыбами, которых он выбирал из поднимавшихся из воды сетей, а разумными существами, которые так же разговаривали и ограждали себя от бед и несчастий, как и люди здесь, наверху. Сверху над водой светило солнце, проходили облака, играл ветер, а в глубине шла таинственная и неведомая жизнь, враждебная Андрейке и деду Агафону, и от этого становилось жутко.

— Господь все премудро сотворил, — продолжает дед Агафон. — Скажем, сазан — рыба бессловесная, и все. А вот ежели станут волокуши

тянуть к берегу, всю рыбу, какую захватят, всю на берег выволокут, — а вот сазана захватят, так он весь почти назад в море уйдет. Как почует, что кругом сети, перво-наперво разбежится и, что есть духу, рылом в сеть вдарится, аж веревки затрясутся; ежели волокуша старая — прорвет, сам уйдет и всю рыбу за собой уведет; ежели видит, что не прорвать — зачнет сигать из воды, чтобы пересигнуть через сеть. Сеть к берегу высоко подымают над водой, — тогда видит — плохо дело, вот сейчас выволокут, он воткнет нос в ил и песок против волокуши и, что есть силы, держится; волокуша снизу хоть и чижолая, — камни понизу понавязаны, все-таки по его гладкой спине так и переедет, иной раз всю спину ему стешет, ну, а он плеснет хвостом — и был таков.

— Он, значит, сазан-то, умный?

— Как же! Господь видит, люди неисчислимо истребляют рыбу, сколько ее ловят, страсть! Видит, что скоро вся рыба пропадет, он и дал разумение. Человек хитрый, ну, рыба еще хитрей.

Дед воодушевляется и, подняв еще выше брови, говорит:

— Ходит рыба в море, все закоулочки выходит, — пропитания ищет. Но тут ей какая пастьба? Так, где червяка ухватит али своим братом заку-

сит; а в реках ей всякой еды сколько душе угодно: там и ил речной. В реку всякую падаль и нечисть валят. Глисты разные водятся. Из лесу подмывает корни, ветки, — одно слово, всякое произрастание. Вот рыба в прежние времена и ходила в реки, особливо в Дон, кормиться, и шла она, прямо сказать, тучей. Когда размножение народу пошло, стали реки перегораживать сетями. И тут ее вылавливали тьмы. И пошел промеж рыбы в море разговор, что, дескать, так и так, нельзя в реки ходить — вылавливают. Распространился по всему морю разговор, и перестала рыба ходить в Дон на пастьбу. Вышел закон-повеление, чтобы по всея Расеи во всех реках раз в неделю никто не ловил рыбы, чтоб передышку ей дать: с шести часов вечера субботы до шести часов утра понедельника никто не имеет никакого полного права рыбу ловить. И что же! Всея неделю в Дону ни одной морской рыбины нету — знает, ловют ее там пять дней. А в субботу вечером гужом гудит из моря в Дон, а в ночь на понедельник ворочается, но не успевает вся, — которая запаздывает и идет в понедельник цельный день к морю. Рыбаки, которые в устье ловят, знают, что за всю неделю в реке и одной рыбины морской не увидишь, зато в понедельник все, сколько их

есть, все выезжают, и тут ее, рыбы этой, страсть набивается в сети, — это которая запоздалая. Вот оно как… Человек с хитростью, а рыба вдвое…

Но обыкновенно дед свои рассказы заканчивал так:

— Только, ежели уж правду говорить, пропадает рыба, год от году пропадает… Потому сила, сила этих рыбаков развелось — куда глазами достанешь, все сети…

И лохматые брови деда опять низко спускаются, и он снова становится угрюмым, сосредоточенным и необщительным.

Дед и Андрейка работали не покладая рук, не зная ни праздников, ни правильного отдыха, и все, что зарабатывали, дед пропивал.

Как только ворочались они с уловом, дед сбывал рыбу перекупщикам, строго-настрого приказывал Андрейке сидеть дома, чинить сети, конопатить или смолить лодку, стачивать и навязывать крючья, зашивать паруса, а сам уходил в большое торговое село и гулял там, до тех пор, пока не пропивал все до последней копейки и с себя все до последней нитки.

Андрейка, как только дед скрывался за бугром, бросал сети, крючья, недошитые паруса и убегал в поселок, лежавший в степи, верстах в трех от

берега, лазал по огородам, таскал огурцы, ловил воробьев, дрался с хуторскими мальчишками на кулачках и постоянно навещал бабку Спиридониху. Она кормила его пирогами с морковью, маковниками, рассказывала про леших, ведьм, водяных, сказки про заморские страны, про города, которые лежали по той стороне моря.

— Дома там большущие да высокие, — говорит бабушка, гладя шершавой от работы рукой голову Андрейки, который примостился возле ее ног, уминает пирог с морковью и не спускает с нее глаз, — а живут в них все господа бо-огатые, одеваются чисто и цельный год ничего не делают.

— И рыбу не ловят?

— Куды — рыбу! Хату подместь и то гнушаются.

— Я, баунька, с дедом на той стороне у Таганроге был: дома высо-окие, а на церквах кресты все из золота, а на пристани бабы господские прогуливаются, голова вся в перьях… Баунька, а я на аглицком пароходе видал, господа ехали, в трубки на нас с дедом смотрели.

Андрейка некоторое время ест молча.

— Баунька, откуда вши водяные берутся? Вот идешь по берегу, продавишь ногой песок, они так из песку и полезут.

— Из воды, соколик, из воды эта нечисть. На, возьми пирожка еще, кушай на здоровье, сиротинка.

— Баунька, дед сказывает, матка моя замерзла возле нашей хаты.

— Померла, соколик, померла, болезный, замлела от морозу: стыть какая была да метель, шутка ли, — зги не видать было. Царство небесное покойной Акулине Митревне, вечный покой ее душеньке, — призрела тебя, малую сиротку, и деду Агафону доброе здоровье на многие годы…

— Дерется дед, баунька, уж так-то больно бьет. Я, баунька, ежели будет бить, так убегу от него.

— Тебе же на пользу, дурачок, — побьет да пожалеет, тебе же в пользу, учит добру, а ты слухайся да не перечь.

Бабка Спиридониха была единственный человек, у которого Андрейка чувствовал себя тепло.

Ворочался всегда дед оборванный, угрюмый и злой, находил брошенные сети и паруса, и начиналась жестокая экзекуция, от которой Андрейка с неделю еле ворочался.

III

Солнце невыносимо печет. Зной, разлитый в переполненном блеском воздухе, неподвижно

стоит над морем, в котором на недосягаемой глубине синеет опрокинутое небо. Черная лодка со стекающей смолой и обвисшими парусами кажется висящей в пространстве, а под нею вниз мачтами висит точно такая же опрокинутая лодка.

Андрейка, не разгибаясь, вместе с дедом выбирает из тянущейся вдоль лодки сети добычу, которой набилось туда множество. Лицо у него пылает, рот полураскрыт, крупные капли пота падают в воду. В значительно осевшей лодке возвышается целая гора зевающей шевелящейся рыбы.

После экзекуции у Андрейки, чувствовавшего, как горят и ноют рубцы на спине, в голове толпились самые мрачные мысли. Сначала он все свое раздражение направил на сазана, который так коварно подвел его.

«Хорошо, — со злобой думал он, — брюхатый черт, попадешься еще, небось не вывернешься: запущу по кулаку в жабры, поверти-кось тогда. Ну и потешусь же!..»

Но так как коварный сазан благоразумно решил не попадаться в руки Андрейки, то мысли его принимали другое направление.

«Что я *ему* сын, что ли, али крепостной, что

он лупит меня чем ни попади? Ишь огрел, ажно рубаху просек, возьму да убегу… Ей-богу!.. Пойду в город, наймусь в работники али на берегу в артель стану, тоню тянуть, нехай-ка он без меня повертится. Да даром-то я не уйду: проверну дирю в лодке да заткну маленечко тряпкой, а сам в степь, ляжу на кургане и буду смотреть. Вот отъедет он, вода и вымоет тряпку, и станет он потопать. Станет потопать и закричит: «Андрейка, потопаю!..» А я ему закричу: «Ага!.. а помнишь, как ты меня лупил, ажно рубаху наскрозь просек…»

Жара, усталость мало-помалу смиряют Андрейку, и негодование у него на деда улегается. А дед, и не подозревая Андрейкиных каверз, преспокойно посасывая трубку, выбирает рыбу на корме. Он работает по всем правилам, сосредоточенно. Старик не любит разговоров. Он доволен сегодняшним уловом, и его нависшие, лохматые брови приподнялись несколько. К вечеру он надеялся осмотреть все сети и ночью вернуться домой.

Вдруг Андрейка услышал голос.

— Андрейка, спускай сеть да ставь парус!

Андрейка уставился на старика: что с ним сделалось? Осталось еще половину сетей досмот-

реть, — видно, прошел косяк и рыбы набилось множество, да никогда они раньше ночи и не возвращались домой… Но старик не любил повторять приказаний, и Андрейка, торопливо опустив в воду сеть с бившейся в ней рыбой, быстро стал расправлять и готовить запутавшиеся шкоты и парус.

— Подверни снизу парус да спусти до половины!

Андрейка торопливо выполнил приказание, не смея расспрашивать деда. Парус обыкновенно подворачивали снизу и приспускали только во время сильной бури, чтоб уменьшить площадь парусности, когда ветер чересчур уже рвал. Между тем кругом стоял все тот же неподвижный зной, — нечем было дышать, и все так же на недосягаемой высоте и в бездонной глубине, друг против друга, синели тонкой синевой два небесных свода, и вода между ними пропадала из глаз.

— Садись на весла!

Андрейка беспрекословно взялся за весла и стал грести, обливаясь потом.

Вверху, не особенно высоко, над морем неслось белое, ослепительно блестящее облачко с разорванными краями, точно это уносило ото-

рвавшийся где-то кусочек ваты. И это быстро несущееся облачко резко нарушало впечатление знойной неподвижности и покоя, царивших на море. А дед все поглядывал то на облачко, то на горизонт, в синеве которого терялись и вода, и небо: оттуда, теснясь, густо лезли круглые барашки. Они торопливо выбирались с особенной и необъяснимой при полном затишье поспешностью.

Андрейка, измученный, задыхающийся от тяжелого зноя и напряжения, стал испытывать глухое беспокойство. По небу, за минуту до того безмятежно чистому, бежали одно за другим облака, блестящие с одной и зловеще затененные с другой стороны. Дед, все подгонявший Андрейку, сам сел на весла, и тяжело нагруженная лодка пошла скорее по тому направлению, где должен был открыться берег.

В той стороне, откуда выбирались облака, по спокойному морю вдруг побежала потемневшая узкая полоса бесчисленных морщинок, все удлиняясь и быстро нагоняя лодку. В ту же минуту забежал ветер, шевельнул парус, вздул на спине Андрейки рубаху и понесся дальше вместе с мелкой рябью, темнившей светлое лицо моря.

Опять тишина, неподвижный зной, зеркальный блеск моря и бессильно повисший парус.

Дед, угрюмый и насупленный, поднялся, аккуратно сложил весла, достал из-под сиденья кафтан, надел, подпоясался потуже, уселся на корме, пропустил шкот в кольцо возле себя и взялся за руль.

Море все покрылось темными пятнами ряби, перемежающимися со светлой поверхностью, по которой с неуловимой быстротой бежали тени облаков… И вдруг оно почернело на необозримом пространстве, от края до края.

Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил парус, и лодка, подымая перед собой водяной бугор, с шумом понеслась, едва не поспевая за скользившими тенями облаков. Позади полосой пены потянулся длинный след.

Ветер, превращавшийся почти в ураган, не мог сразу раскачать за минуту до того спокойное море, и, несмотря на все усилия, оно только все больше и больше чернело. Но дед знал коварство этих внезапных летних бурь. Они разыгрывались где-нибудь далеко и потом, налетая оттуда, пригоняли с собой уже поднятые, готовые, расходившиеся волны, которые начинали бить и неистовствовать на совершенно тихой и спокойной до того поверхности. Поэтому он, с риском опрокинуть лодку, полностью отдавал парус

ветру, и они неслись с безумной быстротой, от которой рябило в глазах, и пенящаяся вода проносилась назад, как мимо железнодорожного поезда. Открывшийся впереди тонкой чертой берег выступал все яснее, яснее.

Волны действительно пришли. Они шли, как грозная рать, с белыми колеблющимися головами, зелеными рядами вздымающейся воды, и кругом настал ад.

Лодка зарывалась носом. Волны — огромные, с острыми, подавшимися вперед гребнями и срывавшейся по ветру пеной — шли на нее с шипением, с шумом, без перерыва, без отдыха. Кипящие зеленоватые гребки то и дело обрушивались через борт. Шкоты натянулись, как нитки, а парус, оттягивая мачту, дрожал от страшного напряжения, купаясь в обдававших его брызгах. До самого неба, по которому торопливо и низко бежали серые всклокоченные, как грязная вата, тучи, стоял все заполняющий шум, из-за которого нельзя было различить ни скрипа подававшейся во всех пазах лодки, ни звука человеческого голоса.

Андрейка, уцепившийся за мачту, видел, как у деда шевелились губы, но голоса его не слышал. Прижимаясь к дрожащей мачте, Андрейка гля-

дел на бунтовавшие, с кипящими верхушками волны, которые без числа и без конца шли на их одинокую, заброшенную лодку. Она то совсем ложилась на бок, моча бившийся краем в воде парус, то выпрямлялась и взлетала на самый гребень. И тогда Андрейке в нескольких верстах открывался белый от прибоя берег, старая верба и белевшая на берегу хатка.

Андрейка не чувствовал особенного страха, он привык к бурям, и только внутреннее напряжение наполняло все его существо. Он так привык подчиняться и слепо верить на море деду, что не думал об опасности, хотя хлеставшие через борт волны все больше заполняли лодку, и она все тяжелее взбиралась наверх. Андрейка стал черпать и выливать за борт черпаком воду, но это мало помогало.

Старик сидел на корме, едва видимый в облаке водяной пыли и проносимой ветром пены, правя рулем, отдавая парус каждый раз, как налетавший шторм клал лодку набок. Суровое, изрезанное морщинами, мокрое от брызг лицо старика было хмуро, сосредоточенно. Он сделал знак, а Андрейка, бросаемый из стороны в сторону качкой, на четвереньках, болтаясь в воде, перебираясь через кучи рыбы, полез на корму.

Когда он добрался до кормы, старик нагнулся к его уху и крикнул:

— Кидай рыбу за борт!

Андрейка расширенными глазами глядел на старика, но старик ткнул его кулаком. Мальчик дрожащими руками стал выбрасывать еще живую, трепетавшую рыбу вон из лодки. Только теперь он понял всю грозившую им опасность, и детское отчаяние охватило его. Держась одной рукой за перекладину, он другой торопливо выбрасывал рыбу и горько плакал и причитал сквозь слезы:

— Ы-ы-ы… миленькие, потопаем!.. ы-ы-ы… потопаем… подайте помощи, пото-опаем!..

Но ветер сердито уносил его жалобу, и волны, разбиваясь о борт лодки, высоко вздымались белым столбом брызг.

Андрейка повыбрасывал всю рыбу… Лодка пошла легче… Берег все приближался… Уже можно было различить размытые глинистые обрывы, желтевший прибрежный песок и черневшие на берегу остовы старых лодок… Андрейка, продолжая вычерпывать воду, стал молиться. Он молился тому старику с седой бородой, что был изображен на потемневшей иконе в углу церкви, перед которой дед всегда ставил свечи. И

Андрейка все ждал, что вот-вот их лодка станет легче и волны перестанут плескать через борт пенистые верхушки. Но по-прежнему с шумом шли водяные горы, летела пена и низко неслись грязные тучи.

Шумя в оснастке и срывая гребни волн, набежал порыв бури, погнул парус, лодка бессильно легла набок, и в нее всем бортом хлынула огромная волна.

Андрейка, с ног до головы окаченный волной, схватился обеими руками за мачту, захлебываясь от ворвавшейся в рот соленой воды. Старик, с проступившей по загорелому, обветренному лицу землистой бледностью и с прыгавшей нижней челюстью, судорожно навалился грудью на поднявшийся борт. Лодка выпрямилась, но в ней до половины оказалось воды, и она с трудом теперь выбиралась на гребни набегавших волн, которые яростнее и чаще стали ее захлестывать. Андрейка каждую минуту ждал, что они пойдут ко дну. Неодолимый страх охватил его. Он на четвереньках, весь в воде, полез к деду.

— Де-еду, боюсь!..

Дед, все с таким же мокрым бледным лицом и прыгавшей челюстью, втащил Андрейку на свое место, сунул ему руль и конец шкота.

— На вербу… на вербу держи!

Старик крикнул это, что было голосу, но Андрейка из-за шума не разобрал его слов. Он только видел, как дед сбросил шапку и сапоги, торопливо перекрестился, вытянул руки, ринулся за борт, и облегченная лодка, с переполненным ветром парусом, пошла быстрее.

Кругом, как снег в степи в буран, белела несшаяся поверх моря пена, навстречу бежал берег, и все предметы на нем быстро увеличивались, выступая все отчетливее: размытые глинистые овраги, черневшие на песке лодки, белая хата и старая верба возле нее.

Андрейка был весь охвачен восторгом от сознания, что он спасен.

Зажав под мышкой руль, накрутив на руку туго тянувшийся шкот, он оглянулся: далеко-далеко, среди волн и пены мелькнула черневшая голова. Она то совсем скрывалась из глаз, то снова показывалась, подымаясь и опускаясь вместе с волнами. У Андрейки с представлением о деде соединялось представление о суровой, ни перед чем не поддающейся силе, и теперь вид этой беспомощно подымавшейся и опускавшейся вместе с волнами головы поразил его. Андрейка закричал пронзительным детским голосом:

— Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!..

Глотая неудержимо катившиеся из глаз слезы и соленые бившие в лицо брызги, он изо всех сил навалился на руль. Лодка дрогнула, накренилась, с разбега круто повернулась, описав круг, и, как бы призадумавшись, стала против ветра. Парус ослабел и стал отчаянно болтаться и полоскать. Андрейка, все так же неудержимо рыдая, положил руль совсем на борт: лодка повернулась еще больше, ветер мгновенно наполнил с другой стороны туго выпятившийся парус, лодка рванулась и, все больше и больше черпая бортами и с каждой секундой оседая, понеслась от берега назад в море, туда, откуда, толпясь, шумя и разбиваясь, грозно шли волны и где беспомощно виднелась, то скрываясь, то опять показываясь, голова…

1903

Морской кот

Александр Серафимович
Рассказ

Синее небо без конца, синее море без конца.

Давно солнце выплыло из дальних вод и ослепительно играет в изменчивом, ласково-живом зеркале.

Давно улеглось волнение, еле шевелится ленивая синь дремотного моря, а чудовищный, иссера-грязный броненосец огромно, тяжко и угрюмо качается на ходу.

Белая пена, торопливо заворачиваясь, рассыпаясь, шипя, бежит перед обшитым броней носом, моет, отставая, окованные бока, и далеко по смирившемуся морю, далеко тянется бурливый, клокочущий, выворачивающийся след от винтов.

А он качается, огромный, угрюмый, темно-грязный, весь из чудовищных плит, брусьев, балок, железа и стали, — качается и режет расступающуюся пену тяжким неудержимым ходом.

Трудно разыгравшемуся морю раскачать его, трудно даже тогда, когда громадой встанут по-

темневшие валы и пена злобы, белея, рушится с их омраченного чела, когда до самого края почернеет море, потемнеет небо и лишь белый траур чьей-то близкой гибели и смерти несется безумной полосой.

Всю ночь безумствует море, и только, когда обманчиво забрезжит утро, начинает постепенно качаться и серый гигант.

Тяжко, медленно уходят в крутящуюся водяную мглу омываемые бока, и уже обдают брызги смутно покачнувшиеся башни.

И, задержавшись в тяжелом раздумье, так же мерно, так же тяжко, так же медлительно начинают выбираться из воды отвесные металлически-гладкие стенки бортов его. Уже давно далеко вверх ушла палуба, а они все так же медлительно выбираются из водной пучины, все так же уходят вверх, — кажется, и конца не будет, и далеко внизу бессильно разбиваются шипящие валы.

Уляжется обессиленное, измучившееся море. Шелковистой, чуть приметной прозрачной рябью ляжет оно, голубое, до голубого неба, под горячим солнцем, и с униженной ласковостью, подобострастно зеленоватыми языками лижет грязно-серые бока, а он так же угрюмо, хмуро, не

умеряя тяжелого хода, качается и много часов клюет необъятной железной тяжестью.

И не обращая внимания на веселую ласковость сияющего дня, грязнит черными клубами густо крутящегося дыма и светлое лицо моря, и светлое небо — густым дымом, который тяжело вываливается из черных труб и, отставая, на много верст ложится на море расплывающейся пеленой, траурно уходя за предел горизонта.

Вероятно оттого, что весь он из миллиона пудов железа, вся жизнь на этом мрачном колоссе с железной беспощадностью отлилась в раз установленные, нерушимые формы. Люди, — а их девятьсот человек, — сиротливо теряются здесь среди палуб, отделений, люков, пролетов, орудий, среди бесчисленных механизмов, машин.

Солнце, соленый ветер и вода отлили их лица, руки, плечи из темной бронзы, а железо, обнимающее со всех сторон, положило тяжкую печать молчания, и глаза их хмуры и насуплены.

Ловкие, сильные, богатыри, как на подбор, они проворно, быстро и ловко делают свое дело, которое никогда не переделать и которое изо дня в день одно и то же. Мытье палуб, чистка медных вещей, разборка и чистка орудий, учение, примерная наводка, учебная стрельба, обучение

сигнализации, вахтенные часы, а там и звезды высыпали, на палубе выстраиваются в две шеренги:

— Шапки долой!

И несколько сот здоровых голосов стройно и сильно поют:

— От-те на-ш и-же е-си…

Но железо глотает слова, но уже за бортом лишь шипение и плеск разрезаемой волны; и ни одного слова не доходит до холодно мерцающих звезд. Как видение чудовищной силы, продолжает свой путь в ночном сумраке темный силуэт громады, и затерянные в утробе его люди спят крепким морским сном в узко-подвешенных койках.

А наутро опять сначала. Так дни, недели, месяцы, годы, точно по пустынным водам скитается, не находя приюта, неведомо-чудовищный призрак, где все железо, где отношения людские сочетаются железной дисциплиной, где на лицах людей железный налет неотвратимой, неизменяемой жизни, где люди бьются в усилиях, в непокладающем рук труде, неведомо для кого и зачем.

Как броненосец непроницаемыми переборками, так день и ночь жившие вместе на нем люди не знающей пощады дисциплиной, службой и

всем укладом жизни делились на три непроницаемые отделения.

В первом был всего один человек — командир броненосца. Тщательно выбритый, с выхоленным сухим телом, умными, надменными глазами, он самым своим положением был осужден на величественное одиночество богдыхана. Людей, за редкими исключениями, он не видел, все время проводя в роскошно отделанных своих каютах.

Постепенно привык к своему одиночеству. В душе вытравились люди, их лица, их радости, горе, и он только знал, что в придачу к бесчисленному числу механизмов, которыми полон броненосец, принадлежат и девятьсот живых рычагов, нажимая которые, он играет чудовищем как хочет, и все это на его ответственности.

В другом отделении была небольшая кучка офицеров. Здесь слышались смех и шутка; тут были молодые и пожилые; тут говорили и о любви, мечтали, строили планы; когда собирались в кают-компании, слышался звук пианино, мягкий баритон. Тут, хотя и робко, пробивалась из железных объятий жизнь.

В третьем отделении была свыше восьмисотенная масса матросов. Они были, как один, и когда их выстраивали на палубе длинной шеренгой,

нельзя было выделить ни одного: все одинаково широкоплечие, грудастые, бравые, с шапками набекрень, все одинаково обвеянные соленым ветром, все одинаково с темно-бронзовыми лицами. И у всех одинаково одни и те же слова: «так точно», «не могу знать», «слушаю», «есть»…

И хотя род службы у каждого специализировался, казалось, делали они одно и то же и одинаковым образом.

Грицко Підтынный был, как и все, — такой же крепкий, ловкий, сильный, бронзовый, такой же язык у него был: «так точно», «никак нет», и когда стоял в длинной шеренге, каждого можно было принять за него.

Но когда оставался один, видно было, что у него серые глаза, пробивающиеся юношеские усы, и в этих глазах — свои думы, свои радости и горе, свои воспоминания, обвеянные лаской и любовью.

Жил он, как все жили на железной громадине, сдавленный железными объятиями размеренной жизни. На судне был точен и аккуратен; когда съезжал на берег, беспросыпно напивался и ходил с другими к девицам в веселые дома.

Но когда оставался один, особенно в ночные часы на вахте, начиналось что-то совсем другое,

над чем уже не имеют силы ни железный порядок, ни железная дисциплина, ни офицеры, ни сам командир.

Зорко смотрит он, привалившись на баке, на неуловимо бегущее навстречу из синего сумрака смутно волнующееся море. Сзади темнеет ходовой передний мостик, смутнеет вахтенный начальник и два сигнальщика. С боков отсвет зеленого и красного фонарей, и ровное, мерное, не то печальное, не то жесткое в своем равнодушии дыхание машины.

Рідный край! Но ведь когда он был дома, он не чувствовал его, как не чувствовал себя, свое здоровье, пальцы на ноге, пока не разрубил одного топором и долго лечил, а он долго болел.

И не видел он и не знал, и рос, и жил, как трава на поле или верба при воде, — всякий ветер ее колышет и треплет, а она качается и клонит ветки, и ей все равно, растет себе.

Синий сумрак ночи точно булавкой прокололи; как капелька крови, тонко загорелся затерянный красный огонек.

И он крикнул, оборотившись к мостику, крикнул голосом, каким говорил «никак нет», «так точно»:

— Красный огонь слева по носу.

Огонек подержался и пропал, затерялся в пустыне ночного сумрака, и все так же равнодушно дышит внизу машина, так же по обеим сторонам уходит назад, все так же движется темная волнующаяся поверхность, все те же звезды над головой, до которых не доходят ни слова молитвы, ни слова команды и приказаний, ни жесткое, равнодушное дыхание машины.

…Не знал он солнца, и не было ему дела до него.

Вставало оно, красное, за левадою дяди Хведора, и сначала тронет верхи верб, а потом покраснеет солома и белая труба на хате бабы Горпины, а потом, геть! по дальним буграм, по-за Дніпром, по верхушкам темного леса, и вдруг засмеется все село, все хаты, все мазанки, и лес, и Дніпро, и пыль, что поднялась за стадом да так и забылась, повисла, и скрипучие ворота, и ребятишки, у которых только пятки горят — за телятами с хворостиной, и всюду протянулись веселые длинные прохладные тени…

А с мостика строгий голос:

— На баке вперед смотреть!

— Есть!

…Не знал он тогда солнца, не знал и не чуял красоты его, ибо рос, как трава на поле, а теперь

узнал, вспомнил и почуял, и стало проситься к глазам, как едкий дым от махорки, но он не давал воли…

«Солнце мое радостне!..»

Пустынен ночной сумрак, и без конца уходит по сторонам движущееся, темное волнующееся море.

…И не видал он, не знал он старого батька Дніпра.

А он, старый, белел седыми, похилившимися от шепоту камышами, разлегся, старый, белыми сыпучими песками, и не чуял он старого, а теперь почуял и вспомнил его всего, как живого, седого, ласкового, тихого, блескучего, — и подступало к глазам горько и темно, но не давал он воли и глядел в бесконечный сумрак на смутно бегущее море…

«О Дніпро, мій батько старый!..»

И снова в безграничности сумрака вспыхнула кроваво-красная звезда, казалось, на краю мира. Потом кровавый свет погас, и вспыхнула зеленым светом, потом погас, и вспыхнула белая, светящаяся точка и погасла. И опять красная, и зеленая, и белая.

И он проговорил голосом казенным, как у всех:

— Справа на борту маяк.

…Не видел и не чуял красы жизни своей, а теперь увидел и почуял…

Голодно было? Да, голодно.

Трудно было? Да, трудно.

Но было там солнце, был Дніпро, были кони, скотина, серый, с репьями, с колтуном в хвосте, Серко, были дивчата, не те, к которым он ездит пьяный на берегу, — и теперь увидел и теперь почуял, что радостно все было, что живое все было, что к самому сердцу приросло, кровью припеклось…

Пустынна ночь, и уже не видно нигде живого огня. И эта пустынность, и волнующееся в темноте море, и безграничность смутного сумрака говорили, что есть смерть и кончина мира.

А с мостика:

— На баке вперед смотреть!

— Есть!

Пробили склянки. Поднялся сменяющий с вахты матрос, и Григорий Пидтынов, казенный человек, с таким же лицом, с такими же движениями, с такими же словами, как у всех, полез наниз спать крепким морским сном на узко-подвешенной койке.

И было четвертое, последнее отделение, где, как и в первом, было только одно живое существо,

у которого жизнь была тоже своя, особенная, не смешивавшаяся с жизнью других.

Это был кот Васька, серый кот, с черной продольной по спине полосой, с змеисто-ласковым хвостом, с желтыми, внимательно-холодными глазами, с мягкими, бархатными лапами, в которые он сладострастно медленно то вбирал, то выпускал острые, кривые, белеющие когти.

Он не знал, где и когда родился, кто был его отец и мать, не знал, что такое твердая земля, не слышал шороха листьев и ветвей, не цеплялся острыми когтями в древесной коре, никогда не видел зданий, не лазил по крышам и не слышал тонкого мелодичного голоса кошечки.

Он знал только металлически-гладкую, твердую, всегда безукоризненно чистую поверхность палуб, по которой день и ночь, без перерыва, бежит так нервирующее содрогание, знал, что за краем, сколько глаз хватает, беспредельно волнующаяся вода.

В тихую погоду он лежал в носовом отверстии, откуда выходили якорные цепи, и часами глядел на спокойную, без конца бегущую навстречу воду, в которой стекловидно колышутся голубое небо и белые облака, на мелькающих темно-влажными спинами дельфинов и думал.

Во время бури беспробудно спал целыми сутками, свернувшись где-нибудь в темном укромном уголке. А когда производили учебную артиллерийскую стрельбу и тяжко все сотрясалось — он забирался в самый низ, и в темноте с беспокойной нервностью, лихорадочно горели два фосфорических глаза.

Весь броненосец Васька знал как свои пять пальцев. Он везде заглядывал, осторожно, деликатно нюхая, всюду ходил, мягко ступая беззвучными бархатными лапами; умел пользоваться подъемными машинами, часами сидел, дожидаясь, перед люком, где они ходили, прыгал на площадку, степенно, не шевелясь, сидел между матросами и безошибочно выскакивал именно на ту палубу, куда ему было нужно.

Спускался и в машинное отделение, где тоненько что-то шипело и, поблескивая, двигались бесчисленные части; заглядывал и к кочегарам, где было смертельно жарко и где он любил погреться, когда наверху свистел ветер и несло соленые брызги.

Это был кот с огромным чувством собственного достоинства. Слепого, беспомощного его доставил с берега в пазухе Грицко Підтынный, но это нисколько не обязывало кота, и, когда он вырос,

он относился к Грицку, как и ко всем другим, сдержанно, холодно, вежливо.

«Если вы меня ласкаете, балуете, кормите, так это для собственного удовольствия и забавы, а ведь у меня своя жизнь, и я не хочу быть ничьей игрушкой».

И кончик его хвоста извивался, как тонкая головка ядовитой змеи, которая может, но пока не хочет укусить.

Иногда он терся о колено или руку, но сейчас же отходил и забывал ласкавшего его.

— Братцы, а наш Васька из барского сословия, ей-богу!..

— А то нет, что ль: сколько ни корми, он те завсегда начхает в харю.

— А что ж, бывает так, что какая-нито княжна родит дите да в воспитательный от сраму. А потом, гляди, вырастет, не знай, что княжеского роду, ан княжеская кровь и скажется: даром что в сермяге али в зипуне, а руки бе-елые, и все норовит, вместо чтоб пахать, векселя подделывать…

Кругом дружный хохот.

Завтракать Васька спускался к поварам, а обедал с матросами, спокойно сидя среди них и очень разборчиво относясь к предлагаемым кускам.

Ваське весь свет представлялся в величину

площади броненосца, а за бортами — бескрайно, без границ волнующееся море.

И на этом свете были единственные существа в черных штанах и белых матросках.

Раз его поднесли к зеркалу, и он весь бешено натопорщился, зашипел — такая безобразная, невиданная, мохнатая, оскаленная, с злобно-круглыми глазами, рожа глянула на него из-за стекла; запустил когти в руку матроса, вырвался и, злобно шипя, поставив распушенный хвост трубой, бросился бежать и исчез.

Так шла его жизнь.

Очень редко, но бывали вечера, особенно когда по небу плыла большая белая луна, а от броненосца, дрожавшего беспрерывным содроганием, до самого края кипела золотая полоса, Васька долго стоял, внимательно глядя на катившуюся между облаками луну, потом переводил взгляд холодно-желтых глаз на матроса и вдруг раскрывал, сдвигая усы, розовый рот с острыми, как белые иглы, зубами и неожиданно тонким, долгим, печальным, голосом тянул:

«Мя-а-а-а-у!..»

О чем?

Не о твердой ли земле, на которую он никогда не ступал? Не о шевелящихся ли листьях, шороха

которых он никогда не слыхал? Не о любви ли, которой он никогда не испытал?

— Что, Васька, али тоскуешь?

— И чего тебе? Сыт, одет, обут…

— Вот, постой, будем в порту, съедем на берег, развеем тоску.

Кот, пожимая плечами, отворачивался и, мягко ступая, медленно и злорадно извивая длинный змеистый хвост, уходил.

Матросы смеялись.

— Чисто командир.

— Кабы штаны да человечий голос — совсем человек.

Туманная полоска тонко протянулась на краю моря. Стала расти и расширяться в обе стороны, и уже видно, это — берег.

Ближе, ближе, серый, каменистый, обрывистый.

В одном месте он расщелился, и в глубине его блеснула узкая голубая полоска. А над голубой бухтой белеет город.

Ослепительно сверкают белые дома, возносятся колокольни, блестят кресты. Серыми четырехугольниками длинно спускаются улицы к берегу, около которого бесчисленно толкутся суда, пароходы, лодки. Стоит тысячеголосый говор, шум.

Как паутина, рисуются на синем небе такелажи, и синюю воду режут ялики.

Уже входят в бухту, и по обеим сторонам проплывает серый скалистый берег, на нем укрепления, и в амбразурах темно глядят длинными хоботами орудия, ходят маленькие человечки-часовые.

Укрепления остаются позади, и кругом шумный базар всевозможных судов, пароходов, лодок, яликов.

Как чудовище, среди них медленно проходит броненосец и останавливается в нескольких десятках саженей от берега, рядом с таким же, как он, грязно-серым гигантом. Нестерпимо гремит убегающая в воду якорная цепь.

На берегу шум, оживление. Плывет благовест. Несется треск извозчичьих пролеток.

Кот стоит на самом борту, навострив уши, с изумлением смотрит на здания, на лошадей, на улицы, на деревья, вдыхает неведомые запахи, слышит неслышанные, пестро волнующие звуки.

Он забыл обо всем и не отрываясь смотрит на невиданное сказочное царство.

В вельбот со смехом, говором, шутками спускаются по узловатому шкентелю матросы — первая

команда, отпущенная на берег. Васька не отрываясь провожает их такими же изумленными глазами. Потом ложится на брюхо, ползет за ними и, цепляясь когтями за свисающую узловатую веревку, осторожно спускается и незаметно прыгает в вельбот. Матросы среди говора и усаживания не замечают его. Он забирается под лавочку и сидит, чутко прислушиваясь, подымая то одну, то другую замоченную лапку.

Вельбот дернулся, плавно покачивается, скрипят уключины, говорливо бьется в носу вода, и весла мерно взрывают ее, скачками подавая вельбот, и перед Васькой в разных положениях много ног в начищенных сапогах.

Бот толкнулся, и все меньше и меньше остается внутри лодки сапог. Слышен дружный гул затихающих шагов. Смолкли голоса.

Васька осторожно выглядывает, показывая острые уши. Никого. Десятках в двух саженей лежит чудовищем на воде броненосец. Поодаль другой. Никогда кот не видел его со стороны и теперь долго и внимательно рассматривает.

Потом, озираясь, все так же внимательно навостривши уши, делает скачок, приседает, огладывается, опять скачок, другой… Мимо проезжает, гремя, извозчик, и кот, прижав уши,

распустив хвост по ветру, огромными скачками несется к зданиям, и сзади с извозчика доносится голос бородатого купца:

— Ах ты бестия!.. Кот дорогу перебежал, не к добру…

А Васька, глубоко запуская когти в кору, несется вверх по дереву, как будто век свой занимался только тем, что лазил по деревьям, потом с ветки гибкими движениями перебрасывает все тело на головокружительной высоте на крышу.

Запахи тысячи кошачьих следов сладостно поражают вздрагивающие, ищущие ноздри. Начинается новая, яркая жизнь…

Давно ночь. Звезды. Смолк город, только голубое зарево электричества молчаливо стоит над ним. В сумраке летней ночи уродливо недвижимой громадой вырисовывается недалеко от берега броненосец; возле другой. Тихо и на них.

С бульвара, мягко исчезая, доносятся тающие в молчании и темноте звуки оркестра, и не разберешь: может быть, веселые, может быть, грустно-печальные.

Иногда из-за бухты с укрепления ослепительно ложится бесконечно-длинной голубоватой полосой луч прожектора.

Он движется, и, попадая в него, ярко выступают

на секунду серебряная живая рябь бухты, тяжелые башни, бока и орудия броненосца, песок и камни на берегу, деревья, белые стены домов, крыши… Тухнет, и снова ночь, и звезды, и молчаливая синеватая дымка над городом, и смутно проступающие силуэты темных броненосцев.

Давно воротились на броненосец матросы, веселые и довольные, и на песке остался лишь след от пристававшего вельбота.

Уже когда перевалило за полночь и из-за темных домов поднялись новые звезды, дремотно мерцая, точно слипающиеся глаза, по берегу, припадая, кралась тень.

Она подобралась к тому месту, где приставала шлюпка, с недоумением двигалась по берегу, точно ища чего-то и обнюхивая, и над водой раздалось жалобное, призывающее и беспомощное: «Мя-а-а-а-у!..» — и потерялось среди ночного молчания.

Никто не откликнулся. Смутно чернели броненосцы. Васька был в отчаянии. Он ходил взад и вперед, не обращая внимания, что промочил лапки, лишь стряхивая с них налипший мокрый песок, и плакал, и звал то тонким и жалобным голосом, то раздраженным и негодующим ворчанием. Все ночь, все молчание.

Он дрожал от ночной свежести и волнения. Ухо было прокушено, спина ободрана, с хвоста свешивались, как на старой шубе, клочки меха. Ах, все бы ничего, только бы попасть домой к милым, ласковым, заботливым людям. И он опять звал, просил, плакал, негодовал, садился и слушал, навострив уши, и опять бегал взад и вперед по берегу, и опять просил, звал и плакал голосом, полным отчаяния и слез. Все ночь, все молчание и неподвижные темные силуэты.

Тогда, дрожа всем телом, он решился. Поставил лапку в воду и долго стоял, трясясь всем телом и глядя на темную громаду броненосца. Сделал еще шаг. Соленая вода больно разъедала раны. Хотел попятиться назад, но сорвался и поплыл.

Это было отчаянное, ни с чем несравненное чувство ужаса. У самых глаз, отступая, маленькая волна, дальше смутно поблескивала тяжелая холодная вода и виднелся темный силуэт.

Васька отчаянно работал лапами, и в голове мутнело от подступающего ощущения усталости. Темная громада все так же далеко подымается из воды. Васька закричал отчаянным, раздирающим голосом, то выскакивал из воды, точно собираясь прыгнуть, то погружался по самые уши. Никто не откликнулся.

Брызги, которые он подымал передними болтающимися лапами, слепили глаза. Он переставал видеть громаду темного силуэта, перестал видеть воду и без направления, ничего не разбирая, болтался из последних сил, не в состоянии уже кричать от залившей воды.

Под лапами царапнулась мокрая стенка. Когти срывались, ни за что не мог уцепиться и, тряся головой, выплевывая воду, срывающимся, непохожим на свой крик воем стал кричать. В глазах стало темно. Гладкая влажная стенка скользила под когтями.

Откуда-то сверху раздался человеческий голос:

— Что за оказия, будто кошка.

«Я здесь… погибаю!..» — еще отчаяннее закричал кот.

— И то кошка.

— Давно слышу.

— А ну-ка…

По стенке сверху скользнула полоса и забрезжила в заливаемых глазах Васьки.

— Так и есть. Валяй скорей конец!..

Что-то плюхнулось по голове кота, и он пошел ко дну, глотая соленую воду. Сделал отчаянное усилие и, перестав дышать, вынырнул. По-прежнему слепил сверху свет. Над водой свешивался

растрепанный конец нетолстого каната.

Васька, болтаясь, уцепился одним когтем, приподнялся, не в состоянии кричать. Его стали подымать. Коготь разжался, и он снова сорвался, плюхнулся и пошел, как камень, в сомкнувшуюся над головой воду. Вынырнул и с вылезшими от отчаяния глазами запустил бешено когти в канат.

Снова стали подымать. Полоса света слепит. Звенит внизу стекающая вода.

Вот уже край. Яркий свет фонаря. Наклонившиеся лица. Его перебрасывают. Он падает на лапы, озираясь. Все знакомо: палуба, толстые якорные цепи и люди в черных штанах и белых рубахах. Только отчего голоса другие и запах от них другой, незнакомый.

Васька встряхнул мокрую шерсть и мокрый, жалкий, тонкий хвост, сел на задние лапы и чистоплотно стал вылизывать раны и всю шерсть. Потом вдруг поднялся и, глядя недоумевающими глазами на окружающих его, жалобно замяукал и опять стал вылизывать.

— Ок-казия!

Около него стояло несколько человек.

— Приплыл.

— Впервой слышу, чтоб коты плавали.

— Это, братцы, к добру.

— Напьешься, видно, скоро на берегу вдрызг.

— Не то на вахте без очереди стоять будешь.

Над городом потух дымчатый отсвет, а над морем стало светлеть небо.

— Ребята, куда это Васька делся? — говорил Грицко.

— А что?

— Да третий день не вижу.

— Где-нибудь забился, спит. Что ему сделается?

Но прошло еще три дня, кота не было. Стали искать, — нет, как провалился. Грицко обыскал все палубы, заглянул во все укромные уголки, спустился в машинное, к кочегарам, обшарил кладовую, где лежала растрепанная пенька с канатов и где любил спать Васька, — нет. Тогда беспокойство пошло по всему броненосцу.

В ближайшее воскресенье команда, съездившая на берег, принесла известие: Васька нашелся, — он на соседнем броненосце; сами матросы говорили, ночью приплыл к ним.

Когда услышали, что Васька плыл, среди матросов поднялось волнение.

В свободную минуту толпой собрались на носу. Грицко взял в обе руки по флажку и стал сигнализировать на тот броненосец:

— Братцы, отдайте кота, он — наш.

Оттуда сигнализировали:

— К нам приплыл, стало — наш.

А Грицко опять:

— Мы выкормили, к нам привык, наш судовой кот.

А оттуда:

— Поглядите в трубу.

Грицко стал глядеть в бинокль — на том броненосце протянулось штук двадцать заскорузлых, просмоленных, ядреных кукишей и сигнализировали:

— На-кось, выкуси!..

Потом подняли кота, который, видимо, вырывался, показали и опять спрятали.

Величайшее раздражение поднялось среди матросов. Грозили кулаками, сигнализировали крепкие ругательства:

— Ах, анафемы!

— Братцы, Ваську достанем.

— Это грабеж! Судовое животное… Не имеют права…

— Мы вам покажем!.. Мы вам этого не спустим!..

Разошлись, когда на палубе показался офицер. Все время собирались кучки. Грицко, бледный, с

раздувающимися ноздрями, подходил и говорил:

— Братцы, как же так!.. Скоро в плавание пойдем, а Васьки не будет… Как же так, а?

Когда он думал, что уйдут в плавание, а Васьки не будет, его всего переворачивало. Этот серый кот, который иногда снисходительно терся о колени, был точно тоненькая соломинка, протянувшаяся от него, Грицко, и к батьку Дніпрови, и к Горпининой хате, и к пыли, которая лениво виснет за стадом, и ко всей жизни, и ко всему рідному краю, что далеко и печально ждет его. И если не будет кота — не будет Дніпра, камышей, синего леса за Дніпром, потухнут дивчачьи очи, что ждут его на селе.

— Братцы, так не можно… Добудемте Ваську!

— Возвратим кота…

— Мы им покажем…

И все насупилось на броненосце, как вечерняя туча над полями. Как будто из огромной, но хорошо налаженной на полном ходу машины, где все части были пригнаны и мягко вертелись, вынули маленькое, незаметное колесико, и стало слышно, как шатались, скрипели и разбалтывались шатуны и подшипники.

Жизнь кота среди матросов, его привычки, повадки приобрели вдруг для них какое-то осо-

бенно большое значение, которое они прежде не умели ценить в полную меру. Пусто стало на точно обезлюдевшем броненосце.

В каждую свободную минуту, если не было офицеров, сигнализировали на другой броненосец самые отборные ругательства и угрозы. Оттуда отвечали тем же.

— Братцы, так нельзя, — говорил Грицко. Он за эти дни похудел.

В воскресенье свезли на берег команду человек двадцать, отпущенных погулять в город. С того броненосца тоже высадилась команда в отпуск. Некоторое время слышно было, как отбивали шаг и те и другие.

Грицко вдруг остановился, губы у него вздрагивали:

— Братцы, вон они, наши супостаты!

Все остановились, как по команде.

— Неужели так и оставим?

И, не дожидаясь, повернулся и пошел к гулко отбивавшей шаг команде. Товарищи, повернувшись, плотной массой пошли за ним. Обе команды сошлись и тяжело стали друг против друга, бронзовые, сильные, с смелыми открытыми лицами.

— Вот что, братики, скажу вам, все товарищество

вы дуже обидели.

— Знамо дело, обидели… — густо загудели кругом.

— Неправильно…

— Потому должны понимать, животная свой дом имеет…

— Судовая животная…

— Плыл — стало, к себе домой хотел…

— Прошибся… разве на воде да ночью разберешь… человек и тот бы прошибся…

Но им так же густо и дружно, давая отпор, ответили:

— К нам приплыл, стало — наш…

— Не вытащили бы, все одно бы потоп.

— Что он у вас — клейменый?

— Проваливайте…

Тогда Грицко, повернувшись к своим, побагровел, крикнул голосом, как будто его ударили ножом:

— Братцы, не выдавай!.. Постоим за веру и отечество!..

И с размаху ляцкнул кулаком в лицо ближайшего врага. Лицо мгновенно окровавилось…

— А-а-а!.. — грозно пронеслось по берегу и отдалось за бухтой.

Грицко разом потонул среди поднявшихся

кулаков.

— За веру!.. За отечество!..

Как хлынувшая с двух сторон вода, смешались обе команды. Окровавленные лица, мелькающие кулаки, хрип и стоны. Упавших топтали тяжелыми сапогами. Весь берег шевелился грудою живых, тяжело ворочавшихся тел, точно кто-то высыпал на большом пространстве червей и они сплелись в живой, шевелящийся узел, и стояло густое, колебавшееся «га-га-га-га», в котором ничего не разберешь.

Враги, сцепившись, падали в воду, глотали, захлебывались, выплывали и, мокрые, ободранные, с подбитыми глазами, становились друг против друга, как два петуха:

— Ну что… хочешь еще?

— Отдавай кота!..

И, сцепившись, били друг друга как и куда попало.

На броненосце подняли тревогу, зазвонили телефоны. Спустили на шлюпках команды разнимать дерущихся, но матросы кидались в свалку и били врагов.

Офицеры тщетно кричали до потери голоса, стреляли в воздух из револьверов. Над кишевшей, тяжело ворочавшейся по берегу толпой стоял

поглощающий все звуки рев. Дали знать в штаб.

Из города к пристаням бежали обыватели — мальчишки, торговцы, дамы. Бульвар почернел от запрудившего народа. На заборах, на деревьях, с лодок любители фотографы щелкали аппаратами. По бортам броненосцев стояли с револьверами офицеры, не позволяя матросам спускать шлюпки и присоединяться к своим.

Беглым шагом пришла вызванная рота. Отдана была команда сделать залп в воздух. С мгновенными белыми дымками рванули ружья. Тяжело перекатываясь, отозвался противоположный берег, стены зданий, но на берегу все так же ворочался живой клубок более чем двухсот тел, мелькали кулаки, разбитые, изуродованные лица, носились хриплые стоны, выкрики, ругательства.

Прискакала пожарная команда и стала из брандспойтов поливать свалку.

Вытребовали еще батальон. Солдатам приказано составить ружья в козлы и растаскивать дерущихся.

Солдаты по нескольку человек хватали с краю матроса за ноги и тащили прочь, а он, хрипя исступленно, тащил за собою врага, и они, волочась по земле, вцепившись, душили друг друга.

— Отда-ва-ай к… кота!..

— В… вррешь! В… ввыкуси…

Потребовалось несколько часов огромных усилий, чтоб очистить место свалки. На изрытом, истоптанном песке валялись матросские шапки, оторванные рукава, голенища, изорванные штанины и всюду пятна запекшейся крови.

Двадцать человек увезли в лазарет, а о двух говорили, что не выживут. Остальные — с фонарями и распухшими лицами. На броненосцах нависла угрюмая темная туча. Говорили, матросов отдадут под суд.

Старший офицер, ходя перед выстроившейся шеренгой, распекал долго и вразумительно. Матросы стояли, вытянувшись в струнку, не сморгнув глазом. Но когда скомандовали «вольно» и офицер стал распекать по-отечески, матросы сгрудились около него, и черты упрямства и настойчивости лежали на бронзовых, в синяках, лицах…

— Да вы белены объелись, с ума спятили…

— Никак нет, вашскблагородие, главное — за правду стоим, за правильность.

— Черт знает, из-за кота… золото нашли…

— Дозвольте доложить, вашскблагородие, он, кот, все понимает, и не чтоб зря, а плыл на свой

броненосец, а они перехватили. Не резон, и опять же правды нету. А мы свое возьмем, вашскблагородие, хоть перестреляют всех.

Офицер плюнул и ушел.

В тот же вечер в каюте старший офицер докладывал о происшествии воротившемуся из поездки командиру. Тот долго и молча, заложив руки за спину и глядя под ноги, ходил из угла в угол. Потом сердито остановился:

— Но ведь это неслыханная вещь!.. Ведь это же скандал!.. Добро бы из-за дела, а то из-за кота. Курам на смех. За границей от хохоту стон будет стоять и из карикатурных листков мы не вылезем.

— Должен доложить, настроение среди матросов упрямо выжидательное. Боюсь предсказывать, но возможно столкновение с самыми тяжелыми последствиями.

Командир круто остановился.

— Но позвольте-с! Не под суд же мне отдавать девятьсот человек из-за кота. Это что же такое… Я понимаю, бывают всякие столкновения, но из-за кота — это из рук вон!

Он опять нервно прошелся и остановился перед офицером.

— А впрочем, позвольте, какое же они право

имеют удерживать этого кота? Ведь необходимо считаться и с психологией матросов. Не из дерева они сделаны, не оловянные солдатики. Кот!.. Что такое кот? И в то же время я понимаю привязанность этих людей. Для них кот это — дом, это — семейный очаг, это — далекая родина. Вот что, Александр Иванович, распорядитесь, пожалуйста, чтобы составили отношение и отослали на имя командира того броненосца. Пусть немедленно возвратят по принадлежности кота. Не могу же из-за какого-то кота отдавать людей под суд.

В канцелярии, куда передал распоряжение командира старший офицер, долго ломали голову, как составить необычное отношение. Писарь, вооружившись длинным, с изгрызанным кончиком пером, несколько раз писал, вымарывал, опять писал.

«Ввиду присвоения командой броненосца “Море” казенного имущества броненосца “Край”, именуемого кот…»

— Степан Архипыч, ну, какое имущество кот?.. — взмолился писарь к делопроизводителю, отирая с лысины фуляровым платком проступивший пот. — Разве кот — имущество? Заставили писать, а что я буду писать… один срам…

— Ну, ну, пиши, — строго проговорил делопро-

изводитель.

«Ввиду присвоения казенного имущества, которое есть домашнее животное или обыкновенный кот, сего кота препроводить и сдать под расписку по принадлежности на броненосец “Край”».

Как и все бумаги, «отношение» сначала пошло в штаб, а оттуда уже на броненосец «Море».

Командир броненосца «Море» счел себя оскорбленным.

— Что за вздор в официальной бумаге. Какие-то коты! И в каком это инвентаре коты заносятся как казенное имущество! Этому место в «Стрекозе», а не в официальной бумаге. Просто распустили команду, никакой дисциплины, матросы производят форменные нападения, вот теперь и хотят вывернуться из этой грязной истории. Распорядитесь, чтобы послали отношение, что ни о каких котах я знать не хочу и что вообще странно получать подобного рода бумаги.

«Отношение», как и все казенные бумаги, пошло через штаб.

Командир «Края» почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо.

— Извольте видеть, что поют. Нет-с, я с собой шутить и играть не позволю… Раз я пишу, значит — это серьезно. Ему хочется, чтобы я отдал свою

команду под суд. Извините, у меня есть сердце, и матросы — люди с своей собственной жизнью, с своим собственным горем и радостями. Человека разобьешь — не склеишь, а их девятьсот душ. Александр Иванович, распорядитесь, чтоб в штаб был послан рапорт с надлежащим освещением дела, а я и сам съезжу и поговорю. Издеваться я над собой не позволю.

Писарь сидел, вытирая фуляровым платком взмокшую лысину, и писал изгрызанной ручкой:

«В подтверждение оного казенного имущества, которое домашнее животное кот, и хотя по реестру не числится, но принадлежит судовой команде…»

— Господи, что я буду писать? Опять этот проклятый кот, хоть бы баран, или хоть курица для офицерского стола, так от ней по крайней мере польза — суп, ну, а кот в каком смысле?

— Ну, ну, пиши! — строго проговорил делопроизводитель.

В штабе, где дал объяснение командир, голоса разделились: одни за то, чтобы воротить кота, другие, чтоб оставить это дело как есть. Но первое мнение восторжествовало, и на броненосец «Море» была послана бумага с распоряжением немедленно возвратить кота по принадлежности

команде броненосца «Край».

На «Краю» было настроение, как под Пасху, — веселые лица, смех, говор. Синяки и опухоли еще не сошли, но побледнели и как-то тонули в лучах жизнерадостного веселья.

После обеда подошла шлюпка, и с нее подали на броненосец мешок, в котором что-то бунтовало и ворочалось. Принимавший матрос расписался в разносной книге в получении.

Матросы весело сгрудились кругом. Впереди всех был Грицко, у которого под обоими глазами синели громадные фонари, а когда говорил, под губой чернело пустое место выбитого зуба.

Вытряхнули мешок, и оттуда выпрыгнул, как балерина, изогнувши спину, кот. Все ахнули: он был куцый.

— Ах, анафемы! Отрубили…

— Супостаты!..

— Души в них нету, как животное изгадили.

— А хвост где? Эй, ты, хвост почему не доставили?

— На кой тебе хвост, приставить, что ли?

— А то нет. Вот нос даже, ежели сплавишь, пришьют, не токмо хвост.

— А как же, зараз молодую индюшку зарезать, кожу на шее содрать, приставить хвост да теп-

лой кожечкой и обернуть. Через недельку как есть целый. У нас так-то в деревне мальчонки один другому палец на дровосеке отрубил. Зараз зарезали, приставили, прирос, глядь, ан задом наперед, впопыхах.

Кругом дружный смех.

— Братцы, — заговорил Грицко, — об чем толковать и что такое без хвоста. Скажем, я теперь без зуба, — что же, полинял али что? А Васька, сказать, за правду пострадал.

— Веррно!..

— Правильно!..

— И кабы медали котам были, так ему бы надо повесить.

Точно чувствуя, что о нем речь идет, кот выгнул спину и особенно грациозно прошелся и потерся о ногу одного, другого с таким видом и движением, как будто слегка и грациозно извивая хвост.

Грянул дружный хохот.

— Да он без хвоста, братцы, добрее стал.

Броненосец уходил в плавание.

На берегу стояла большая провожавшая толпа.

Угрюмое чудовище уходило все дальше и дальше, темнея башнями, орудиями. В утробе его лежала огромная сила разрушения, которая могла в полчаса превратить веселый городок в

развалины. И на темных палубах, в бесчисленных отделениях, среди машин и орудий, среди все обнимавшего железа и стали текла своя, особенная жизнь с железной дисциплиной, с железным порядком и правильностью.

1910

На курорте

Александр Серафимович
Рассказ

I

На крайней скамье гранитной набережной сидел, сгорбившись, человек в сером потертом пальто, с серым, землистым лицом, с ввалившимися висками и глазами, в которых светилось одиночество. Он долго и неподвижно сидел с растерянной, болезненной улыбкой, блуждавшей по его землистому лицу.

Кругом было так ярко, что у него кружилась голова. Море, солнце, небо, горы, черневшие лесами, обрывавшиеся ущельями, веселенький пестрый городок, раскинувшийся по полугорью, — все это стояло вокруг, сверкая линиями и красками. Слишком много впечатлений, новых и ярких, ворвалось в душу за последнее время.

Серый человек поднялся все с той же растерянной улыбкой удивления, почти изумления перед всем виденным. Расправляя затекшие ноги, он тихонько пошел вдоль моря, щурясь от блеска и

весеннего тепла и удерживая приступ кашля.

Всего пять дней тому назад он был среди совершенно иной природы, иной обстановки, иной жизни. Сосны, мокрый, непотаявший снег, почерневшие в оттепель, с проступившим по ним навозом, проселочные дороги, серые, низко бегущие облака, глухая деревушка, тяжелый воздух школьного помещения, ребятишки, шум, гам, наезды начальства, страх перед ним — все это всего пять дней тому назад наполняло его жизнь. И эта жизнь тянулась годами.

Серый человек остановился и, опираясь о гранитный парапет набережной, стал кашлять. Он кашлял долго, настойчиво, с выступившими на глазах слезами, с подергивавшимся от усилий лицом. Потом, отерев усы и бороду, торчавшие редкими кустиками, чувствуя, как на минуту все кругом померкло, он присел на скамью и, отдышавшись, опять пошел — и опять перед ним было море, солнце, горы, был все тот же яркий весенний день и оживленно проходившая мимо публика.

— Барин, сапог чистить, сапог чистить, барин, пожалюй!

Черный татарчонок, сидя на мостовой, пристально следил за мелькающими ногами про-

ходящих. Возле него стоял расписной ящичек с углублением для ноги и с бубенчиками, которые он пошевеливал, и они мелодично позванивали.

— Каспадин, пожалюй, пожалюй, каспадин!

Серый господин остановился все с той же добродушно-растерянной улыбкой.

— Ну, чего тебе?

Но татарчонок уже схватил его ногу, поставил в углубление ящика, завернул слегка брюки, торопливо обмазал сапог полужидкой ваксой и необыкновенно быстро и ловко стал чистить разом двумя щетками. Серый господин стоял с улыбкой на лице, чувствуя легкое щекотание, удивляясь странности и новизне этих уличных услуг. Через минуту сапоги блестели, как зеркало.

Татарчонок, зажав монету, поставил, позванивая, ящичек на плечо, прошел наискось через улицу, кивая головой, прищелкивая языком, и сел снова у панели, ловя глазами мелькающие ноги проходившей публики. А господин с блестевшими сапогами постоял с минуту, добродушно глядя на уходившего мальчишку, и покачал головой.

— Чудной народ! На улице сапоги чистят!

И он пошел дальше, испытывая все то же опьянение от света, тепла, от этой беспредельной

водной глади, поражающей своим простором, этих гор, в которые упирался взгляд, загораживавших полнебосклона и стоявших неподвижно и таинственно. Казалось, невозможно было привыкнуть к их синеющим массивам, неизмеримо подымавшимся над всем, что копошилось здесь внизу, у их подошвы, к их изломам, причудливо вырисовывавшимся на синеве неба, — привыкнуть после той однообразной, всегда одинаковой бесконечной равнины с еловыми и сосновыми лесами, балками, лощинами, отлогими невысокими холмами, — там, далеко на севере, где он провел всю жизнь.

Он прошел мимо странного здания, стоявшего на сваях, далеко вдаваясь в море, которое оказалось купальней, как он прочел на фронтоне, перешел небольшой мост, под которым бурлила горная речонка, клокоча и заворачиваясь белеющей пеной вокруг камней, принесенных с гор, и шурша галькой и крупным песком, и пошел мимо зеркальных окон ресторанов, за которыми виднелись столы, покрытые ослепительно-белыми скатертями, серебро, вазы. За столами сидели очень важные господа в черных сюртуках, в белых манишках, а перед ними стояли еще более важные господа во фраках, чисто выбритые, се-

рьезные и, казалось, недоступные.

И только по тому, что первые сосредоточенно ели, держа как-то особенно умело в руках ножи и вилки, а вторые с салфетками в руках почтительно глядели им в рот, он заключил, что последние прислуживают. И вся эта обстановка высоких, просторных комнат с красивыми диванами, с длинной резной стойкой, сплошь уставленной закусками, бутылками, графинами, рюмками, с огромными окнами без переплетов, затянутыми сплошным зеркальным стеклом, толстым, как лед, производила на него впечатление какого-то недоступного дворца, особого мира, где двигались, разговаривали, сидели, закусывали люди из совершенно иного мира, полные достоинства и знания себе цены. Дальше сплошь шли такие же огромные зеркальные стекла магазинов, других ресторанов, аптек. Шелковые материи, ковры, оружие, дорогие вазы, безделушки, золотые и бриллиантовые вещи глядели из-за стекол.

Он остановился перед одной громадной витриной, где была выставлена большая картина: в черной с золотом раме открывалась спокойная, уходящая водная гладь, в которой отражалось небо, и неподвижная, одиноко стоящая лодка с повисшим парусом. Он обернулся и посмотрел на

море; так же необозримо в нем отражалось небо и дремала лодка с замершим в знойной истоме парусом.

Долго он стоял перед этой картиной. Никогда ничего подобного ему не приходилось видеть. Он видел только рисунки в разных иллюстрациях да олеографии, но он никогда не представлял себе, чтобы можно было смотреть в раму, как в окно, из которого открываются море, небо, облака, неподвижная лодка и сливающаяся с синевой даль. И эта картина, и внутреннее помещение ресторана за огромными стеклами, которых почти не чувствует глаз, мальчишка, чистивший ему на улице сапоги, яркий, ослепительный день, зеркальная поверхность моря, отражавшая блеск, горы, которые, как он постоянно чувствовал, стоят позади, — все это слагалось в одно общее сложное впечатление, с которым он не умел, не мог справиться и разобраться. Перед ним точно разодрался краешек серого, спускавшегося со всех сторон неба, низко покрывавшего с детства знакомый ландшафт родных мест, и сквозь этот прорыв открылся краешек какого-то иного, поразительно нового мира. Он не мог ясно и отчетливо формулировать своих новых ощущений и так выразил их внешним образом:

— Ну и здорово же нарисовано! Как живое, как будто на самом деле!

Он покачал головой и пошел дальше. Вдоль улицы тянулась аллея. Конскокаштанник стал уже распускать свои клейкие лапчатые листья. Воробьи весело гомозились в ветвях. Справа из-за зданий опять открылась блестевшая на солнце под водой гавань с судами, лодками, фелюгами, с краснеющими на воде баканами, с лесом мачт и угрюмо дымившими черными пароходными трубами.

У мола, начинавшегося недалеко впереди от берега, виднелось высокое здание таможни, у которой взад и вперед ходил часовой — молодой парень с зелеными обшлагами и примкнутым к ружью штыком и с выражением особенной важности исполняемого им дела, как будто бы он молчаливо говорил: «Я пристрелю или приколю, если вздумаешь тут что-нибудь делать. Видишь, я на посту!»

Господин в сером пальто осторожно прошел мимо него и поднялся по круто взбегающей на гору улице. Вот и «номера», в которых он жил. Они выходили на море, но он занимал крохотную комнату, перед единственным серым, запыленным окном которой возвышалась глухая, с облупив-

шейся штукатуркой стена соседнего дома.

II

Когда он вошел в номер, там все было резко противоположно тому радостному, веселому настроению, что царило на улице. Серые стены, бахрома запыленной паутины под потолком, засиженные мухами немытые окна, таз с грязной водой, чемодан, стол, стул, кровать. Он попросил себе чаю, и половой принес ему кипяток в грязном чайнике.

Напившись и закусив колбасой, жилец почувствовал, что ему больше нечего делать и что он совершенно одинок в городе. Он подошел к окну. Сумерки быстро наступали. В окно была видна штукатурка соседнего дома. Из-за строений со стороны моря мерно доносился глухой и тяжелый шум, точно там пересыпали огромные кучи песку или мелкого голыша. Чувство одиночества смешивалось с впечатлениями ярких картин дня. Усталость и слабость овладели им. Он лег на постель, не раздеваясь, и натянул на голову пальто.

Под пальто сделалось душно и жарко, а он думал: «Нет, надо обдумать». Что обдумать? А все: горы, море, жаркое солнце, лодку с повисшим парусом, молочную дымку на горизонте, всю

свою жизнь, и откуда этот возрастающий и падающий глухой шум за стеной, который среди ночи мерно и тяжко отдается в зданиях и в земле. По-видимому, без связи ему представилось, как он ехал на пароходе. Ночь наступала отовсюду, по обеим сторонам уходила все та же движущаяся темная волнующаяся поверхность, в небе не было ни одной звезды, и пароход, по которому беспрерывно бежало легкое содрогание, казался одиноким и заброшенным. Вдруг на горизонте, черту которого уже нельзя было различить, ярко загорелась кроваво-красная звезда. Она горела, казалось, на краю мира. Потом кровавый свет погас, и она вспыхнула зеленым светом. Потом ночную темь пронизала яркая белая светящаяся точка и потухла. И эта пустынность, волнующееся в темноте море, стоявшая вокруг безграничная ночь вдруг вызвали впечатление смерти и кончины мира. Во мраке снова засветилась яркая точка, вспыхнула красным, потом зеленым светом, вспыхнула и снова померкла. Долго он стоял в темноте, чувствуя беспрерывное содрогание парохода, и что-то неотвратимое, роковое и безразличное, как ночная тьма, заполняло его душу. А пароход себе шел да шел, и движущаяся, волнующаяся поверхность неустанно бежала туда, где

вспыхивала и меркла странная звезда.

«Впрочем, все это не то… О чем, бишь, я хотел думать? Отчего это мысли не идут так, как хочешь?»

И он старался думать о солнце, о тепле, о блеске моря, о жизни, какая должна быть в виду этих синеющих гор, синеющего неба, а ему представлялась ровная ночная тьма, и в этой тьме — без конца и краю двигающаяся, волнующаяся невидимая поверхность и зловеще вспыхивающая то кровавым, то зеленым светом таинственная звезда.

Ему стало душно, и лицо покрылось потом. Он разом откинул пальто, и в полумраке комнаты выступил, светлея, четырехугольник окна. Глухой прибой тяжко и мерно и теперь яснее наполнял ночную темноту.

Этот мерно нараставший и падавший шум был так не похож на ровный, однообразный, задумчивый шум соснового бора на далекой родине, где жизнь у него шла так заученно, монотонно, однообразно, как этот однообразный лесной шум, в продолжение десяти лет. В продолжение десяти лет каждый день было одно и то же, и он никогда не думал о том, тяжело это было или нет, а просто вставал утром, наскоро пил, если имелся в запасе,

чай «вприкуску» и торопливо шел в школу, где ребятишки ходили на головах. Он прикрикивал на них и начинал заниматься. Ребятишек было много, поэтому одну часть из них он заставлял писать, другой задавал задачу, с третьей сам занимался, но так как в одно и то же время он не мог с должным вниманием сосредоточиваться на всех трех группах, то обыкновенно не успевали ни та, ни другая, ни третья. К концу занятий, когда в школе, оттого что было тесно и ребятишки вели себя не совсем корректно, можно было вешать топоры, он распускал ребят и шел обедать. Ему готовили обед в соседней крестьянской хате, и он привык за эти десять лет к каше, к постному маслу, ржаному хлебу, луку, квасу. Но он привык не только так обедать, но и проводить дни так, как он их проводил эти десять лет. Чувствуя после обеда в желудке тяжесть, как будто туда наложили кирпичей, он шел усталый, переваливаясь, на свою квартиру, где растягивался на кровати. Зимой это было лучшее время дня. Растопленная с утра печь наполняла комнату теплым, банным воздухом. И от этого являлся позыв мечтать. Куря толстую из дешевого табака папиросу, протянув по сбившемуся одеялу ноги, учитель предавался приятному послеобеденному безделью и, пуская

горький и едкий дым, стлавшийся под низким почерневшим потолком, думал о своих делах. Но дела эти обыкновенно в это время представлялись ему в обратном виде. Ему представлялось, что он получает не полтораста рублей в год, как это было на самом деле, а ровно вдвое — триста рублей. Это двадцать пять рублей в месяц! Боже мой! От этой цифры у него слегка шла голова кругом, и он сильнее затягивался папиросой. Ведь тогда все совсем переменялось. Он живет уже не в крохотной каморке, а нанимает «чистую» половину у дяди Митрия; у него есть чай и сахар на каждый день; на зиму можно купить валенки и обшить их товаром. Старый его полушубок давно облысел — вся шерсть вытерлась, вылезла, и он присмотрел у кабатчика новый черный дубленый полушубок за девятнадцать целковых. Он представлял себя в новом полушубке, который хорошо и плотно лежит на нем, в новой форменной фуражке, в новых валенках, ловким, здоровым и сильным, и почему-то при этом представлении довольства, тепла, нового, хорошо пригнанного платья, из облаков табачного дыма, заполнявшего каморку, выступало здоровое, румяное рябоватое лицо девки, что служит у кабатчика.

— Э-эх!..

Учитель вздыхает, снова натягивает пальто и укрывается с головой.

Семь лет тому назад батюшка говорил ему, когда он стал просить разрешения жениться на его второй дочери:

— Ну, благословлю я вас, скажем, благословлю, — ну, как же вы обходиться будете? Как обходиться будете? Деточки пойдут, Бог благословит, сказано бо: плодитесь и размножайтесь, а у тебя двенадцать целковых в месяц, — одному не на что глядеть. И рад я вас, скажем, благословить, рад благословить, да куда вы, сирые, приклоните главы свои? Я стар, немощен, скоро Бог призовет, куда вы, сирые?.. Кабы ты дослужился, ну, скажем, триста рублей в год, — слова не скажу тогда: да благословит вас Господь Бог. Нет, сын мой, не судил вам Господь. Мне помирать скоро, а ты неси без ропота свой крест до конца.

Поплакала поповна, он с полгода сам не свой ходил, потом опять пошло все по-прежнему: школа, ребятишки. Поповна вышла за семинариста, посвященного в дьяконы в соседнем приходе, а он вот лежит на кровати в меблированных комнатах в незнакомом городе, среди незнакомых людей, чуждой обстановки и слушает, как шумит в ночной мгле за окном немолчный прибой. И

опять встают горы, море, солнце, набережная, рестораны, публика, страшно мешаясь с впечатлениями деревенского житья, соломенными крышами, мужиками в лаптях.

III

Годы шли, он все меньше и меньше вспоминал о поповне, о своем угле, о детишках с белобрысыми головками, которые бы сидели за чайным столом. Дни, повторяясь друг за другом, как тиканье стенных часов, все покрывали, нивелировали, делали безразличным. Он ездил в город ежемесячно за жалованьем. Это было для него каждый раз целым событием. Городишко был маленький, глухой и захудалый, но ему после деревенских изб, после навоза, плетней, соломенных почернелых крыш — здания острога, полицейского управления, казначейства казались чуть не дворцами. Другим событием, нарушавшим однообразие деревенской жизни, были наезды начальства. Каждый месяц приезжал инспектор народных училищ, маленький, кругленький женолюбивый человек, и раз или два в год — сам директор. Когда приезжало начальство, учитель делался сам не свой, и не потому, чтобы у него плохо шло дело, — шло оно у него не лучше и

не хуже, чем в большинстве школ уезда, — а в силу какого-то внутреннего, органического, неотвратимого страха. И начальство у него не было свирепое или особенно придирчивое, но весь уклад, отношения, манеры, голос, движения — все как будто говорило: «Эй, смотри, помни мне, смотри!..» И он помнил, постоянно помнил, и, когда приезжало начальство, делался совершенно неузнаваемым: суетился, лицо глупело, без толку тыкался к ученикам, и, когда шел наконец провожать, чувствовал себя разбитым. Каждый раз перед приездом начальства он убеждал себя и думал: «Ну, чего я? Разве он не из такой же глины слеплен, что и я? Дело у меня не хуже идет, чем у других, чего же я? Э, брат, не робь, дело ведь в шляпе».

Но когда в околицу въезжал тарантас инспектора и, звеня бубенцами, подкатывал к школе, а из него, кивая головой, любезно здороваясь, вылезал сам, все рассыпалось, и страх, неотвратимый, непреодолимый, против сознания, охватывал учителя.

И странно, тогда он относился к этому своему состоянию, как к чему-то естественному, неизбежному, не задаваясь по этому поводу никакими вопросами и лишь чувствуя несказанное облег-

чение, когда начальство уезжало. *Теперь* же все это, этот страх и трепет вдруг показались ему ненужными, лишними в его жизни.

— Почему?

Он не мог ответить на этот вопрос, но все, что он пережил за последнее время, все, что он увидел за эту поездку, что открывалось перед ним, — все это, вся эта новая обстановка как будто отбросила отблеск на его прошлую жизнь, и она ему показалась при новом освещении.

С чего же это началось? Полгода тому назад, когда он, усталый и голодный, возвратился из училища и вошел в свою каморку, у него странно защекотало в горле. Он закашлялся и стал откашливать вместе с мокротой сгустки крови. Он испугался, лег и пролежал в постели два дня. Кровохарканье больше не повторялось, но стала одолевать незнакомая дотоле слабость; по утрам его лихорадило, а ночью он подымался с постели в поту. Но, как и все в эти десять лет, эти признаки недомогания понемногу вошли в обычную колею, стали чем-то ординарным, и дни опять пошли один за другим, как мерное покачивание маятника. По-прежнему он ходил в училище, возился с ребятишками, предавался после обеда мечтам, чувствуя у себя кирпичи в желудке, и

ездил в город за жалованьем.

Как-то в деревню завернул земский участковый врач, с которым обыкновенно в каждый его приезд учитель и батюшка садились играть в карты.

— Что это, батенька, вы так посерели? — проговорил он, прожевывая кусок ветчины после рюмки отличнейшей матушкиной настойки из морошки.

— А что? — спросил учитель, сдавая карты.

— Да уж больно худ стал.

— Неможется что-то. Я давно хочу обратиться к вам, Иван Иванович.

И он рассказал ему о своих недугах.

— Э, что же вы! Такие вещи нельзя запускать.

После карт доктор прошел с ним в отдельную комнату, выстукал, выслушал, и лицо у него сделалось серьезным.

— Вот что, Иван Матвеевич, — проговорил он, — вам нужно бросить работу и уехать отдохнуть, и уехать сейчас же, не теряя ни одного дня.

Учитель в первый момент опешил.

— Позвольте, как же это так?.. Разве опасно? — бормотал он.

— Ну, уж сейчас и опасно! Опасного пока ничего нет, а меры надо принять, запускать нельзя.

— Да как же это так... право, я уж не знаю...

Отпуск нужно брать, как начальство посмотрит, и денег у меня нет. Вот лето придет, каникулы, и отдохну.

— Нет, лета вам нельзя ждать. Сейчас же уезжайте на юг, а деньги соберем как-нибудь.

Учитель заметил, что батюшка и вся семья его после этого случая стали относиться к нему как-то особенно тепло и участливо; матушка постоянно угощала молоком и часто присылала на дом по утрам кувшинчик только что надоенного парного молока. Это его трогало и в то же время вселяло неопределенное беспокойство.

Как-то после обедни, когда он выходил из церкви за толпой истово крестившихся на паперти мужиков и баб, матушка пригласила его к себе попить чайку. Пришел и батюшка. Поговорили о помещике, который приезжал с семьей к обедне, о кормах, которые совсем пришли к концу, и скотина стала голодать, о ссоре старшины с писарем, выпили по семи стаканов чаю и, отирая взмокшие лица, перешли с батюшкой в крохотный залик. Батюшка понюхал табаку, крякнул и проговорил:

— Все Господь, все он, творец небесный, без его ведома волос с головы не упадет. Вот и вы, Иван Матвеевич. Унывать не нужно и впадать в

отчаяние, а надеяться надо на него и возносить молитвы к престолу его, ибо его святая воля. Вот тут мы с Иван Ивановичем чем могли… вам на дорогу и на прожитие… Полечитесь, поезжайте. Господь не оставит, святый Пантелеймон-великомученик исцелит… Тут и председатель управы, и предводитель помог…

Батюшка, завернув с кармана шаровар рясу, порылся там, достал небольшой пакетец и подал учителю, Тот, растерянный, с красными пятнами, проступившими по лицу, нерешительно взял деньги.

— Поезжайте, полечитесь, поживите, отдохните, отгоните все заботы и не забывайте ежечасно вспоминать небесного целителя и врачевателя душ наших. Он исцелит и поможет.

Иван Матвеевич вернулся домой. У него голова пошла кругом и от громадной суммы, которую он в первый раз имел в руках — там было сто пятьдесят рублей, и от неожиданно осуществившейся возможности поездки, о которой он и мечтать не смел. Начальство благодаря свидетельству, выданному доктором, разрешало отпуск. Затем события пошли с быстротой, от которой он еще и до сих пор не успел прийти в себя — сборы, проводы, дорога.

У крыльца его квартиры уже стояла, понурив голову, маленькая запаршивевшая лохматая лошаденка, запряженная в широкие розвальни, в которых его возница настилал сено. К квартире стали подходить крестьяне. В зипунах, в рваных полушубках старики, с изрезанными морщинами, обветренными лицами, обив в сенях от снега сапоги, входили в крохотную комнатку, нагибаясь у порога, чтобы не удариться о притолоку, и истово крестились на угол. Скоро в маленькой комнатке набилось столько народу, что негде было повернуться. Иван Матвеевич, взволнованный, торопливо совался во все углы, брал ненужные вещи в руки, двадцать раз отпирал и запирал свой единственный старенький чемодан и то и дело выбегал на крыльцо посмотреть, все ли готово, хотя нечему было готовиться, — лошаденка с опущенной шеей стояла на месте, и в санях было настлано сено.

То один, то другой из стариков не спеша развязывал грязную тряпицу и доставал кувшинчик молока, пару печеных яиц или ржаную на масле «шанежку».

— Бери, Иван Матвеевич, дорожному человеку сгодится. Счастливого пути, и дай господи, мать пресвятая богородица тебе выздоровления. Как

очунеешься, к нам, значит, ворочайся, а то без тебя ребята совсем от рук отобьются. По воскресным-то дням часто сладу нет с ними — сигают, кричат, балуются. А Иван-то мой теперича десятником на чугунке, дай тебе господи здоровья. Как пришли они туда, начальник ихний и выкликает: которые грамотные? Иван то и вышел, а боле никого, ну, его и поставил. Деньги присылает каждую получку, лошадь купили, тебя все поминаем.

Это участие, это признание заслуг за ним до глубины души тронули его. Для него все это было полной неожиданностью. Он не думал никогда о своих отношениях к крестьянам, да если и думал, так ему казалось, что никаких таких отношений и нет. Мужики сеяли, пахали, косили, рубили лес, возили навоз, а он каждый день ходил в училище, занимался, кричал на учеников, уставал, настаивал, чтобы лучше топили школу, для которой жалели дров, чтобы давали сторожа, чтобы не забирали детишек рано по весне для полевых работ.

Последние события, эти проводы, эти лица, изрезанные морщинами терпения, труда и тяжкой жизни, простые слова, разворачиваемые заскорузлыми руками кульки с «шанежками»,

которые разве топор мог взять, — все это вывело его из обычного мерного хода жизни…

Вспыхнувшая кроваво-красная звезда загорелась ровным белым светом, и лучи ослепительно коснулись волнующейся, двигающейся поверхности, торопливо улегавшейся в ровную бесконечную водную гладь. И в ней отражалась лодка с сонным парусом, и голубое небо, и солнце посылало блеск, от которого смыкались глаза, а вдали синели горы.

* * *

Когда на другой день недостучавшийся номерной вошел в комнату, он увидел, с одной стороны, выставившиеся из-под поношенного пальто ноги в вычищенных сапогах, а с другой — серое лицо с застывшей навсегда улыбкой.

1902

Мальва

Максим Горький
Рассказ

Море — смеялось.

Под легким дуновением знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. В глубоком пространстве между морем и небом носился веселый плеск волн, взбегавших одна за другою на пологий берег песчаной косы. Этот звук и блеск солнца, тысячекратно отраженного рябью моря, гармонично сливались в непрерывное движение, полное живой радости. Солнце было счастливо тем, что светило; море — тем, что отражало его ликующий свет.

Ветер ласково гладил атласную грудь моря; солнце грело ее своими горячими лучами, и море, дремотно вздыхая под нежной силой этих ласк, насыщало жаркий воздух соленым ароматом испарений. Зеленоватые волны, взбегая на желтый песок, сбрасывали на него белую пену, она с тихим звуком таяла на горячем песке, увлаж-

няя его.

Узкая, длинная коса походила на огромную башню, упавшую с берега в море. Вонзаясь острым шпилем в безграничную пустыню играющей солнцем воды, она теряла свое основание вдали, где знойная мгла скрывала землю. Оттуда, с ветром, пролетал тяжелый запах, непонятный и оскорбительный здесь, среди чистого моря, под голубым, ясным кровом неба.

В песок косы, усеянной рыбьей чешуей, были воткнуты деревянные колья, на них висели невода, бросая от себя паутину теней. Несколько больших лодок и одна маленькая стояли в ряд на песке, волны, взбегая на берег, точно манили их к себе. Багры, весла, корзины и бочки беспорядочно валялись на косе, среди них возвышался шалаш, собранный из прутьев ивы, лубков и рогож. Перед входом в него на суковатой палке торчали, подошвами в небо, валяные сапоги. И над всем этим хаосом возвышался длинный шест с красной тряпкой на конце, трепетавшей от ветра.

В тени одной из лодок лежал Василий Легостев, караульщик на косе, передовом посте рыбных промыслов Гребенщикова. Лежал он на груди и, поддерживая голову ладонями рук, пристально смотрел в даль моря, к едва видной полоске бе-

рега. Там, на воде, мелькала маленькая черная точка, и Василию было приятно видеть, как она все увеличивается, приближась к нему.

Прищуривая глаза от яркой игры солнечных лучей на волнах, он довольно улыбался: это едет Мальва. Она приедет, захохочет, грудь ее станет соблазнительно колыхаться, обнимет его мягкими руками, расцелует и звонко, вспугивая чаек, заговорит о новостях там, на берегу. Они с ней сварят хорошую уху, выпьют водки, поваляются на песке, разговаривая и любовно балуясь, потом, когда стемнеет, вскипятят чайник чая, напьются со вкусными баранками и лягут спать… Так бывает каждое воскресенье, каждый праздник на неделе. Рано утром он повезет ее на берег по сонному еще морю, в предрассветном свежем сумраке. Она, дремля, будет сидеть на корме, а он грести и смотреть на нее. Смешная она бывает в то время, смешная и милая, как сытая кошка. Может быть, она соскользнет с лавочки на дно лодки и уснет там, свернувшись в клубок. Она часто делает так…

В этот день даже чайки истомлены зноем. Они сидят рядами на песке, раскрыв клювы и опустив крылья, или же лениво качаются на волнах без криков, без обычного хищного оживления.

Василию показалось, что в лодке не одна Мальва. Неужели опять Сережка привязался к ней? Василий тяжело повернулся на песке, сел и, прикрыв глаза ладонью, с тревогой в сердце стал рассматривать, кто еще там едет? Мальва сидит на корме и правит. Гребец — не Сережка, гребет он неумело, с Сережкой Мальва не стала бы править.

— Эй! — нетерпеливо крикнул Василий.

Чайки на песке дрогнули и насторожились.

— Эй-эй… — донесся с лодки звонкий голос Мальвы.

— С кем ты?

В ответ донесся смех.

— Чертовка! — негромко выругался Василий и сплюнул. Ему очень хотелось знать, кто это едет там; свертывая папиросу, он упорно смотрел в затылок и спину гребца. Звучный плеск воды под ударами весел раздается в воздухе, песок скрипит под босыми ногами караульщика.

— Это кто с тобой? — крикнул он, когда различил знакомую ему улыбку на красивом лице Мальвы.

— А вот погоди, узнаешь! — со смехом отозвалась она.

Гребец обернулся лицом к берегу и, тоже сме-

ясь, взглянул на Василия.

Караульщик нахмурил брови, вспоминая, — кто этот как будто знакомый ему парень?

— Ударь сильней! — скомандовала Мальва.

Лодка с размаху почти до половины всползла на песок вместе с волной и, покачнувшись набок, стала, а волна скатилась назад, в море. Гребец выскочил на берег и сказал:

— Здравствуй, отец!

— Яков! — подавленно воскликнул Василий, более изумленный, чем обрадованный.

Они обнялись и поцеловались по три раза в губы и щеки; на лице Василия удивление смешалось с радостью и смущением.

— То-то я смотрю… и что-то тово оно, — сердце зудит… Ах, ты, — как это ты? На-ко! А я смотрю — Сережка? Нет, вижу, не Сережка! Ан — это ты!

Василий одной рукой гладил бороду, а другой махал в воздухе. Ему хотелось взглянуть на Мальву, но в его лицо уставились улыбавшиеся глаза сына, и ему было неловко от их блеска. Чувство довольства собой за то, что у него такой здоровый, красивый сын, боролось в нем с чувством смущения от присутствия любовницы. Он переступал с ноги на ногу, стоя перед Яковом, и один за другим кидал ему вопросы, не дожидаясь ответа на них.

В голове у него все как-то спуталось, и особенно нехорошо стало ему, когда раздались насмешливые слова Мальвы:

— Да ты не юли уж… с радости-то! Веди его в шалаш да угощай…

Он обернулся к ней. На губах ее играла усмешка, незнакомая ему, и вся она — круглая, мягкая и свежая, как всегда, в то же время была какая-то новая, чужая. Она переводила свои зеленоватые глаза с отца на сына и грызла арбузные семечки белыми мелкими зубами. Яков тоже с улыбкой рассматривал их, и несколько неприятных Василию секунд все трое молчали.

— Я сейчас! — вдруг заторопился Василий, двигаясь к шалашу. — Вы уходите от солнца-то, а я наберу воды, пойду… уху будем варить! Я тебя, Яков, та-акой ухой накормлю! Вы тут тово… располагайтесь, я сию минуту…

Он схватил с земли у шалаша котелок, быстро пошел куда-то в невода и скрылся в серой массе их складок.

Мальва и его сын тоже пошли к шалашу.

— Ну вот, молодец хороший, я доставила тебя к отцу, — говорила Мальва, искоса оглядывая коренастую фигуру Якова.

Он повернул к ней свое лицо в кудрявой темно-

русой бороде и, блеснув глазами, сказал:

— Да, приехали… А хорошо тут, — море-то какое!

— Широкое море… Ну, что же, — сильно постарел отец?

— Нет, ничего. Я думал — он седее, а у него еще мало седины-то… И крепкий…

— Сколько, говоришь, время вы не видались?

— Годов пять, чай… Как уходил он из деревни — мне в ту пору семнадцатый шел…

Они вошли в шалаш, где было душно, а от рогож пахло соленой рыбой, и сели там: Яков — на толстый обрубок дерева, Мальва — на кучу кулей. Между ними стояла перерезанная поперек бочка, дно ее служило столом. Усевшись, они молча, пристально посмотрели друг на друга.

— Стало быть, здесь работать хочешь? — спросила Мальва.

— Да вот… не знаю… Коли найдется что — буду.

— У нас найдется! — уверенно пообещала Мальва, ощупывая его своими зелеными, загадочно прищуренными глазами.

Он не смотрел на нее, вытирая рукавом рубахи потное лицо.

Вдруг она засмеялась.

— Мать-то, чай, отцу наказы да поклоны с тобой прислала?

Яков взглянул на нее, нахмурился и кратко сказал:

— Известно… А что?

— Ничего!

Смех ее не нравился Якову, — он точно поддразнивал его. Парень отвернулся от этой женщины и вспомнил наказы матери.

Проводив его за околицу деревни, она оперлась на плетень и быстро говорила, часто моргая сухими глазами:

— Скажи ты ему, Яша… Христа ради, скажи ты ему — отец, мол!.. Мать-то одна, мол, там… пять годов прошло, а она все одна! Стареет, мол!.. скажи ты ему, Яковушка, ради господа. Скоро старухой мать-то будет… одна все, одна! В работе все. Христа ради, скажи ты ему…

И она безмолвно заплакала, спрятав лицо в передник.

Тогда Якову не было жалко ее, а теперь стало жалко… Взглянув на Мальву, он сурово повел бровями.

— Ну, вот и я! — воскликнул Василий, являясь в шалаш с рыбой в одной руке и ножом — в другой.

Он уже справился со своим смущением, глубоко скрыв его внутри себя, и теперь смотрел на них спокойно, только в движениях его явилась несвойственная ему суетливость.

— Вот сейчас запалю я костер… и приду к вам… поговорим! Ах, Яков, а?

И он опять ушел из шалаша.

Мальва, не переставая грызть семечки, бесцеремонно разглядывала Якова, а он старался не смотреть на нее, хотя ему этого очень хотелось.

Потом, так как молчание стесняло его, он сказал вслух:

— А котомку-то я в лодке оставил, — пойти взять!

Неторопливо поднявшись с места, он вышел, на смену ему в шалаш явился Василий и, наклонясь к Мальве, заговорил торопливо и сердито:

— Ну, на что ты-то приехала с ним? Что я про тебя скажу ему? Кто ты мне?

— Приехала, да и все! — коротко сказала Мальва.

— Эх, ты… несообразная баба! Как я теперь буду? Так прямо ему в глаза и тово… сразу?.. У меня жена дома-то! Мать ему… Должна ты была это сообразить!

— Очень нужно мне соображать! Боюсь я его,

что ли? Али тебя? — спросила она, пренебрежительно щуря свои зеленые глаза. — А как ты давеча завертелся перед ним! То-то смешно мне было!

— Смешно тебе! А я как буду?

— А ты думал бы об этом раньше!

— Да я знал, что ли, что его так вот вдруг выбросит сюда из моря-то?

Скрипел песок под ногами Якова, и они оборвали свой разговор. Яков принес легонькую котомку, бросил ее в угол и искоса, недобрыми глазами, взглянул на женщину.

Она с увлечением щелкала семечки, а Василий присел на обрубок, потер руками колени и с улыбкой заговорил:

— Так вот ты, значит, и явился… как это ты надумал?

— Да так… Писали мы тебе…

— Когда? Я никакого письма не получал!..

— Ну? А мы писали…

— Потерялось, видно, письмо-то, — огорчился Василий. — Ишь ты, черт его возьми… а? Когда нужно — оно и потерялось…

— Стало быть, ты не знаешь наших-то делов? — спросил Яков, недоверчиво взглянув на отца.

— Да откуда? Не получал я письма!

Тогда Яков рассказал ему, что лошадь у них пала, хлеб весь они съели еще в начале февраля; заработков не было. Сена тоже не хватило, корова чуть с голоду не сдохла. Пробились кое-как до апреля, а потом решили так: ехать Якову после пахоты к отцу, на заработки, месяца на три. Об этом они написали ему, а потом продали трех овец, купили хлеба да сена, и вот Яков приехал.

— Вот оно что! — воскликнул Василий. — Таак… А… как же вы… денег я вам посылал…

— Велики ли деньги? Избу чинили… Марью замуж выдали… Плуг я купил… Ведь пять годов… время-то прошло!

— Да-а! Не хватило, значит? Такое дело… А ухато у меня сбежит! — Он встал и вышел вон.

Присев на корточки перед костром, над которым висел закипавший котелок, сбрасывая пену в огонь, Василий задумался. Все, что рассказал ему сын, не особенно сильно тронуло его, но породило в нем неприятное чувство к жене и Якову. Сколько он им за пять лет денег переслал, а они все-таки не справились с хозяйством. Если бы не Мальва, он сказал бы Якову кое-что. Самовольно, без отцова разрешения из деревни ушел — хватило ума на это, — а с хозяйством справиться не мог! Хозяйство, о котором Василий, живя до сего

дня жизнью приятной и легкой, вспоминал очень редко, теперь вдруг напомнило ему о себе, как о бездонной яме, куда он пять лет бросал деньги, как о чем-то лишнем в его жизни, не нужном ему. Он вздохнул, мешая ложкой уху.

В блеске солнца маленький желтоватый огонь костра был жалок, бледен. Голубые, прозрачные струйки дыма тянулись от костра к морю, навстречу брызгам волн. Василий следил за ними и думал о том, что теперь ему хуже будет жить, не так свободно. Наверное, Яков уже догадался, кто эта Мальва…

А она сидела в шалаше, смущая парня задорными, вызывающими глазами, в которых, не исчезая, играла улыбка.

— Чай, поди-ка, невесту в деревне-то оставил? — вдруг сказала она, заглядывая в лицо Якова.

— Может, и оставил, — неохотно ответил тот.

— Красивая, что ли? — небрежно спросила она.

Яков промолчал.

— Что молчишь?.. Лучше меня али нет?

Он посмотрел ей в лицо, не желая этого. Щеки у нее были смуглые, полные, губы сочные, — полураскрытые задорной улыбкой, они вздрагивали. Розовая ситцевая кофта как-то особенно ловко

сидела на ней, обрисовывая круглые плечи и высокую, упругую грудь. Но не нравились ему ее лукаво прищуренные, зеленые, смеющиеся глаза.

— Зачем ты так говоришь? — вздохнув, сказал он просящим голосом, хотя желал говорить с ней строго.

— А как надо говорить? — засмеялась она.

— И смеешься тоже… чему?

— Над тобой смеюсь…

— Ну, что я тебе? — обиженно спросил он и снова опустил глаза под ее взглядом.

Она не ответила.

Яков догадывался о том, кто она отцу, и это мешало ему свободно говорить с ней. Догадка не поражала его: он слыхал, что на отхожих промыслах люди сильно балуются, и понимал, что такому здоровому человеку, как его отец, без женщины трудно было бы прожить столько времени. Но все-таки неловко и перед ней, и перед отцом. Потом он вспоминал свою мать — женщину истомленную, ворчливую, работавшую там, в деревне, не покладая рук…

— Готова ушица! — объявил Василий, являясь в шалаш. — Достань-ка ложки, Мальва!

Яков взглянул на отца и подумал:

«Видно, часто она у него бывает, коли знает, где ложки лежат!»

Взяв ложки, она сказала, что надо пойти помыть их и что в корме лодки у нее есть водка.

Отец и сын посмотрели вслед ей и, оставшись один на один, помолчали.

— Ты с ней как встретился? — спросил Василий.

— А я спрашивал про тебя в конторе, и она была там… И говорит: «Чем, говорит, идти пешком по песку, поедем в лодке, я тоже к нему». Вот и приехали.

— Да-а… А я, бывало, думаю: «Каков-то теперь Яков?»

Сын добродушно усмехнулся в лицо отца, и эта усмешка придала Василию храбрости.

— А… ничего бабенка-то?

— Ничего, — неопределенно сказал Яков, моргнув глазами.

— Никакого лешего не поделаешь, брат ты мой! — воскликнул Василий, взмахивая руками. — Терпел я сначала — не могу! Привычка… Я женатый человек. Опять же и одежду она починит и другое прочее… И вообще… эхма! От женщины, как от смерти, никуда не уйдешь! — искренно закончил он свое объяснение.

— Мне что? — сказал Яков. — Это твое дело, я тебе не судья.

А про себя думал:

«Станет тебе такая штаны чинить...»

— Опять же мне всего сорок пять лет... Расхода на нее немного, не жена она мне... — говорил Василий.

— Конечно, — соглашался Яков и думал: «А все, чай, треплет карман-то!»

Пришла Мальва с бутылкой водки и связкой кренделей в руках; сели есть уху. Ели молча, кости обсасывали громко и выплевывали их изо рта на песок к двери. Яков ел много и жадно; это, должно быть, нравилось Мальве: она ласково улыбалась, глядя, как отдуваются его загорелые щеки, быстро двигаются влажные, крупные губы. Василий ел плохо, но старался показать, что он очень занят едой, — это нужно было ему для того, чтоб без помехи, незаметно для сына и Мальвы, обдумать свое отношение к ним.

Ласковую музыку волн перебивали хищные крики чаек. Зной становился менее жгучим, уже иногда в шалаш залетала прохладная струя воздуха, пропитанного запахом моря.

После вкусной ухи и водки глаза Якова осовели. Он начал глуповато улыбаться, икать, позевы-

вать и смотреть на Мальву так, что Василий нашел нужным сказать ему:

— Ты приляг тут, Яшутка, пока до чаю… а там мы тебя разбудим.

— Это можно-о… — согласился Яков, сваливаясь на кули. — А… вы куда? Ха-ха!

Василий, смущенный его смехом, торопливо вышел, а Мальва поджала губы, сдвинула брови и ответила Якову:

— А куда мы пойдем — это не твое дело! Ты что? Ты еще нашему богу — бя! Вот ты что, паренек!..

— Я? Ладно! — воскликнул Яков вслед ей. — Па-а-го-ди… Я тебе покажу! Ишь ты какая…

Он поворчал еще немного и заснул с пьяной, сытой улыбкой на раскрасневшемся лице.

Василий воткнул в песок три багра, соединил их верхние концы, набросил на них рогожу и, так устроив тень, лег в ней, закинув руки за голову, глядя на небо. Когда Мальва опустилась на песок рядом с ним, он повернул к ней свое лицо, и на нем она увидела обиду и недовольство.

— Что — мало рад сыну-то? — спросила она, засмеявшись.

— Вон он… смеется надо мной… из-за тебя!.. — угрюмо сказал Василий.

— Ну? Из-за меня? — лукаво удивилась она.

— А как же?

— Ах ты, жалкенький! Что же теперь? Не ходить к тебе, что ли? а? Ну — не буду!..

— Ишь ты, ведьма какая! — укорил ее Василий. — Эх вы, люди! Он смеется, ты тоже… а вы мне самые близкие! За что же смеетесь? Черти! — Он отвернулся от нее и замолчал.

Мальва, обняв руками колени, тихонько покачивала корпусом, рассматривая зелеными глазами сверкающее, веселое море, и улыбалась одною из тех торжествующих улыбок, которых так много у женщины, понимающей силу своей красоты.

Парусное судно скользило по воде, как большая, неуклюжая птица с серыми крыльями. Оно было далеко от берега и шло еще дальше, туда, где море и небо сливалось в синюю бесконечность.

— Что молчишь? — спросил Василий.

— Думаю, — сказала Мальва.

— Про что это?

— Так, — повела она бровями и, помолчав, добавила: — Сын у тебя — молодец парень…

— А тебе что? — ревниво воскликнул Василий.

— Мало ли что…

— Ты — смотри! — окинул он ее суровым взглядом полным подозрения. — Ты не дури! Я хотя и

смирный, но ты меня не дразни, — да!

Он стиснул зубы и сжал кулаки, продолжая:

— Ты сегодня сразу, как приехала, играть начала что-то... Я еще не понимаю этого... ну, смотри, пойму, неладно тебе будет! И улыбочки у тебя этакие... и все такое... Я тоже с вашей сестрой умею обращаться...

— А ты меня, Вася, не пугай... — равнодушно и не глядя на него, попросила она.

— То-то! Не шути же...

— А ты уж не стращай...

— Я и взбучку дам, коли баловать начнешь... — грозил Василий, озлобляясь.

— Бить станешь? — обернулась она к нему, с любопытством глядя в его взволнованное лицо.

— А что ты за графиня? И вздую...

— Да я тебе что — жена, что ли? — вразумительно и спокойно спросила Мальва и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Привыкши бить жену на за что ни про что, ты и со мной так же думаешь? Ну, нет. Я сама себе барыня и никого не боюсь. А ты вон — сына боишься: давеча как заюлил перед ним — стыд! А еще грозишь мне!

Она презрительно качнула головой и замолчала. Ее холодные, пренебрежительные слова подавили озлобление Василия. Никогда еще он

не видал ее такой красивой.

— Разошлась, раскаркалась… — молвил он, и злясь, и любуясь ею.

— И еще скажу тебе вот что. Ты Сережке бахвалился, что я без тебя, как без хлеба, жить не могу! Напрасно ты это… Может, я не тебя люблю и не к тебе хожу, а люблю я только место это… — Она широко повела рукой вокруг себя. — Может, мне то нравится, что здесь пусто — море да небо и никаких подлых людей нет. А что ты тут — это все равно мне… Это вроде платы за место… Сережка был бы — к нему бы я ходила, сын твой будет — к нему пойду… А еще лучше, кабы вас вовсе никого не было… обрыдли вы мне!.. Если я с моей красотой захочу — я всегда себе мужика, какого мне нужно, выберу…

— Вот ка-ак?! — свирепо зашипел Василий и вдруг схватил ее за горло. — Так вот что-о?

Он встряхивал ее, но она не отбивалась, хотя лицо ее краснело и глаза наливались кровью. Она просто положила обе свои руки на его руку, давившую ее горло, и упорно смотрела ему в лицо.

— Так в тебе вон что есть? — хрипел Василий, все свирепея. — А — молчала, шкура… а — обнимала… а — ласки мне… я ж тебе дам!

Он пригнул ее к земле и с наслаждением уда-

рил по шее раз, два, — тяжелыми ударами крепко стиснутого кулака. Приятно было ему, когда кулак с размаху падал на ее упругую шею.

— На... Что, змея? — с торжеством спросил он ее и отшвырнул от себя.

Она, не охнув, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ее зеленые глаза смотрели на него из-под ресниц с холодной ненавистью. Но он, отдуваясь от возбуждения и приятно удовлетворенный исходом злобы, не видал ее взгляда, а когда с торжеством взглянул на нее — она улыбалась, — дрогнули ее полные губы, вспыхнули глаза, на щеках явились ямки. Василий изумленно посмотрел на нее.

— Что ты, — черт! — грубо дернув ее за руку, крикнул он.

— Васька!.. Это ты бил меня? — полушепотом спросила она.

— Ну, а кто? — Ничего не понимая, он смотрел на нее и не знал, что ему делать. Не ударить ли ее еще раз? Но в нем уже не было злобы, и рука его не поднималась на нее.

— Стало быть, ты меня любишь? — снова спросила она, и от ее шепота ему стало жарко.

— Ладно, — угрюмо сказал он. — Так ли тебя

надо!

— А ведь я думала, что ты уже не любишь меня… думаю: «Вот теперь сын к нему приехал… прогонит он меня…»

Она засмеялась странным, слишком громким смехом.

— Дуреха! — сказал Василий, тоже невольно усмехаясь. — Сын, — что он мне за уставщик?

Ему стало совестно перед ней и жалко ее, но, вспомнив ее речи, он заговорил строго:

— Сын тут ни при чем… А что я ударил тебя — сама виновата, зачем дразнила?

— Так ведь я это нарочно, — пытала тебя… — И она прижалась к нему плечом.

— Пытала! Чего пытать? Вот и допыталась.

— Ничего! — уверенно сказала Мальва, щуря глаза, — я не сержусь — ведь любя побил? А я тебе за это заплачу… — Она в упор посмотрела на него и, понизив голос, повторила: — Ох, как заплачу!

Василий в этих словах услыхал обещание, приятное ему, оно сладко волновало; улыбаясь, он спросил:

— А как?.. Ну-ка?!

— Увидишь, — спокойно сказала Мальва, но губы у нее дрогнули.

— Эх ты, милушка моя! — воскликнул Василий,

крепко стиснув ее руками влюбленного. — А знаешь, как побил я тебя — дороже ты мне стала! Право! Роднее… али как?

Чайки носились над ними. Ласковый ветер с моря приносил брызги волн почти к их ногам, а неугомонный смех моря все звучал…

— Эх, дела наши! — свободно вздохнул Василий, задумчиво лаская женщину, прильнувшую к нему. — И как все устроено на свете: что грешно, то и сладко. Ты вот ничего не понимаешь — а я иной раз задумаюсь про жизнь — даже страшно станет! Особливо ночью… не спится когда… Смотришь: перед тобой море, над тобой — небо, кругом темно таково, жутко… а ты тут — один! И станешь тогда сам для себя таким ма-аленьким, маленьким… земля под тобой шатается, и никого-то на ней, кроме тебя, нет. Хоть бы ты была в ту пору… все-таки двое…

Мальва, закрыв глаза, лежала у него на коленях и молчала. Грубоватое, но доброе, коричневое от солнца и ветра лицо Василия наклонилось над ней, его большая выцветшая борода щекотала ее шею. Женщина не двигалась, только грудь ее вздымалась высоко и ровно. Глаза Василия то блуждали в море, то останавливались на этой груди, близкой к нему. Он стал целовать ее в губы,

не торопясь, чмокая так громко, точно горячую и жирно намасленную кашу ел.

Часа три они провели так; когда солнце начало спускаться в море, Василий сказал скучным голосом:

— Ну, пойду чай кипятить... скоро гость проснется!

Мальва ленивым движением разнежившейся кошки отодвинулась в сторону, он неохотно встал и пошел к шалашу. Женщина, чуть приподняв ресницы, посмотрела вслед ему и вздохнула, как вздыхают люди, сбросив ношу, утомившую их.

Потом они, трое, сидели вокруг костра и пили чай.

Солнце окрашивало море в живые краски заката, зеленоватые волны блестели пурпуром и жемчугом.

Василий, прихлебывая чай из белой глиняной кружки, расспрашивал сына о деревне, сам вспоминал о ней. Мальва, не вмешиваясь, слушала их медленные речи.

— Живут, стало быть, мужички?

— Живут как-никак... — отвечал Яков.

— Нашему брату — много ли надо? Избу, да хлебушка вдоволь, да в праздник водки стакан... Но и этого нет... Разве бы я ушел сюда, ежели бы

можно было кормиться дома-то? В деревне я сам себе хозяин, всем равный человек, а здесь вот — слуга…

— Зато здесь сытнее и работа легче…

— Ну, этого тоже не скажи! Бывает так, что все кости ноют. Опять же здесь чужому работаешь, а там — самому себе.

— А выработаешь больше, — спокойно возражал Яков.

Внутренне Василий соглашался с доводами сына: в деревне и жизнь и работа тяжелее, чем здесь; но ему почему-то не хотелось, чтобы Яков знал это. И он сурово сказал:

— Ты считал заработок-то здешний? В деревне, брат…

— Как в яме: и темно, и тесно, — усмехнулась Мальва. — А особенно бабье житье — одни слезы.

— Бабье житье одинаково везде… и свет везде один, одно солнце!.. — нахмурился Василий, взглянув на нее.

— Ну это ты врешь! — воскликнула она, оживляясь. — Я в деревне-то хочу не хочу, а должна замуж идти. А замужем баба — вечная раба: жни, да пряди, за скотом ходи, да детей роди… Что же остается для нее самой? Одни мужевы побои да

ругань…

— Не всё побои, — перебил ее Василий.

— А здесь я ничья, — не слушая его, говорила она. — Как чайка, куда захочу, туда и полечу! Никто мне дороги не загородит… Никто меня не тронет!..

— А как тронет? — усмехаясь, напоминающим тоном спросил Василий.

— Ну, — я уж заплачу! — тихо сказала она, и разгоревшиеся глаза ее погасли.

Василий снисходительно засмеялся.

— Эх ты, — бойка ты, да слаба! Бабьи слова говоришь. В деревне баба — нужный для жизни человек… а здесь — так она… для баловства только живет… — Помолчав, он добавил: — Для греха.

Яков, когда их разговор оборвался, сказал, задумчиво вздохнув:

— И конца, кажись, нет этому морю…

Все трое молча взглянули в пустыню перед ними.

— Ежели бы все это земля была! — воскликнул Яков, широко размахнув рукой. — Да чернозем бы! Да распахать бы!

— Вон что! — добродушно засмеялся Василий, одобрительно взглянув в лицо сына, даже по-

красневшее от силы выраженного желания. Ему приятно было слышать в словах сына любовь к земле, и он подумал, что эта любовь, быть может, скоро и настоятельно позовет Якова от соблазнов вольной промысловой жизни назад в деревню. А он останется здесь с Мальвой — и все пойдет по-старому.

— Это, Яков, хорошо ты сказал! Крестьянину так и следует. Крестьянин землей и крепок: докуда он на ней — жив, сорвался с нее — пропал! Крестьянин без земли — как дерево без корня: в работу оно годится, а прожить долго не может — гниет! И красоты лесной нет в нем — обглоданное, обстроганное, невидное!.. Это ты, Яков, очень хорошие слова сказал.

Море, принимая солнце в свои недра, встречало его приветливой музыкой плеска волн, разукрашенных его прощальными лучами в дивные, богатые оттенками цвета. Божественный источник света, творящего жизнь, прощался с морем красноречивой гармонией своих красок, чтобы далеко от трех людей, следивших за ним, разбудить сонную землю радостным блеском лучей восхода.

— У меня душа тает, когда я смотрю, как солнышко заходит, право, ей-богу! — сказал Василий

Мальве.

Она промолчала. Голубые глаза Якова улыбались, блуждая в дали моря. Долго все трое задумчиво смотрели туда, где гасли последние минуты дня. Пред ними тлели уголья костра. Сзади ночь развертывала по небу свои тени. Желтый песок темнел, чайки исчезли, — все вокруг становилось тихим, мечтательно ласковым… И даже неугомонные волны, взбегая на песок косы, звучали не так весело и шумно, как днем.

— Что я сижу? — сказала Мальва. — Надо идти.

Василий поежился и взглянул на сына.

— Куда торопиться? — невольно пробормотал он. — Погоди, — вот месяц взойдет…

— А что — месяц? Я и так не боюсь, — не в первый раз мне ночью отсюда уходить!

Яков взглянул на отца и прищурил глаза, скрывая усмешку, потом посмотрел на Мальву, — она тоже смотрела на него, — и ему стало неловко.

— Ну, что ж! Иди! — разрешил Василий, недовольный и скучный.

Она встала, простилась и медленно пошла вдоль берега косы; волны, подкатываясь ей под ноги, точно заигрывали с ней. В небе трепетно вспыхивали звезды — его золотые цветы. Яркая кофточка Мальвы, удаляясь от Василия и его сы-

на, провожавших ее глазами, линяла в сумраке.

Милый мой... скорей иди!

Да-ах! Прижми-ись к моей груди! —

запела Мальва высоким и резким голосом.

Василию показалось, что она остановилась и ждет. Он с ожесточением плюнул, думая: «Это она нарочно, дразнит меня, дьяволица!»

— Ишь ты! Поет! — усмехнулся Яков.

Она была для их глаз только серым пятном в сумраке.

Не-е жа-алей моих грудей,

Двоих бе-елых лебедей! —

разносился над морем ее голос.

— Ишь как! — воскликнул Яков и всем телом потянулся туда, откуда неслись соблазнительные слова.

— Значит, не сладил ты там с хозяйством-то? — раздался суровый голос Василия.

Яков, недоумевая, взглянул на него и принял прежнюю позу.

Утопая в шуме волн, до их слуха доносились отдельные, разорванные слова задорной песни:

...Ах... спать не в мочь

...Одной... в эту ночь!

— Жарко! — тоскливо воскликнул Василий, возясь на песке. — Ночь ведь… а жарко! Экая проклятая сторона…

— Это — песок… нагрелся за день-то… — отворотясь в сторону и как будто запинаясь, сказал Яков.

— Ты чего?.. Смеешься никак? — сурово спросил его отец.

— Я? — невинно спросил Яков. — Чему это?

— То-то, мол, ровно бы нечему…

Они замолчали.

А сквозь шум волн до них долетали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики.

Прошло две недели, снова наступило воскресенье, и снова Василий Легостев, лежа на песке около своего шалаша, смотрел в море, ждал Мальву. И пустынное море смеялось, играя отраженным солнцем, и легионы волн рождались, чтоб взбежать на песок, сбросить на него пену своих грив, снова скатиться в море и растаять в нем. Все было такое же, как и четырнадцать дней тому назад. Только Василий, прежде ожидавший свою любовницу со спокойной уверенностью, сегодня ждал ее с нетерпением. В прошлое воскресенье она не была, а сегодня должна быть! Он не сомневался, что она приедет, но ему хотелось

скорее видеть ее. Яков не будет мешать сегодня: третьего дня он приезжал за неводом вместе с другими рабочими и сказал, что в воскресенье с утра отправится в город купить себе рубах. Он нанялся на ватаги по пятнадцати рублей в месяц, уже несколько раз ездил на ловлю рыбы и теперь смотрел бойко и весело. От него, как от всех рабочих, пахло соленой рыбой, и, как все, он был грязный и рваный. Василий вздохнул при мысли о сыне.

«Как бы он здесь уцелел… избалуется… тогда, пожалуй, не захочет уж назад в деревню идти… И придется мне самому…»

Кроме чаек, в море никого не было. Там, где оно отделялось от неба тонкой полоской песчаного берега, иногда появлялись на этой полоске маленькие, черные точки, двигались по ней и исчезали. А лодки все не было, хотя уже лучи солнца падают в море почти отвесно. В это время Мальва, бывало, уже давно здесь.

Две чайки схватились в воздухе и дерутся так, что перья летят от них. Ожесточенные крики рвут веселую песню волн, такую постоянную, так гармонично слитую с торжественной тишиной сияющего неба, что она кажется звуком радостной игры солнечных лучей на равнине моря.

Чайки падают в воду, бьют друг друга, яростно вскрикивая от боли и злобы, и снова вздымаются в воздух, преследуя друг друга… А подруги их — целая стая, — как бы не видя этой борьбы, жадно ловят рыбу, кувыркаясь в зеленоватой, прозрачной, играющей воде.

Море — пустынно. Не являлось в нем там, далеко у берега, знакомое темное пятно…

— Не едешь? — вслух сказал Василий. — Ну — и не надо! А ты думала как?..

И он презрительно сплюнул по направлению к берегу.

Море смеялось.

Василий встал и пошел в шалаш, намереваясь варить себе обед, но почувствовал, что есть ему не хочется, воротился на старое место и снова лег там.

«Хоть бы Сережка приехал! — мысленно воскликнул он и заставил себя думать о Сережке. — Это — яд-парень. Надо всеми смеется, на всех лезет с кулаками. Здоровый, грамотный, бывалый… но пьяница. С ним весело… Бабы души в нем не чают, и — хотя он недавно появился — все за ним так и бегают. Одна Мальва держится поодаль от него… Не едет вот. Экая окаянная бабенка! Может, она рассердилась на него за то,

что он ударил ее? Да разве ей это в новинку? Чай, как били… другие! Да и он теперь задаст ей…»

Так, думая то о сыне, то о Сережке и больше всего о Мальве, Василий возился на песке и все ждал. Беспокойное настроение незаметно перерождалось у него в темную подозрительную мысль, но он не хотел остановиться на ней. И, скрывая от себя свое подозрение, он провел время до вечера, то вставая и расхаживая по песку, то снова ложась. Уже море потемнело, а он все еще рассматривал его даль, ожидая лодку.

Мальва не приехала в этот день.

Ложась спать, Василий уныло ругал свою службу; не позволяющую ему отлучиться на берег, а засыпая, он часто вскакивал, — сквозь дрему ему слышалось, что где-то далеко плещут весла. Тогда он прикладывал руку козырьком к своим глазам и смотрел в темное, мутное море. На берегу, на промысле, горели два костра, а в море никого не было.

— Ладно же, ведьма! — грозил он. — А потом заснул тяжелым сном.

А на промысле вот что произошло в этот день.

Яков встал рано утром, когда солнце еще не палило так жарко и с моря веяло бодрой свежестью. Он вышел из барака к морю умываться и,

подойдя к берегу, увидал Мальву. Она сидела на корме баркаса, причаленного к берегу, и, спустив за борт голые ноги, расчесывала мокрые волосы.

Яков остановился и стал смотреть на нее любопытными глазами.

Ситцевая кофточка, не застегнутая на груди, спустилась с одного плеча, а плечо было такое белое, вкусное.

В корму баркаса били волны, Мальва то поднималась над морем, то опускалась так низко, что голые ее ноги почти касались воды.

— Купалась, что ли? — крикнул Яков.

Она обернула к нему лицо, мельком взглянула на него и, снова расчесывая волосы, ответила:

— Купалась… Что рано поднялся?

— Ты еще раньше…

— А я тебе что за пример?

Яков промолчал.

— По моей-то манере будешь жить — трудно будет тебе голову носить! — сказала она.

— О? Ишь ты, какая страшная! — усмехнулся Яков и, присев на корточки, стал умываться.

Черпая пригоршнями воду, он плескал ее себе на лицо и покряхтывал, ощущая свежесть. Потом, утираясь подолом рубахи, спросил Мальву:

— Что ты меня стращаешь все?

— А ты что на меня глаза пялишь?

Яков не помнил, чтобы смотрел на нее больше, чем на других промысловых женщин, но теперь вдруг сказал ей:

— Да ежели ты… вон какая сдобная!

— Вот отец узнает эти твои замашки — он тебе шею-то насдобит!

Она лукаво и задорно смотрела ему в лицо.

Яков засмеялся и полез на баркас. Он опять-таки не понимал, про какие его замашки она говорит, но коли она говорит, так, значит, он поглядывал на нее зорко. Ему стало приятно, весело.

— А что отец? — говорил он, идя к ней по борту баркаса. — Что ты — купленная его, что ли?

Усевшись рядом с ней, он уставился на ее голое плечо, полуобнаженную грудь, на всю ее фигуру — свежую и крепкую, пахнувшую морем.

— Вон ты, — белуга какая! — с восхищением воскликнул он, подробно осмотрев ее.

— Не про тебя! — кратко заявила она, не глядя на него, не оправляя своего откровенного костюма.

Яков вздохнул.

Пред ними необозримо расстилалось море в лучах утреннего солнца. Маленькие игривые волны, рождаемые ласковым дыханием ветра, тихо

бились о борт. Далеко в море, как шрам на атласной груди его, виднелась коса. С нее в мягкий фон голубого неба вонзался шест тонкой черточкой, и было видно, как треплется по ветру тряпка.

— Да, паренек! — заговорила Мальва, не глядя на Якова. — Вкусна я, да не про тебя… А и никем я не купленная, и отцу твоему не подвластна. Живу сама про себя… Но ты ко мне не лезь, потому что я не хочу между тобой и Васильем стоять… Ссоры не хочу и разной склоки… Понял?

— Да я что? — изумился Яков. — Я ведь тебя не трогаю…

— Тронуть ты меня не смеешь! — сказала Мальва.

Она так это сказала, с таким пренебрежением к Якову, что в нем был обижен и мужчина и человек. Задорное, почти злое чувство охватило его, глаза вспыхнули.

— О? Не смею? — воскликнул он, подвигаясь к ней.

— Не смеешь!

— Н-ну? А как трону?

— Тронь!

— А что будет?

— А я дам тебе по затылку, ты и кувырнешься в воду.

— А ну, дай!

— А — тронь!

Он окинул ее горящими глазами и вдруг крепко охватил ее сбоку сильными лапами, сдавив ей грудь и спину. От прикосновения ее тела, горячего и крепкого, он вспыхнул весь и горло его сжалось от какого-то удушья.

— Вот! Ну… бей! Ну… что?

— Пусти, Яшка! — спокойно сказала она, делая попытки освободиться из его вздрагивавших рук.

— А по затылку хотела?

— Пусти! Смотри, худо будет!

— Ну… не стращай ты меня! Эх ты… малина!

Он прижался к ней и впился толстыми губами в ее румяную щеку.

Она задорно захохотала, крепко схватила Якова за руки и вдруг, сильным движением всего своего тела, рванулась вперед. В объятиях друг друга они тяжелой массой свались в воду и скрылись в пене и брызгах. Потом на взволнованной воде появилась мокрая голова Якова с испуганным лицом, а рядом с ней вынырнула Мальва. Яков, отчаянно взмахивая руками, разбивал вокруг себя воду, выл и рычал, а Мальва с громким хохотом плавала вокруг него, плеская ему в лицо

пригоршни соленой воды, ныряла, уклоняясь от широких взмахов его лап.

— Черт! — закричал Яков, фыркая. — Я утону! Будет!.. Ей-богу — утону! Вода — горькая... Ах ты... тону-у!

Но она уже оставила его и, по-мужски загребая руками, плыла к берегу. Там, ловко взобравшись снова на баркас, она стала на корме и, смеясь смотрела на Якова, торопливо подплывавшего к ней. Мокрая одежда, пристав к ее телу, обрисовывала его формы от колен по плечи, и Яков подплыв к лодке и уцепившись рукой за нее, уставился жадными глазами на эту, почти голую, женщину, весело смеявшуюся над ним.

— Ну, вылезай, тюлень! — сказала она сквозь смех и, став на колени, подала ему одну руку, а другой оперлась в борт лодки.

Яков схватил ее руку и с одушевлением воскликнул:

— Ну... теперь держись! Я тебя — в-выкупаю!..

Он тянул ее к себе, стоя по плечи в воде; волны перебегали через его голову и, разбиваясь о лодку, брызгали в лицо Мальве. Она жмурилась, хохотала и вдруг, взвизгнув, прыгнула в воду, сбив Якова с ног тяжестью своего тела.

И снова они начали играть, как две большие

рыбы, в зеленоватой воде, брызгая друг на друга и взвизгивая, фыркая, ныряя.

Солнце, смеясь, смотрело на них, и стекла в окнах промысловых построек тоже смеялись, отражая солнце. Шумела вода, разбиваемая их сильными руками, чайки, встревоженные этой возней людей, с пронзительными криками носились над их головами, исчезавшими под набегом волн из дали моря…

Наконец, усталые и наглотавшиеся воды, они вылезли на берег и сели на солнце отдыхать.

— Тьфу! — морщась, плевался Яков. — Ну, и вода дрянная! То-то ее и много так!

— Дрянного всего много на свете, парней, например, — батюшки, сколько! — смеялась Мальва, выжимая воду из своих волос…

Волосы у нее были темные и хотя не длинные, но густые и вьющиеся.

— То-то ты старика и облюбовала себе, — ехидно усмехнулся Яков, толкнув ее локтем в бок.

— Иной старик лучше молодого.

— Уж коли отец хорош, стало быть, сын еще лучше…

— Ишь ты! Где учился хвастать-то?

— Мне девки в деревне часто говорили, что я совсем не плох парень.

— Разве девки что понимают? А ты меня спроси…

— А ты что? Али не девка?

Она пристально взглянула на него, он зазорно смеялся. Тогда она вдруг стала серьезной и с сердцем сказала ему:

— Была, да — однажды родила!

— Складно, да не ладно, — сказал Яков и расхохотался.

— Дурачина! — резко бросила ему Мальва и отвернулась от него.

Яков сробел и замолчал, поджав губы.

С полчаса они оба молчали, повертываясь к солнцу так, чтобы оно скорее высушило их мокрое платье.

В бараках — длинных, грязных сараях, с крышами на один скат — просыпались рабочие. Издали все они были похожи друг на друга — оборванные, лохматые, босые… Доносились до берега их хриплые голоса, кто-то стучал по дну пустой бочки, летели глухие удары, точно рокотал большой барабан. Две женщины визгливо ругались, лаяла собака.

— Просыпаются, — сказал Яков. — А ведь я хотел сегодня в город ехать пораньше… и вот пробаловал с тобой…

— Со мной добра не будет, — не то шутя, не то серьезно сказала она.

— Чего ты все пугаешь меня? — удивленно усмехнулся Яков.

— А вот увидишь, как отец-то тебя…

Это напоминание об отце вдруг рассердило его.

— Что отец? Ну? — грубо воскликнул он. — Отец! Я сам не маленький… Важность какая… Здесь не те порядки… я не слепой, вижу… Он сам не праведник… он тут себя не стесняет… Ну, и меня не тронь.

Она насмешливо поглядела ему в лицо и с любопытством спросила:

— Не трогать тебя? А ты что делать собираешься?

— Я? — Он надул щеки и выпятил вперед грудь, как будто тяжесть поднимал. — Я-то? Я много могу! Меня чистым-то воздухом довольно обвеяло, деревенскую-то пыль сдуло с меня.

— Скоренько! — насмешливо воскликнула Мальва.

— А что? Я вот возьму да и отобью тебя у отца.

— Н-ну? Неужто?

— А то побоюсь?

— Да ну-у?

— Ты вот что, — взволнованно и пылко заговорил Яков, — ты меня не дразни!.. Я... смотри!

— Что? — спокойно спросила она.

— Ничего!

Он отворотился от нее и замолчал, имея вид парня удалого и уверенного в себе.

— А ты задорный! Вот у приказчика черненький кутенок, видел? Так он такой же, как и ты. Издали лает, укусить обещает, а близко подойдешь, он подожмет хвост да и бежать!

— Ну, ладно же! — воскликнул Яков, озлобляясь. — Погоди ты! Увидишь, каков я есть, увидишь!

А она смеялась в лицо ему.

К ним шел, медленной походкой и покачивая корпусом, высокий, жилистый, бронзовый человек в густой шапке растрепанных, огненно-рыжих волос. Кумачная рубаха без пояса была разорвана на спине у него почти до ворота, и чтобы рукава ее не сползали с рук, он засучил их до плеч. Штаны представляли собой коллекцию разнообразных дыр, ноги были босы. На лице, густо усеянном веснушками, дерзко блестели большие голубые глаза, нос, широкий и вздернутый кверху, придавал всей его фигуре вид бесшабашно нахальный. Подойдя к ним, он остановился и,

блестя на солнце телом, выглядывавшим из бесчисленных дыр его костюма, громко шмыгнул носом, вопросительно уставился на них глазами и скорчил смешную рожу.

— Вчера Сережка выпил немножко, а сегодня в кармане у Сережки — как в бездонном лукошке… Дайте двугривенный взаймы! Я все равно не отдам…

Яков добродушно расхохотался над его бойкой речью, а Мальва усмехнулась, разглядывая его ободранную фигуру.

— Дайте, черти! Я вас обвенчаю за двугривенный — хотите?

— Ах ты, балагур! Да разве ты поп? — смеялся Яков.

— Дурак! Я в Угличе у попа в дворниках жил… дай двугривенный!

— Я не хочу венчаться! — отказал ему Яков.

— Все равно — дай! Я твоему отцу не скажу, что ты за его кралей приухлестываешь, — настаивал Сережка, облизывая языком сухие, потрескавшиеся губы.

— Ври, так он тебе и поверит…

— Уж я совру, так поверит! — пообещал Сережка, — и вздует тебя — ах как!

— Не боюсь! — усмехнулся Яков.

— Ну, так я сам вздую! — спокойно заявил Сережка, суживая глаза.

Якову было жалко двугривенного, но его уже предупреждали, что с Сережкой не нужно связываться, а лучше удовлетворить его притязания. Многого он не потребует, а если не дать ему — подстроит во время работы какую-нибудь пакость или изобьет ни за что ни про что. Яков, вспомнив эти наставления, вздохнул и полез в карман.

— Вот так! — поощрил его Сережка, опускаясь на песок рядом с ним. — Всегда меня слушай, умным будешь. А ты, — обратился он к Мальве, — скоро за меня замуж пойдешь? Скорей собирайся, — я долго ждать не буду.

— Драный ты… Зашей дыры сначала, потом поговорим, — ответила Мальва.

Сережка критически посмотрел на свои дыры и качнул головой.

— А ты мне лучше свою юбку дай.

— Так! — сказала Мальва и засмеялась.

— А право! Дай — есть какая-нибудь старенькая?

— Да ты купи себе штаны, — посоветовала Мальва.

— Ну, я лучше пропью деньги…

— Лучше! — смеялся Яков, держа в руке четыре

пятака.

— А как же? Мне поп говорил, что человек не о шкуре своей должен заботиться, о душе. Душа у меня требует водки, а не штанов. Давай деньги! Ну, вот теперь я выпью… А отцу про тебя все-таки скажу.

— Говори! — махнул рукой Яков и ухарски подмигнул Мальве, толкнув ее в плечо.

Сережка заметил это, сплюнул и еще пообещал:

— И вздуть тебя не забуду… Как только свободное время будет — такую дам клочку!

— Да за что? — тревожно спросил Яков.

— Уж я знаю… Ну, так замуж за меня скоро пойдешь? — обратился Сережка к Мальве.

— А вот ты расскажи мне, что мы делать будем и как жить, тогда подумаю, — серьезно сказала она.

Сережка поглядел в море, прищурив глаза, и, облизав губы, объяснил:

— Ничего не будем делать, гулять будем!

— А есть где возьмем?

— Ну, — махнул рукой Сережка, — ты, ровно мать моя, рассуждаешь. Что да как? Разве я знаю, что и как? Пойду выпью…

Он встал и пошел прочь от них, провожаемый

странной улыбкой Мальвы и неприязненным взглядом парня.

— Ишь какой командир! — сказал Яков, когда Сережка ушел от них далеко. — У нас бы в деревне такого хахаля живо усмирили… Дали бы ему хо-орошую взбучку — и все… А здесь боятся…

Мальва посмотрела на него и процедила сквозь зубы:

— Ах ты, порося! Понимаешь ты ему цену!

— Чего понимаешь? Цена таким пятачок за пучок, да и то — когда их в пучке-то сотня.

— Тоже! — насмешливо воскликнула Мальва. — Это тебе цена… А он… везде бывал, скрозь прошел всю землю и никого не боится…

— А я кого боюсь? — храбро спросил Яков.

Она не ответила ему, задумчиво следя за игрой волн, взбегавших на берег, колыхая тяжелый баркас. Мачта качалась из стороны в сторону, корма, вздымаясь и падая в воду, хлопала по ней.

Звук был громкий и досадливый, — точно баркасу хотелось оторваться от берега, уйти в широкое, свободное море и он сердился на канат, удерживавший его.

— Ну, что же ты не уходишь? — спросила Мальва у Якова.

— А куда мне? — отозвался он.

— В город хотел…
— Не пойду!
— Ну, к отцу поезжай.
— А ты?
— Что?
— Тоже поедешь?
— Нет…
— Ну, и я нет.
— Целый день около меня будешь торчать? — спокойно спросила Мальва.
— Не больно-то ты мне нужна… — ответил Яков с обидой, встал и ушел от нее…

Но он ошибся, говоря, что она не нужна ему. Без нее стало скучно. Странное чувство родилось в нем после разговора с ней: смутный протест против отца, глухое недовольство им. Вчера этого не было, не было и сегодня до встречи с Мальвой… А теперь казалось, что отец мешает ему, хотя он там, далеко в море, на этой, чуть заметной глазу, полоске песку… Потом ему казалось, что Мальва боится отца. А кабы она не боялась — совсем бы другое вышло у него с ней.

Он шлялся по промыслу, рассматривая людей. Вон, в тени барака, на бочке сидит Сережка, и, тренькая на балалайке, поет, строя смешные рожи:

Господин гор-родо-ввой!
Будьте вежливы со мной...
Отведите меня в часть,
Чтобы в грязь мне не упасть...

Его окружает человек двадцать таких же оборванцев, от всех, как и от всего здесь, — пахнет соленой рыбой, селитрой. Четыре бабы, некрасивые и грязные, сидя на песке, пьют чай, наливая его из большого жестяного чайника. А вот какой-то рабочий, несмотря на утро, уже пьян, возится на песке, пытаясь встать на ноги и снова падая. Где-то, взвизгивая, плачет женщина, доносятся звуки испорченной гармоники, и всюду блестит рыбья чешуя.

В полдень Яков нашел себе тенистое местечко среди груды пустых бочек, лег там и проспал до вечера, а проснувшись, снова начал бродить по промыслу, ощущая смутное влечение куда-то. Проходив часа два, он нашел Мальву далеко от прииска, под купой молоденьких ветел. Она лежала на боку и, держа в руках какую-то растрепанную книжку, смотрела навстречу ему, улыбаясь.

— Ишь ты где! — сказал он, садясь рядом с ней.

— А ты меня давно ищешь? — уверенно спро-

сила она.

— Да разве я тебя искал?! — воскликнул Яков, вдруг понимая, что это так и есть: он искал ее. И, в недоумении, парень качнул головой.

— Ты грамотный? — спросила она его.

— Грамотный… да плохо, забыл все уж…

— И я тоже — плохо… В школе учился?

— В земской.

— А я сама выучилась…

— Ну?

— Право… В Астрахани у адвоката кухаркой была; сын его научил меня читать.

— Значит, не сама… — пояснил Яков.

Она посмотрела на него и опять спросила:

— А тебе хочется книжки читать?

— Мне? Нет… чего там?

— А я — люблю, — вот выпросила у приказчиковой жены книжку и читаю…

— Про что?

— Про Алексея божия человека.

И, задумчиво рассказав ему о том, как юноша — сын богатых и важных родителей — ушел от них и от своего счастья, а потом вернулся к ним, нищий и оборванный, жил на дворе у них вместе с собаками, не говоря им до смерти своей, кто он, — Мальва тихо спросила у Якова:

— Зачем это он так?

— Кто ж его знает? — равнодушно ответил Яков.

Бугры песка, наметенного ветром и волнами, окружали их. Издали доносился глухой, темный шум, — это на промысле шумели. Солнце садилось, на песке лежал розоватый отблеск его лучей. Жалкие кусты ветел чуть трепетали своей бедной листвой под легким ветром с моря. Мальва молчала, прислушиваясь к чему-то.

— Чего же ты сегодня не поехала туда… на косу?

— А тебе что?

Яков искоса жадными глазами поглядывал на женщину, соображая, как ему сказать ей то, что нужно.

— Я вот, когда одна и тихо… все плакать хочу… Или — петь. Только песен я хороших не знаю, а плакать — стыдно…

Он слышал ее голос, тихий, ласковый, но то, что говорила она, не задело в нем ничего, лишь придало более резкую форму его желанию.

— А ты вот что, — глухо заговорил он, пододвигаясь к ней, но не глядя на нее, — ты послушай, что я тебе скажу… Я — парень молодой…

— И глупый, глу-упый! — убежденно вытянула

Мальва, качая головой.

— Ну, пускай глупый, — с досадой воскликнул Яков. — Разве тут ум нужен?.. Глупый — и ладно! А вот что я скажу — желаешь ты со мной…

— Не желаю!..

— Чего?

— Ничего! Да ты не дури… — Он осторожно взял ее за плечи. — Ты сообрази…

— Пошел прочь, Яшка! — сурово сказала она, стряхнув с себя его руку. — Пошел!

Он встал и осмотрелся вокруг.

— Ну… ежели ты так — мне наплевать! Вас здесь много… Думаешь — ты лучше других?

— Щенок ты, — спокойно сказала она, встав на ноги и отряхивая песок с платья.

И они пошли рядом друг с другом на промысел. Шли медленно, потому что ноги вязли в песке.

Яков грубо уговаривал ее уступить его желанию, она спокойно посмеивалась и отвечала ему колкими словами.

Вдруг он, когда они были уже около промысловых бараков, остановился и схватил ее за плечо.

— А ведь это ты нарочно разжигаешь меня?! Зачем ты это? Я тебе — смотри!

— Отстань ты, говорю! — она вывернулась из-под его руки и пошла, а навстречу ей из-за угла

барака явился Сережка и, тряхнув своей лохматой огненной башкой, сказал зловеще:

— Гуляли? Ладно!

— Подите вы все к черту! — злобно крикнула Мальва.

А Яков остановился против Сережки и угрюмо смотрел на него. Между ними было шагов десять расстояния.

Сережка уставился в глаза Якова. Постояв так с минуту, как два барана, готовые треснуться друг о друга лбами, они молча разошлись в разные стороны.

Море было тихое и красное от заката; над промыслом стоял глухой шум, и из него рельефно выделялся пьяный женский голос, истерически выкрикивавший нелепые слова:

...Та-агарга, матагарга,
Матаничка м-моя!
П-пьяная, избитая,
Растрепанная-а!

И эти слова, гадкие, как мокрицы, разбегались по промыслу, пропитанному запахом селитры и гнилой рыбы, — разбегались, оскорбляя собою музыку волн.

В неясном блеске утренней зари даль моря спо-

койно дремала, отражая перламутровые облака. На косе возились полусонные рыбаки, укладывая в баркас снасти.

Серая масса сети ползла по песку на баркас и складывалась в кучу на дно его.

Сережка, как всегда, без шапки, полуголый, стоя на корме, торопил рыбаков хриплым, похмельным голосом. Ветер играл лоскутьями его рубахи и рыжими вихрами волос.

— Василий! Где зеленые весла? — кричал кто-то. Василий, хмурый, как октябрьский день, укладывал невод в баркасе, а Сережка смотрел ему в согнутую спину и облизывал губы, — признак его желания опохмелиться.

— У тебя водка есть? — спросил он.

— Есть, — глухо сказал Василий.

— Ну, так я не поеду… останусь у сухого крыла.

— Готово! — крикнули с косы.

— Отчаливай, давай! — командовал Сережка, сходя с баркаса. — Поезжайте… я останусь здесь. Смотри — завози шире, не путай!.. Да клади ровнее, — петель не навяжите!..

Баркас столкнули в воду, рыбаки влезли в него с бортов и, разобрав весла, подняли их на воздух, готовые ударить по воде.

— Раз!

Весла дружно упали в волны, и баркас рванулся вперед, в широкую равнину озаренной воды.

— Два! — командовал рулевой, и, как лапы гигантской черепахи, весла поднялись к бортам… — Раз!.. Два!..

На берегу у сухого крыла невода осталось пятеро: Сережка, Василий и еще трое. Один из них опустился на песок и сказал:

— Поспать еще…

Двое последовали его примеру, и на песке скорчились в комки три тела в грязных лохмотьях.

— Ты что в воскресенье не был? — спросил Василий у Сережки, идя с ним в шалаш.

— Нельзя было…

— Пьян был?

— Нет. Следил за твоим сыном да его мачехой, — спокойно сообщил Сережка.

— Нашел заботу! — криво усмехнулся Василий. — Малые они ребята, что ли?

— Хуже… Один — дурак, другая — юродивая…

— Это Мальва юродивая? — спросил Василий, и глаза его вспыхнули злобой. — Давно ли такой стала?

— У нее, брат, душа не по телу…

— Подлая у нее душа.

Сережка покосился на него и презрительно

фыркнул.

— Подлая! Эх вы... землееды тупорылые! Ни черта вы понимать не можете... Вам бы только титьки были у бабы жирные, — а характера ее вам не надо... А в характере весь цвет у человека... без характера баба — без соли хлеб. Можешь ты получить удовольствие от такой балалайки, у которой струн нет? Кобель!..

— Ишь ты до каких речей допился вчера!.. — уязвил его Василий.

Ему очень хотелось спросить, где и как видел вчера Сережка Якова и Мальву, но было совестно.

Придя в шалаш, он налил Сережке чайный стакан водки, надеясь, что после такой порции Сережка сразу охмелеет и сам расскажет ему про них. Но Сережка выпил, крякнул и, весь прояснившись, уселся в двери шалаша, потягиваясь и зевая.

— Выпьешь — как огня проглотишь!.. — сказал он.

— Ну и пьешь ты! — воскликнул Василий, пораженный быстротой, с которой Сережка проглотил водку.

— Умею... — кивнул босяк рыжей головой и, вытерев ладонью мокрые усы, заговорил поучи-

тельно: — Умею, брат! Я все делаю скоро и прямо. Без изворотов — валяй прямо, и все! А куда попадешь — это все равно! С земли, кроме как в землю, никуда не соскочишь…

— Ты хотел на Кавказ уходить? — спросил Василий, тихонько двигаясь к своей цели…

— Уйду, когда захочу. Когда я захочу, — я прямо — раз-раз и… готово! Или по-моему вышло, или шишку на лбу набью… Просто!

— Чего проще! Вроде как без головы живешь…

Сережка насмешливо покосился на Василия.

— А ты — умный! Тебя сколько раз в волости пороли?

Василий посмотрел на него и смолчал.

— А ведь это хорошо, что у вас начальство ум-то сзади наперед розгами перегоняет… Эх ты! Ну, что ты с своей головой можешь поделать? И куда ты с ней угодишь? И чего ты можешь выдумать? То-то! А я без головы пру прямо, и больше никаких! И, наверное, дальше тебя буду, — хвастливо говорил босяк.

— Это — пожалуй!.. — усмехнулся Василий. — Ты и до Сибири дойдешь…

Сережка искренне расхохотался.

Он не пьянел, вопреки ожиданию Василия, и того злило это. Поднести еще стакан ему было

жалко, а в трезвом виде от Сережки ничего не добьешься… Но босяк сам выручил его.

— Ты что же про Мальву не спрашиваешь?

— А чего мне? — равнодушно протянул Василий, вздрагивая от какого-то предчувствия.

— Ведь она в воскресенье не была здесь… Спрашивай, как она жила за эти дни… Чай, ревнуешь, старый черт!

— Много их! — пренебрежительно махнул рукой Василий.

— Много их! — передразнил Сережка. — Эх вы, деревня лыкова помещика дикого! Дай вам мед, дай деготь — все у вас кулага будет…

— Ты что ее все хвалишь? Сватать, что ли, пришел? Так я ее сам давно усватал, — насмешливо сказал Василий.

Сережка осмотрел его, помолчал и увесисто начал говорить Василию, положив ему руку на плечо:

— Я знаю, что она живет с тобой. Я тебе в этом не мешал — не надо было… Но теперь этот Яшка, сын твой, около нее вертится — вздуй его докрасна! Слышишь? А то я сам вздую… Ты мужик хороший… дурак дубовый… Я тебе не мешал, и ты это помни…

— Вон что! И ты тоже за ней? — глухо спросил

Василий.

— Тоже! Кабы я знал, что тоже, — я бы прямо всех вас посшибал с моей дороги и — конец… А то — куда мне ее?

— Так что же ты путаешься? — подозрительно спросил Василий.

Сережку, должно быть, поразил этот простой вопрос.

Он широко открытыми глазами посмотрел на Василия и засмеялся.

— Чего путаюсь? Да — черт-те знает чего… Так, — баба она… Этакая… с перцем… Нравится мне… А может, мне ее жалко, что ли…

Василий смотрел на него недоверчиво, но чувствовал, что Сережка искренне, от души говорит.

— Кабы она нетронутая девка была — ну еще можно пожалеть. А так — чудно что-то!

Сережка молчал, глядя, как баркас далеко в море поворачивал носом к берегу, описывая широкую дугу. Глаза Сережки смотрели открыто, лицо было доброе и простое.

Василий смягчился, глядя на него.

— А ты это верно, она баба славная… вертячка только!.. Яшка? Ну, я ему задам! Ишь, щенок!..

— Мне он не по душе… — заявил Сережка.

— А он ластится к ней? — сквозь зубы спросил

Василий, разглаживая бороду.

— Он, — вот увидишь, — клином войдет между вами, — уверенно сказал Сережка.

В дали морской вспыхнул розовый веер лучей восхода. Сквозь шум волн с моря из баркаса долетел слабый крик:

— Веди-и!

— Вставай, ребята! Эй! К неводу! — командовал Сережка.

И скоро они, все пятеро, уже выбирали свой край невода. Из воды тянулась на берег длинная веревка, упругая, как струна, и рыбаки, захлестывая за нее лямки, покрякивая, тащили веревку.

А другую сторону невода вел к берегу баркас, скользя по волнам.

Солнце, великолепное и яркое, поднималось над морем.

— Увидишь Якова — скажи, чтобы он завтра побывал ко мне, — попросил Василий Сережку.

— Ладно.

Баркас пристал к берегу, и, соскочив с него на песок, рыбаки тянули свое крыло невода. Две группы постепенно сближались друг с другом, и поплавки невода, прыгая на воде, образовали правильный полукруг.

Поздним вечером этого дня, когда рабочие на

промысле поужинали, Мальва, усталая и задумчивая, сидела на разбитой лодке, опрокинутой вверх дном, и смотрела на море, одетое сумраком. Там, далеко, сверкал огонь; Мальва знала, что это костер, зажженный Василием. Одинокий, точно заблудившийся в темной дали моря, огонь то ярко вспыхивал, то угасал, как бы изнемогая. Мальве было грустно смотреть на эту красную точку, потерянную в пустыне, слабо трепетавшую в неугомонном рокоте волн.

— Ты чего тут сидишь? — раздался голос Сережки за ее спиной.

— А тебе что? — спросила она, не взглянув на него.

— Любопытно.

Он помолчал, разглядывая ее, свернул папироску, закурил и сел верхом на лодку. Потом сказал дружелюбно:

— Чудная ты баба: то бежишь прочь ото всех, то чуть не всем на шею виснешь.

— Это тебе, что ли, я висну? — равнодушно спросила она.

— Не мне, а Яшке.

— А тебе завидно?

— Мм… Давай прямо, по душе говорить? — предложил Сережка, ударив ее по плечу. Она

сидела боком к нему, и он не видел ее лица, когда она кратко бросила ему:

— Говори.

— Ты что Василья, бросила, что ли?

— Не знаю, — ответила она, помолчав. — А тебе зачем это?

— Да так…

— Сердита я на него теперь.

— За что?

— Побил меня!

— Н-ну?.. Это он-то? А ты — далась ему? Ай-яй!

Сережка был изумлен. Он заглядывал сбоку в ее лицо и иронически чмокал губами.

— Кабы захотела — не далась бы, — возразила она с сердцем.

— Так что же ты?

— Не захотела.

— Крепко, значит, любишь кота? — насмешливо сказал Сережка и обдал ее дымом своей папиросы. — Ну, дела! А я было думал, что ты не из таких…

— Никого я вас не люблю, — снова равнодушно сказала она, отмахиваясь рукой от дыма.

— Врешь, поди-ка?

— Для чего мне врать? — спросила она, и по ее голосу Сережка понял, что врать ей действитель-

но не для чего.

— А ежели ты его не любишь, как же ты позволяешь ему бить тебя? — серьезно спросил он.

— Да разве я знаю? Чего ты пристаешь?

— Чудно!.. — тряхнув головой, сказал Сережка.

И оба они долго молчали.

Ночь приближалась. Тени ложились на море от облаков, медленно двигавшихся в небе. Волны звучали.

Огонь у Василия на косе погас, но Мальва все еще смотрела туда. А Сережка смотрел на нее.

— Слушай! — сказал он. — Ты знаешь, чего хочешь?

— Кабы знала! — с глубоким вздохом, очень тихо ответила Мальва.

— Стало быть, не знаешь? Это плохо! — уверенно заявил Сережка. — А я вот всегда знаю! — И с оттенком грусти он добавил: — Только мне редко чего хочется.

— Мне всегда хочется чего-то, — задумчиво заговорила Мальва. — А чего?.. не знаю. Иной раз села бы в лодку — и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видать. А иной раз так бы каждого человека завертела, да и пустила волчком вокруг себя. Смотрела бы на него и смеялась. То жалко всех мне, а пуще всех — себя

самое, то избила бы весь народ. И потом бы себя… страшной смертью… И тоскливо мне и весело бывает… А люди все какие-то дубовые.

— Народ гнилой, — согласился Сережка. — То-то, я смотрю на тебя и вижу — не кошка ты, не рыба… и не птица… А все это есть в тебе, однако… Не похожа ты на баб.

— И то слава богу! — усмехнулась Мальва.

Из-за гряды песчаных бугров, слева от них, появилась луна, обливая море серебряным блеском. Большая, кроткая, она медленно плыла вверх по голубому своду неба, яркий блеск звезд бледнел и таял в ее ровном, мечтательном свете.

Мальва улыбнулась.

— А… знаешь?.. Мне иной раз кажется, — что, если бы барак ночью поджечь, — вот суматоха была бы!

— Какая! — с восхищением воскликнул Сережка и вдруг толкнул ее в плечо. — Знаешь что… я тебя научу, — забавную штуку сыграем! Хочешь?

— Ну? — с интересом спросила Мальва.

— Ты этого Яшку, — раззадорила здорово?

— Огнем пышет, — усмехнулась она.

— Страви его с отцом! Ей-богу! Потешно будет… Схватятся они, как медведи… Ты подогрей старика-то, да и этого тоже… А потом мы их друг на

друга и спустим… а?

Мальва обернулась к нему и пристально посмотрела на его рыжее, весело улыбавшееся лицо. Освещенное луной, оно казалось менее пестрым, чем днем, при свете солнца. На нем не было заметно ни злобы, — ничего, кроме добродушной и немножко озорной улыбки.

— За что ты их не любишь? — подозрительно спросила Мальва.

— Я?.. Василий — ничего, мужик хороший. А Яшка — дрянь. Я, видишь ты, всех мужиков не люблю… сволочи! Они прикинутся сиротами — им и хлеба дают и — все! У них вон есть земство, и оно все для них делает… Хозяйство у них, земля, скот… Я у земского доктора кучером служил, насмотрелся на них… потом бродяжил много. Придешь, бывало, в деревню, попросишь хлеба — цоп тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспорт… Бивали сколько раз… То за конокрада примут, то просто так… В холодную сажали… Они ноют да притворяются, но жить могут: у них есть зацепка — земля. А я что против них?

— А ты разве не мужик? — перебила его Мальва, внимательно слушая его речь.

— Я мещанин! — с некоторой гордостью отрекся Сережка. — Города Углича мещанин.

— А я — из Павлиша, — задумчиво сообщила Мальва.

— За меня никого нет заступника! А мужики… они, черти, могут жить. У них и земство и все такое.

— А земство — это что? — спросила Мальва.

— Что? А черт его знает что! Для мужиков поставлено, их управа… Плюнь на это… Ты говори о деле — устрой-ка им стычку, а? Ничего ведь от этого не будет, — подерутся только!.. Ведь Василий бил тебя? Ну, вот и пусть ему его же сын за твои побои возместит.

— А что? — усмехнулась Мальва. — Это хорошо бы…

— Ты подумай… разве не приятно смотреть, как из-за тебя люди ребра друг другу ломают? Из-за одних только твоих слов?.. двинула ты языком раз-два и — готово!

Сережка долго, с увлечением рассказывал ей о прелести ее роли. Он одновременно и шутил и говорил серьезно.

— Эх, ежели бы я красивой бабой был! Такую бы я на сем свете заваруху развел! — воскликнул он в заключение, схватил голову в руки, крепко сжал ее, зажмурил глаза и замолчал.

Луна уже была высоко в небе, когда они разо-

шлись. Без них красота ночи увеличилась. Теперь осталось только безмерное, торжественное море, посеребренное луной, и синее, усеянное звездами небо. Были еще бугры песку, кусты ветел среди них и два длинные, грязные здания на песке, похожие на огромные, грубо сколоченные гроба. Но все это было жалко и ничтожно перед лицом моря, и звезды, смотревшие на это, блестели холодно.

Отец и сын сидели в шалаше друг против друга, пили водку. Водку принес сын, чтобы не скучно было сидеть у отца и чтобы задобрить его. Сережка сказал Якову, что отец сердится на него за Мальву, а Мальве грозит избить ее до полусмерти; что Мальва знает об этой угрозе и потому не сдается ему, Якову, Сережка смеялся над ним.

— За-адаст он тебе за твои шашни! Так оттянет уши, что они по аршину величиной будут! Ты лучше не попадайся на глаза ему!

Насмешки рыжего, неприятного человека породили в Якове острую злобность к отцу. А тут еще Мальва мнется и, глядя на него то задорно, то грустно, усиливает до боли его желание обладать ею…

И вот Яков, придя к отцу, смотрит на него, как на камень посреди своей дороги, — на камень, че-

рез который невозможно перескочить и обойти его нельзя. Но, чувствуя, что он нимало не боится отца, Яков уверенно смотрел в его угрюмые, злые глаза, точно говорил ему:

«Ну-ка, тронь?!»

Они уже дважды выпили, но ничего не сказали еще друг другу, кроме нескольких незначительных слов о промысловой жизни. Один на один среди моря, они копили в себе озлобление друг против друга, и оба знали, что скоро оно вспыхнет, обожжет их.

Рогожи шалаша шуршали под ветром, лубки постукивали друг о друга, красная тряпка на конце шеста лепетала что-то. Все эти звуки были робки и похожи на отдаленный шепот, бессвязно, нерешительно просивший о чем-то.

— Что, Сережка пьет все? — угрюмо спросил Василий.

— Пьет, каждый вечер пьяный, — ответил сын, наливая еще водки.

— Пропадет он… Вот она, свободная-то жизнь… без страха!.. И ты такой же будешь…

Яков кратко ответил:

— Я таким не буду!

— Не будешь?! — хмуря брови, сказал Василий. — Знаю я, что говорю… Сколько времени

живешь здесь? Третий месяц пошел, скоро надо будет домой идти, а много ли денег понесешь? — Он сердито плеснул из чашки в рот себе водку и, собрав бороду в руку, дернул ее так, что у него голова тряхнулась.

— За такое малое время многого здесь и нельзя добыть, — резонно ответил Яков.

— А коли так, так нечего тебе тут шалыганить — иди в деревню.

Яков молча усмехнулся.

— Что рожу кривишь? — угрожающе воскликнул Василий, озлобляясь спокойствием сына. — Отец говорит, а ты смеешься! Смотри, не рано ли начал вольничать-то? Не взнуздал бы я тебя...

Яков налил водки, выпил. Грубые придирки обижали его, но он крепился, не желая говорить так, как думал и хотел, чтоб не взбесить отца. Он немножко робел пред его взглядом, сверкавшим сурово и жестко.

А Василий, видя, что сын выпил один, не налив ему, еще более освирепел.

— Говорит тебе отец — ступай домой, а ты смешки ему показываешь? Проси в субботу расчет и... марш в деревню! Слышишь?

— Не пойду! — твердо сказал Яков и упрямо

мотнул головой.

— Это как так? — взревел Василий и, опершись руками о бочку, поднялся со своего места. — Я тебе говорю или нет? Что ты, собака, против отца рычишь? Забыл, что я могу с тобой сделать? Забыл ты?

Губы у него дрожали, лицо кривили судороги; две жилы вздулись на висках.

— Ничего я не забыл, — вполголоса сказал Яков, не глядя на отца. — Ты-то все ли помнишь, гляди?

— Не твое дело учить меня! Разражу вдребезги…

Яков уклонился от руки отца, поднятой над его головой, и, стиснув зубы, заявил:

— Ты не тронь меня… Здесь не деревня.

— Молчать! Я тебе везде — отец!..

— Здесь в волости не выпорешь, нет ее здесь, волости-то, — усмехнулся Яков прямо в лицо ему и тоже медленно поднялся.

Василий, с налитыми кровью глазами, вытянув вперед шею, сжал кулаки и дышал в лицо сына горячим дыханием, смешанным с запахом водки; а Яков откинулся назад и зорко следил угрюмым взглядом за каждым движением отца, готовый отражать удары, наружно спокойный, но — весь

в горячем поту. Между ними была бочка, служившая им столом.

— Не выпорю? — хрипло спросил Василий, изгибая спину, как кот, готовый прыгнуть.

— Здесь — все ровня… Ты рабочий — и я тоже.

— Вон что-о?

— Ну, а как? За что ты на меня взъелся? Думаешь, я не понимаю? Ты сам сначала…

Василий зарычал и так быстро взмахнул рукой, что Яков не успел уклониться. Удар попал ему по голове; он пошатнулся и оскалил зубы в зверское лицо отца, уже снова поднявшего руку.

— Смотри! — предупредил он его, сжимая кулаки.

— Я тебе — посмотрю!

— Брось, мол!

— Ага… ты!.. ты — отца?.. отца?.. отца?..

Им было тесно тут, в ногах у них путалось кулье из-под соли, опрокинутая бочка, обрубок.

Отбиваясь кулаками от ударов, Яков, бледный и потный, со стиснутыми зубами и по-волчьи горевшим взглядом, медленно отступал перед отцом, а тот шел на него, свирепо махая кулаками, слепой в своей злобе, как-то вдруг и странно растрепавшийся — точно ощетинился, как освирепевший кабан.

— Отстань — будет — брось! — говорил Яков, зловеще и спокойно, выходя из двери шалаша на волю.

Отец рычал и лез на него, но его удары встречали только кулаки сына.

— Ишь как тебя… ишь… — поддразнивал его Яков, сознавая себя более ловким.

— Погоди… пос-стой…

Но Яков прыгнул вбок и бросился бежать к морю.

Василий пустился за ним, наклонив голову и простирая руки вперед, но запнулся ногой за что-то и упал грудью на песок. Он быстро поднялся на колени и сел, упершись в песок руками. Он был совершенно обессилен этой возней и тоскливо завыл от жгучего чувства неудовлетворенной обиды, от горького сознания своей слабости.

— Будь ты проклят! — захрипел он, вытягивая шею к Якову и сплевывая пену бешенства со своих дрожащих губ.

Яков прислонился к лодке и зорко смотрел на него, потирая рукой ушибленную голову. Один рукав его рубахи был оторван и висел на нитке, ворот тоже был разорван, белая потная грудь лоснилась на солнце, точно смазанная жиром. Он чувствовал теперь презрение к отцу; он считал

его сильнее, и, глядя, как отец, растрепанный и жалкий, сидит на песке и грозит ему кулаками, он улыбался снисходительной, обидной улыбкой сильного слабому.

— Проклят ты от меня… вовеки!

Василий так громко крикнул проклятие, что Яков невольно оглянулся в даль моря, к промыслу, точно думал, что там услышат этот крик бессилия.

Но там были только волны и солнце. Тогда он сплюнул в сторону и сказал:

— Кричи!.. Кому досадишь? Себе только… А коли у нас так вышло, я вот что скажу…

— Молчи!.. Уйди с глаз… уйди! — крикнул Василий.

— В деревню я не пойду… буду тут зимовать… — говорил Яков, не переставая следить за движениями отца. — Мне здесь лучше, — я это понимаю, не дурак. Здесь легче… Там ты бы надо мной верховодил, как хотел, а здесь — на-ко выкуси!

Он показал отцу кукиш и засмеялся, не громко, но так, что Василий, снова разъяренный, вскочил на ноги и, схватив весло, бросился к нему, хрипло выкрикивая:

— Отцу? Отцу-то? Убью…

Но, когда он, слепой в своей ярости, подскочил

к лодке, Яков был уже далеко от него. Он бежал, и оторванный рукав рубашки несся за ним по воздуху.

Василий бросил в него веслом, оно не долетело, и мужик, снова обессиленный, свалился грудью в лодку и царапал ногтями дерево, глядя на сына, а тот кричал ему издали:

— Стыдился бы! Седой уж, а — из-за бабы — так озверел… Эх ты! А в деревню я не ворочусь… Сам иди туда… нечего тебе тут делать.

— Яшка! молчи! — заглушая его крик, взревел Василий. — Яшка! Убью я тебя… Поди прочь!

Яков пошел не торопясь.

Тупыми, безумными глазами отец смотрел, как он идет. Вот он стал короче, ноги его как бы утонули в песке… он ушел в него по пояс… по плечи… с головой. Нет его… Но через минуту, немного дальше того места, где он исчез, опять сначала появилась его голова, плечи, потом весь он… Он стал меньше теперь… Обернулся и смотрит сюда и что-то кричит.

— Проклят ты! Проклят, проклят! — ответил Василий на крик сына. Тот махнул рукой, снова пошел и… снова исчез за бугром песка.

Василий еще долго смотрел в ту сторону, пока спина его не заныла от неудобной позы, в которой

он полулежал, прислонясь к лодке. Разбитый, он встал на ноги и пошатнулся от ноющей боли в костях. Пояс сбился ему под мышки; деревянными пальцами он развязал его, поднес к глазам и бросил на песок. Потом пошел в шалаш и, остановясь перед углублением в песке, вспомнил, что на этом месте он упал и что если б не упал он, то поймал бы сына. В шалаше все было разбросано. Василий поискал глазами бутылку с водкой и, найдя ее между кулями, поднял. Пробка сидела в горле бутылки плотно, водка не пролилась. Василий медленно выковырял пробку и, сунув горло бутылки себе в рот, хотел пить. Но стекло стукало его по зубам, и водка лилась изо рта на бороду, на грудь.

В голове у Василия шумело, на сердце было тяжело, спину ломила ноющая боль.

— Стар я, однако!.. — вслух сказал он и опустился на песок у входа в шалаш.

Пред ним было море. Смеялись волны, как всегда шумные, игривые. Василий долго смотрел на воду и вспомнил жадные слова сына:

«Кабы это все земля была! Да чернозем бы! Да распахать бы!»

Едкое чувство охватило мужика. Он крепко потер себе грудь, оглянулся вокруг себя и глубоко

вздохнул. Голова его низко опустилась и спина согнулась, точно тяжесть легла на нее. Горло сжималось от приступов удушья. Василий откашлялся, перекрестился, глядя на небо. Тяжелая дума обуяла его.

…За то, что он ради гулящей бабы бросил жену, с которой прожил в честном труде больше полутора десятка лет, — Господь наказал его восстанием сына. Так, Господи!

Надругался сын над ним, больно рванул его за сердце… Убить его мало за то, что он так надсадил душу своего отца! Из-за чего! Из-за женщины, дрянной, зазорной жизнью живущей! Грех было ему, старику, связываться с ней, забыв о своей жене и сыне…

И вот Господь, во святом гневе своем, напомнил ему, через сына ударил его по сердцу справедливой карой своей… Так, Господи!..

Василий сидел согнувшись, крестился и часто моргал глазами, смахивая ресницами слезы, ослеплявшие его.

Солнце опускалось в море. На небе тихо гасла багряная заря. Из безмолвной дали несся теплый ветер в мокрое от слез лицо мужика. Погруженный в думы раскаяния, он сидел до поры, пока не уснул.

…Через день после ссоры с отцом Яков с партией рабочих отправился на барке под буксиром парохода верст за тридцать от промысла на ловлю осетра. Воротился он на промысел через пять дней один, в лодке под парусом, — его послали за харчами. Он приехал в полдень, когда рабочие, пообедав, отдыхали. Было нестерпимо жарко, раскаленный песок жег ноги, а чешуя и кости рыб кололи их. Яков осторожно шагал к баракам и ругал себя за то, что не надел сапог. Возвращаться на баркас было лень, к тому же он торопился скорее поесть чего-нибудь и увидеть Мальву. За скучное время, проведенное в море, он часто вспоминал ее. Ему теперь хотелось узнать, видела ли она его отца и что он говорил ей… Может быть, он избил ее? Ее побить не вредно, — смирнее будет! А то больно уж задорна да бойка она…

На промысле было тихо и пустынно. Окна в бараках были открыты, и эти большие, деревянные ящики тоже, казалось, изнывали от жары. В приказчиковой конторе, спрятавшейся между бараками, надрываясь, кричал ребенок. Из-за груды бочек доносились чьи-то тихие голоса.

Яков смело пошел на них: ему показалось, что он слышит речь Мальвы. Но, подойдя к бочкам и взглянув за них, он отступил назад и, насупив-

шись, стал.

За бочками, в тени их, лежал вверх грудью, закинув руки под голову, рыжий Сережка. По одну сторону его сидел отец, а по другую — Мальва.

Яков подумал про отца:

«Зачем он тут? Неужто перевелся на промысел со своей спокойной должности для того, чтобы к Мальве ближе быть, а его к ней не подпускать? Ах, черт! Кабы мать все эти его поступки знала!.. Идти к ним или не надо?»

— Так! — сказал Сережка. — Стало быть — прощай? Ну, что же! Иди, ковыряй землю…

Яков радостно моргнул.

— Иду… — сказал отец.

Тогда Яков смело шагнул вперед и поздоровался:

— Честной компании!

Отец мельком взглянул на него и отвернулся в сторону, Мальва и бровью не моргнула, а Сережка дрыгнул ногой и сказал густым голосом:

— Вот воротился из дальних стран возлюбленный сын наш Яшка! — и своим обыкновенным тоном добавил: — Драть с него шкуру на барабан, как овчину с барашка…

Мальва тихо засмеялась.

— Жарко! — сказал Яков, садясь.

Василий снова взглянул на него.

— А я тебя, Яков, жду, — заговорил он.

Голос его показался Якову более тихим, чем всегда, и лицо было тоже точно новое.

— Я за харчами… — сообщил он и попросил у Сережки табаку на папироску.

— Нет от меня табаку тебе, дураку, — сказал Сережка, не двигаясь.

— Ухожу я домой, Яков, — внушительно произнес Василий, ковыряя песок пальцем руки.

— Что — так? — невинно посмотрел на него сын.

— Ну, а ты… останешься?

— Да, я останусь… Что нам двоим дома делать?

— Ну… я ничего не скажу. Как хочешь… не маленький! Только ты тово… помни, что я недолго протяну. Жить-то, может, и буду, а работать не знаю уж как… Отвык я, чай, от земли… Так ты помни, мать у тебя там есть.

Ему, должно быть, трудно было говорить: слова как-то вязли у него в зубах. Он гладил бороду, и рука его дрожала.

Мальва пристально смотрела на него. Сережка прищурил один глаз, а другой сделал круглым и уставил его в лицо Якова. Яков был полон радости и, боясь выдать ее, молчал, глядя на свои ноги.

— Не забудь же про мать-то… Смотри, один ты у нее, — говорил Василий.

— Чего там? — сказал Яков, поежившись. — Я знаю.

— Ладно, коли знаешь!.. — недоверчиво взглянув на него, сказал отец. — Я говорю только — не забудь, мол.

Василий глубоко вздохнул. Несколько минут все четверо молчали. Потом Мальва сказала:

— Скоро зазвонят на работу…

— Ну, я пойду!.. — поднимаясь на ноги, объявил Василий. И все остальные встали за ним.

— Прощай, Сергей… Случится тебе быть на Волге — может, заглянешь?.. Симбирского уезда, деревня Мазло, Николо-Лыковской волости…

— Ладно, — сказал Сережка, тряхнул ему руку и, не выпуская ее из своей жилистой лапы, поросшей рыжей шерстью, взглянул с улыбкой в его грустное и серьезное лицо.

— Лыково-Никольское — большое село… Далеко его знают, а мы от него — четыре версты, — объяснял Василий.

— Ну, ну… Я забреду, — коли случай будет…

— Прощай!

— Прощай, милый человек!

— Прощай, Мальва! — глухо сказал Василий, не

глядя на нее.

Она не торопясь вытерла себе губы рукавом и, закинув ему свои белые руки на плечи, трижды молча и серьезно поцеловала его в щеки и губы.

Он смутился и что-то невнятно промычал. Яков наклонил голову, скрывая усмешку, а Сережка легонько зевнул, глядя в небо.

— Жарко тебе будет идти, — сказал он.

— Ничего… Ну, прощай, Яков!

— Прощай!

Они стояли друг против друга, не зная, что делать. Печальное слово «прощай», так часто и однообразно звучавшее в воздухе в эти секунды, пробудило в душе Якова теплое чувство к отцу, но он не знал, как выразить его: обнять отца, как это сделала Мальва, или пожать ему руку, как Сережка? А Василию была обидна нерешительность, выражавшаяся в позе и на лице сына, и еще он чувствовал что-то близкое к стыду пред Яковом. Это чувство вызывалось в нем воспоминаниями о сцене на косе и поцелуями Мальвы.

— Так про мать-то помни! — сказал наконец Василий.

— Да ладно уж! — тепло улыбнувшись, воскликнул Яков. — Ты не беспокой себя… а я уж!..

И он тряхнул головой.

— Ну… и все! Живите тут, дай вам господь… не поминайте лихом… Так котелок-то, Серега, в песке я зарыл, под кормой, у зеленой лодки.

— А на что ему котелок? — быстро спросил Яков.

— Он на мое место определен… Туда, на косу! — объяснил Василий.

Яков посмотрел на Сережку, взглянул на Мальву и опустил голову, скрывая радостный блеск в своих глазах.

— Прощайте ж, братцы… иду я!

Василий поклонился им и пошел. Мальва двинулась за ним.

— Я провожу тебя немножко…

Сережка лег на песок и схватил за ногу Якова, тоже было шагнувшего за Мальвой.

— Тпру! Куда?

— Погоди! Пусти… — рванулся было Яков.

Но Сережка схватил его за другую ногу.

— Посиди со мной…

— Да ну-у! Чего дуришь?

— Я не дурю… А ты сядь!

Яков сел, стиснув зубы.

— Чего тебе надо?

— Погоди! Ты помолчи, а я подумаю, потом и скажу…

Он грозно окинул парня своими нахальными глазами, и Яков покорился ему…

Мальва и Василий несколько времени шли молча. Она заглядывала сбоку в лицо ему, а глаза ее странно блестели. А Василий угрюмо нахмурился и молчал. Ноги их вязли в песке, и шли они медленно.

— Вася!

— Что?

Он взглянул на нее и тотчас же отвернулся.

— А ведь это я нарочно поссорила тебя с Яшкой-то… Можно бы и так жить вам здесь, не ссорясь, — говорила она спокойно и ровно.

— Зачем же это ты? — помолчав, спросил Василий.

— Не знаю… Так!

Она пожала плечами, усмехаясь.

— Хорошее сделала дело! Эх ты! — укорил он ее злым голосом.

Она промолчала.

— Испортишь ты мне парня, вконец испортишь! Эхма! Ведьма ты, ведьма… Бога не боишься… стыда не имеешь… что делаешь?

— А что надо делать? — спросила она его. Не то тревога, не то досада звучали в ее вопросе.

— Что? Эх ты!.. — вспыхивая острой злобой к

ней, воскликнул Василий.

Ему страстно хотелось ударить ее, свалить ее себе под ноги и втоптать в песок, ударяя сапогами в ее грудь и лицо. Он сжал кулак и оглянулся назад. Там, у бочек, торчали фигуры Якова и Сережки, и лица их были обращены к нему.

— Поди прочь, — уйди! Расшиб бы я тебя…

Он почти шептал ей ругательства прямо в лицо. Глаза у него были налиты кровью, борода тряслась, а руки невольно тянулись к ее волосам, выбившимся из-под платка.

Она же смотрела на него спокойно своими зелеными глазами.

— Убить бы мне тебя, потаскуха ты! Погоди… налетишь еще… сломят тебе башку!

Она усмехнулась, помолчала, а потом, вздохнув глубоко, бросила ему:

— Ну, полно… Прощай!

И, круто повернувшись, пошла назад.

Василий рычал вслед ей и скрипел зубами. А Мальва шла и все старалась попасть своими ногами в ясные глубокие следы ног Василия, оттиснутые в песке, и, попав в этот след, она старательно затирала его своей ногой. Так она медленно шла вплоть до бочек, где Сережка встретил ее вопросом:

— Ну, проводила?

Она утвердительно кивнула ему головой и села рядом с ним. Яков смотрел на нее и ласково улыбался, двигая своими губами так, точно он шептал что-то, слышное только ему.

— Что же, — проводила, жалко стало? — снова спросил ее Сережка словами песни.

— Ты когда пойдешь туда, на косу? — ответила она вопросом, кивая головой в море.

— Вечером.

— И я с тобой…

— Важно!.. Это я люблю…

— И я пойду! — решительно заявил Яков.

— Кто тебя зовет? — спросил Сережка, щуря глаза.

Раздался дребезжащий звон разбитого колокола — призыв к работе. Звуки торопливо неслись в воздухе один за другим и умирали в веселом шорохе волн.

— А вот она позовет! — сказал Яков, вызывающе глядя на Мальву.

— Я? На что ты мне нужен? — удивилась она.

— Будем говорить прямо, Яшка!.. — сурово сказал Сергей, поднимаясь на ноги. — Ежели ты к ней приставать будешь — изобью вдрызг! А пальцем тронешь — убью, как муху! Хлопну по

башке — и нет тебя на свете! У меня — просто!

Все лицо его, вся фигура и узловатые руки, потянувшиеся к горлу Якова, очень убедительно говорили о том, как все это просто для него.

Яков отступил на шаг и сдавленно сказал:

— Погоди! Ведь она сама же…

— Цыц — и все тут! Что ты такое? Не тебе, собака, барашка поедать: скажи спасибо, коли дадут костей поглодать… Ну?.. Чего буркалы пялишь?

Яков взглянул на Мальву. Зеленые глаза ее усмехались в лицо ему обидной, унижающей усмешкой, и она прижалась сбоку к Сережке так ласково, что Якова в пот бросило.

Они ушли от него рядом друг с другом и, отойдя немного, засмеялись оба громким смехом. Яков крепко втиснул правую ногу в песок и замер в напряженной позе, тяжело дыша.

Вдали по желтым, мертвым волнам песка двигалась маленькая, темная человеческая фигурка; справа от нее сверкало на солнце веселое, могучее море, а слева, вплоть до горизонта, лежали пески — однообразные, унылые, пустынные. Яков посмотрел на одинокого человека и, заморгав глазами, полными обиды и недоумения, крепко потер себе грудь обеими руками…

На промысле закипала работа.

Яков слышал сочный, грудной голос Мальвы, сильно кричавшей:

— Кто взял мой нож?..

Волны звучали, солнце сияло, море смеялось…

1897

Капитан

Александр Куприн
Рассказ

— Благодарю вас, господин. Если вы позволите… я не пью пива… Стакан рому, — это так… Ну вот, я и продолжаю. Вы спрашиваете, как я попал на корабль «Утренняя звезда»? Да очень просто! Чего только не предпримешь, когда тебе двадцать четыре года, а ты холост и свободен, как ветер? В то время я околачивался в Новороссийске. Прекрасная бухта, только не осенью, когда там свирепствует норд-ост — по-местному, бора. Тут-то я и попал на этот несчастный барк, у которого было два фока, две грот-мачты и, конечно, бизань — пять мачт. Это было огромное старое судно, чуть ли не допотопного типа, видевшее очень многое на своем веку. Оно могло вобрать в свои огромные внутренности около пятнадцати тысяч тонн груза и несло на себе парусов приблизительно около двух тысяч квадратных аршин. Должен откровенно сказать, что призвания к морскому делу у меня никакого не было, а просто меня повлекла проказливость и молодая любовь

к приключениям.

Команда собралась на барке чрезвычайно пестрая: несколько греков, два итальянца, чех, два турка, негр — остальных я теперь уже не могу вспомнить, и человек пятнадцать русских. Начальство состояло из капитана, двух штурманов и боцмана. Боцман мне казался самой замечательной фигурой на корабле. Это был краснорожий, маленький, но чрезвычайно широкоплечий человек с бритыми усами и с бородой, растущей как будто из горла. Ноги он всегда держал раскорякою от постоянного хождения по палубе. В том случае, когда обижали команду, он стоял за нее, как родной отец, а в других случаях, в наших личных матросских делах, он был истинным деспотом. До сих пор я помню первый урок, который он преподал мне в управлении бегучим такелажем. Это было в Средиземном море, где нас всех страшно закачало. Совершенно измученный, я отдаю долг природе, перегнувшись с большими усилиями через поручни борта, — а вы, может быть, сами знаете, как тяжело мутит новичков? И вдруг слышу за своей спиной суровый окрик, вроде, например, такого:

— Эй! Марс-фалы лиселя подтянуть! Потравить шкоты!

Клянусь богом!.. Благодарю вас, господин, если уж вы так любезны, то вместо пива еще один небольшой стакан рому... Клянусь богом, что я ничего не понял из его приказания, но когда боцман меня ударил сзади концом веревки, чуть-чуть выше ног и чуть-чуть ниже спины, то я, как встрепанный, взобрался на ванты и сделал что-то такое, что, вероятно, теперь для меня физически невозможно. Повторяю вам, молодость и находчивость крепко отстаивают свою жизнь. Когда же я спустился вниз, то боцман добродушно сказал мне:

— Надо крепить не бабьим узлом, а морским, — и тут же показал мне, как делается морской узел: сначала в правую сторону, а потом в левую.

Затем он хлестнул меня по плечам этой же самой веревкой с узлом, — удовольствие не из приятных, — и сказал:

— Из тебя может быть толк, мальчишка, — и вдруг почему-то перевел по-английски: — little scout.

Это обращение на английском языке удивило меня еще более, чем отеческое внушение, потому что имя и фамилия боцмана были — Иван Карпяго. Впрочем, надо сказать, что на «Утренней звезде» все мы ругались и богохульствовали на

всевозможных языках, хотя всегда и неизменно соблюдали одно правило: не обижать Николая-угодника, Чудотворца Мирликийского.

Был очень интересным человеком и капитан, преждевременно поседелый, лет сорока, человек железной энергии. (Впоследствии он спас своей находчивостью и несокрушимой волей жизнь и судну, и всем нам, тридцати человекам команды.) На ненаблюдательного человека он, пожалуй, мог произвести впечатление лентяя. В то время, когда наше плавание шло благополучно, он полусидел, полулежал на юте в своем излюбленном плетеном кресле-качалке, пил замороженное белое вино и время от времени бросал своему огромному сенбернару Prego (по-итальянски — «прошу») куски льда, которые пес ловил и глотал с жадностью. Говорил и бранился капитан, кажется, на всех человеческих языках, но так как состав команды был наполовину русским, он предпочитал командовать большею частью по-русски.

В Новороссийске работа у нас была легкая. Там на горе стоит зерновый элеватор, этажей в двенадцать высоты, а из самого верхнего этажа, по наклонному желобу, чуть ли не в версту длиною, льется беспрерывным золотым потоком тяжелое,

полновесное зерно, вливается к нам прямо в трюм и заполняет весь корабль, заставляя его постепенно погружаться в воду. Нам приходилось только разравнивать лопатами его тяжелые груды, причем мы утопали в зерне по самые колени и чихали от пыли.

Наконец, когда барк принял столько груза, сколько он мог вместить, и даже, кажется, немножко более, потому что он осел в воду ниже ватерлинии, мы тронулись в путь. По правде сказать, величественное зрелище представляет из себя пятимачтовый парусник, когда все его паруса выпуклы и напружены. А ты, стоя на рее, с гордостью сознаешь, что тобой любуются с других судов старые специалисты.

Плавание наше до Ливерпуля было совсем благополучно. Правда, в «Бискайке» нас сильно потрепало, хотя мы и шли с уменьшенными парусами. Дело в том, что, несмотря на брезенты, покрывавшие зерно, оно тяжело перекатывалось в трюме с боку на бок и валяло «Утреннюю звезду». Но это продолжалось не более суток, а через два дня мы уже были в Ливерпуле.

Благодарю! За ваше здоровье, сэр! Вы, может быть, знаете, а если не знаете, то, конечно, поверите мне, что самое необузданное существо

— это матрос с парусника, добравшийся наконец до берега и спущенный на него с корабля в большом порту! Узенькие улицы… налево и направо бары… женщины всех национальностей и повсюду тайные притоны для игры, любви и драки. Тут-то я и закрутился. Четверо суток совершенно выпали из моей жизни и представляются мне теперь каким-то черным пятном, провалом в неизвестность. Словом, проснувшись на барке, на матросской койке, я с удивлением услышал знакомый плеск моря о деревянные борта судна, беготню и крики команды, а когда вылез на палубу, то с ужасом убедился, что я нахожусь на той же «Утренней звезде». Во мне проснулась гордость свободного человека, и я пошел объясняться к старшему штурману. Тот отослал меня к капитану. Этот хладнокровный человек сунул мне под самый нос контракт, в котором значилось, что я обязался служить на «Утренней звезде» ровно три года и что получил в задаток двадцать фунтов стерлингов. Я отлично знал, что во всех карманах моего платья нет ни одного пенса, но на всякий случай, во имя человеческих прав, попробовал сделать капитану довольно грубое замечание. Однако я не успел его докончить, потому что уже лежал на палубе и выплевывал изо рта верхние

передние зубы. Вот посмотрите, господин, где они раньше были.

Когда я поднялся на ноги, капитан, совсем не потерявший своего обычного спокойного вида, сказал мне:

— Болван! Мы уже в расстоянии ста миль от Англии. Тебе не нужно было напиваться, как свинье, до того чтобы забыть о контракте! А если ты еще позволишь себе разговаривать, я просто-напросто прикажу выбросить тебя за борт с твоими фунтами стерлингов. Понял?

Конечно, я понял как нельзя лучше. И даже вспомнил в эту минуту лицо креолки, которая в кабачке поила меня чем-то густым, терпким и сладким, от чего я, должно быть, и впал в беспамятство.

Шли мы опять Средиземным морем и через Суэцкий канал в Индийский океан. Груз у нас теперь был железный: земледельческие машины, веялки, жатвенницы, паровые плуги и так далее. Весь этот груз мы должны были доставить в Австралию, в Мельбурн.

Ах, не беспокойтесь, господин, — у меня есть ром, и мне этого достаточно. Вы спрашиваете, что было дальше? Дальше вышли большие неприятности. В Индийском океане между так

приблизительно седьмым и девятым градусом мы попали в штиль. Вы сами понимаете, что при безветрии парусное судно совершенно беззащитно. И мы две недели простояли на одном месте, в полосе, где не было даже течения. Тут пошло несчастье за несчастьем. Живой скот, который мы забрали с собою, весь переоколел от какой-то странной болезни: не то чумы, не то ящура, не то оспы. Капитан приказал всех животных выбросить за борт, на съедение акулам. Потом от страшной тропической жары у нас загнила и испортилась пресная вода. Мы пробовали ее кипятить, но из этого ничего путного не выходило. Вскоре вышел не только хлеб, но и сухари. Тогда на обед нам стали давать какую-то вонючую болтушку из воды и консервов. Мы, русская матросня, называли это кушанье бурдой, а еще бурдымагой. Ах, если бы вы знали, господин, какая это зверская штука стоять среди моря, не видеть берегов, бездействовать, прислушиваться к урчанию в собственном расстроенном желудке и вдобавок так париться под лучами тропического солнца, что даже уж и пот не выступает из тела. Все мы разнервничались до последней степени. Как взбесившиеся от жары собаки, ходили мы друг вокруг друга, рычали, оскаливали зубы,

все чаще и чаще слышались между нами злые, оскорбительные слова:

— Goddam thou! (Проклятье!)

— You are man of forest! (Ты дикарь!)

— Força Madonna putana! (Совсем невозможное для перевода итальянское ругательство.)

— Тебе не быть моряком, а играть в цигу!

— Ты не стоишь того, что ты ешь!

Вдобавок надо еще сказать, что вместе с нами шел из Ливерпуля в качестве кока какой-то поляк, который столько же понимал в кулинарном искусстве, сколько бегемот в модных танцах. Я, кажется, не ошибусь, если скажу, что он был раньше политическим преступником, может быть, анархистом. Гордый, высокомерный, молчаливый и, судя по лицу, несомненно интеллигентный человек. Однажды, в порыве бессознательного, стихийного раздражения, которое охватило нас всех, как эпидемия, младший штурман ударил его по лицу. В ту же ночь кем-то было разбито стекло компаса и вырвана бесследно магнитная стрелка. Мы, команда, конечно, знали, кто это сделал, но молчали из особого чувства товарищества, — товарищества, которое можно вполне понять и оценить только на море. А надо сказать, что запасного компаса не оказалось, потому что

более запущенного судового хозяйства, чем на барке «Утренняя звезда», не было, кажется, нигде в мире, во всем торговом флоте.

Как раз через день после этого случая паруса затрепетали и надулись. Приятно было вдыхать в себя освежевший ветер, и все мы как-то подобрели и размякли. Однако из всех нас, бывших на судне, вероятно, только капитан Юд и боцман Иван Карпяго понимали кое-что в том, что нам предстояло дальше. После штиля почти всегда начинается циклон, в который мы и попали, — если не в самый центр, то, во всяком случае, очень близко к нему. Сгрудились тучи, подул ураган, и мы понеслись куда-то во мрак и неизвестность, точно нас сзади гнали тысячи дьяволов. Если я вам попробую рассказать об этом шабаше моря, ветра, дождя и громыхания на небе, то вы не поверите. Ну, представьте себе волны вышиною с восьмиэтажный дом или вообразите себе ледяные горы, на которые то поднимаешься, то опускаешься, как на салазках. Волны обхватывают палубу и сбивают людей с ног, точно это не люди-богочеловеки, а мусор и щепки. После шести часов огромных усилий мы остались только с двумя мачтами — средним гротом и бизанью. Остальные три сломало ураганом,

и мы с нечеловеческими усилиями едва смогли их обрубить топорами и выбросить за борта, которые они исковеркали своим падением. Кроме того, у нас ударом волны сорвало руль. В трюме оказалась пробоина, под которую с неимоверной трудностью подвели пластырь.

Ах! Клянусь вам богом, даже до сих пор, когда во время бессонницы я вспоминаю эту ужасную ночь, я весь покрываюсь холодным потом от страха... Вместо того чтобы надеть чистые рубашки и приготовиться к смерти, мы разбили камбуз и вылакали весь ром, находившийся в бочонках. Давнишнее озлобление, испуг, отчаяние, опьянение превратили нас в зверей. Не помню кто — думаю, что тот же поляк, наш повар, — первый подал злостную мысль, и вот мы, почти вся команда, загнали боцмана Карпягу на бак и приказали ему свистать сигнал:

— Все наверх! Капитана за борт кидать!

Сопротивляться велению команды, да еще торгового судна, да еще парусника, вряд ли отважится даже самый непреклонный боцман, и он засвистал в свою боцманскую трубку.

Все мы разъяренной толпой, пьяные, возбужденные, испуганные близостью смерти, с ругательствами почти на всех языках Европы

выскочили на палубу. Капитан стоял на своем мостике. Казалось, он совсем не потерял своего обычного хладнокровия, но все мы, увидев у него в руке большой кольтовский револьвер, остановились на две или на три минуты и только лаяли на него, как трусливые псы. Он крикнул на нас сверху вниз:

— Пьяная сволочь! Трусы! Двенадцать человек из вас я убью наверняка, а остальные будут завтра же повешены мною на ноках. — И тут же, почти не целясь, он выстрелил, и наш таинственный кок упал на доски палубы с пробитым насквозь черепом. И почти в тот же момент — точно смерть этого человека была умиротворительной жертвой — кто-то из команды радостно воскликнул:

— Земля, с левого борта!!

Благодарю вас, будьте здоровы. Но только оказалось, что это вовсе не земля, а длинный коралловый бар, на который нас несло с ужасающей скоростью. И через несколько мгновений мы увидели огромные гребни белой пены, перекатывающейся через рифы, и услышали грозный рев морского прибоя. Тут я остро и мучительно почувствовал, как смерть заглянула мне в глаза своими пустыми глазницами. Но тут-то капитан и показал себя человеком громадной власти,

знания, находчивости и необычайной красоты. Он вдруг закричал голосом, который заглушил даже рев бурунов:

— Живо пошел все по вантам! Поворот на фордевинд!!!

И почти мгновенно, точно толкнутые чудесной волей этого человека, мы уже рассыпались по двум оставшимся мачтам, готовые сделать этот опаснейший из маневров, какие только бывают в практике мореходства.

И правда, мы его сделали, только слегка черкнув килем по мелководью. Ах! Если бы вы знали, как нас валяли тогда волны и ветер! Поистине, должно быть, Николай-угодник сжалился над нашими грешными телами и грязными душами! Через четверть часа, а может быть, и через полчаса — в эти моменты борьбы со смертью разве можно расчислить время? — мы опять повернулись спиною к ветру и прежним бешеным ходом понеслись бог знает куда. И надо сказать, что гений капитана и его колоссальное счастье помогли нам. Мы с бешеной скоростью попали на громадную волну, перескочили через сравнительно глубокое место и очутились в тихом, почти спокойном водном пространстве достаточной глубины. И почти тотчас же засияли нам

навстречу огни какого-то селения. Потом оказалось, что это был остров Гальмагера (Джимоло)... Мы спокойно спустили якорь и стали покорно зализывать раны, нанесенные морем «Утренней звезде». У всех нас, вероятно, было то же ощущение, как у меня: стыд перед капитаном и вечная благодарность ему. Все это случилось как раз в ночь под Рождество, а мы чувствовали себя как висельники.

Утром капитан поручил начальство над судном старшему помощнику и съехал на берег. Должно быть, он не был уверен в том, насколько глубока бухта. Но мы думали совсем иное, и не один из нас в часы долгого мучительного ожидания облюбовал себе нок, на котором ему скоро придется болтаться. Тут же мы узнали от штурмана, что капитан сам в продолжение нашего бедствия под тропиками питался той же бурдымагой, как и мы, и пил такую же гнилую воду. Повторяю, что хорошего мы для себя ничего не ожидали. И вот представьте себе наше удивление. Вдали показывается шлюпка. Все мы следим за нею и за ее ходом с громадным напряжением. Морские глаза зоркие. Издали замечаем, что капитана на ней нет. Очевидно, он остался в городе. Но шлюпка подходит все ближе и ближе. И вдруг мы

раскрываем рты от изумления: со шлюпки доносится какой-то странный визг, всхлипывание и рычание. Короче сказать, вскоре мы убедились в том, что это взвизгивают две огромных свиньи, у которых связаны передние и задние ноги. Что руководило великодушным сердцем капитана, я до сих пор понять не могу. Кроме свиней, в шлюпке оказалось пуда три прекрасного кукурузного хлеба, два пуда баранины, пять битых гусей, бочонок свежей прохладной воды, два бочонка прекрасного английского пива и неведомо откуда добытый пломпудинг.

Когда наверх по трапу взобрался Иван Карпяго, не то веселый, не то строгий, но, кажется, чего-то уже хвативший спиртного в городе, мы кинулись к нему с расспросами:

— Что капитан? Как капитан? Что говорил?

Он ответил нам, самодовольно разглаживая бороду, которую он носил под англичанина:

— Капитан поздравляет вас с Рождеством, посылает вам провизию, а также пива и рому, чтобы вы опохмелились после вчерашнего.

Мы не могли поднять глаз друг на друга. Уж, право, лучше было бы болтаться на ноке, чем быть подавленным величием души этого человека. Замечательно, что во все время, пока мы

чинились, а потом сдавали наши земледельческие машины в Мельбурне и пока шли обратно в Ливерпуль, приняв громадный груз живых баранов, он никому не вспомнил прежней ссоры. Но зато вряд ли на каком-нибудь судне когда-нибудь испытывали люди такое беспредельное обожание, как мы к нашему капитану. Не было, мне кажется, ни одного из матросов, который по первому его жесту без всякого колебания не прыгнул бы за борт. И вот, появись он теперь между нами и прикажи мне сделать геройский поступок или преступление, — я не задумаюсь ни на одну секунду исполнить его волю.

А он все время, как будто ни в чем не бывало, лежал на своем кресле-качалке, пил белое вино и кидал куски льда своему сенбернару Prego.

1913

Листригоны

Александр Куприн
Очерки

I. Тишина

В конце октября или в начале ноября Балаклава — этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи — начинает жить своеобразной жизнью. Дни еще теплы и по-осеннему ласковы, но по ночам стоят холода, и земля гулко звенит под ногами. Последние курортные гости потянулись в Севастополь со своими узлами, чемоданами, корзинами, баулами, золотушными детьми и декадентскими девицами. Как воспоминание о гостях, остались только виноградные ошкурки, которые, в видах своего драгоценного здоровья, разбросали больные повсюду — на набережной и по узким улицам — в противном изобилии, да еще тот бумажный сор в виде окурков, клочков писем и газет, что всегда остается после дачников.

И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и по-домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда нашумевших, накуривших, насоривших непрошеных гостей. Выползает на улицу исконное древнегреческое население, до сих пор прятавшееся по каким-то щелям и задним каморкам.

На набережной, поперек ее, во всю ширину, расстилаются сети. На грубых камнях мостовой они кажутся нежными и тонкими, как паутина, а рыбаки ползают по ним на четвереньках, подобно большим черным паукам, сплетающим разорванную воздушную западню. Другие сучат бечевку на белугу и на камбалу и для этого с серьезным, деловитым видом бегают взад и вперед по мостовой с веревкой через плечи, беспрерывно суча перед собой клубок ниток.

Атаманы баркасов оттачивают белужьи крючки — иступившиеся медные крючки, на которые, по рыбачьему поверью, рыба идет гораздо охотнее, чем на современные, английские, стальные. На той стороне залива конопатят, смолят и красят лодки, перевернутые вверх килем.

У каменных колодцев, где беспрерывно тонкой струйкой бежит и лепечет вода, подолгу, часами, судачат о своих маленьких хозяйских делах худые, темнолицые, большеглазые, длинноносые гречанки, так странно и трогательно похожие на изображение богородицы на старинных византийских иконах.

И все это совершается неторопливо, по-домашнему, по-соседски, с вековечной привычной ловкостью и красотой, под нежарким осенним

солнцем на берегах синего, веселого залива, под ясным осенним небом, которое спокойно лежит над развалиной покатых плешивых гор, окаймляющих залив.

О дачниках нет и помину. Их точно и не было. Два-три хороших дождя — и смыта с улиц последняя память о них. И все это бестолковое и суетливое лето с духовой музыкой по вечерам, и с пылью от дамских юбок, и с жалким флиртом, и спорами на политические темы — все становится далеким и забытым сном. Весь интерес рыбачьего поселка теперь сосредоточен только на рыбе.

В кофейнях у Ивана Юрьича и у Ивана Адамовича под стук костяшек домино рыбаки собираются в артели; избирается атаман. Разговор идет о паях, о половинках паев, о сетях, о крючках, о наживке, о макрели, о кефали, о лобане, о камсе и султанке, о камбале, белуге и морском петухе. В девять часов весь город погружается в глубокий сон.

Нигде во всей России, — а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, — нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве.

Выходишь на балкон — и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в

заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая. Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья. Изредка, раз в минуту, едва расслышишь, как хлюпнет маленькая волна о камень набережной. И этот одинокий, мелодичный звук еще больше углубляет, еще больше настораживает тишину. Слышишь, как размеренными толчками шумит кровь у тебя в ушах. Скрипнула лодка на своем канате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии.

Гляжу налево, туда, где узкое горло залива исчезает, сузившись между двумя горами.

Там лежит длинная, пологая гора, увенчанная старыми развалинами. Если приглядишься внимательно, то ясно увидишь всю ее, подобную сказочному гигантскому чудовищу, которое, припав грудью к заливу и глубоко всунув в воду свою темную морду с настороженным ухом, жадно пьет и не может напиться.

На том месте, где у чудовища должен приходиться глаз, светится крошечной красной точкой фонарь таможенного кордона. Я знаю этот фонарь, я сотни раз проходил мимо него, прикасался к нему рукой. Но в странной тишине и в глубокой

черноте этой осенней ночи я все яснее вижу и спину, и морду древнего чудовища, и я чувствую, что его хитрый и злобный маленький раскаленный глаз следит за мною с затаенным чувством ненависти.

В уме моем быстро проносится стих Гомера об узкогорлой черноморской бухте, в которой Одиссей видел кровожадных листригонов. Я думаю также о предприимчивых, гибких, красивых генуэзцах, воздвигавших здесь, на челе горы, свои колоссальные крепостные сооружения. Думаю также о том, как однажды бурной зимней ночью разбилась о грудь старого чудовища целая английская флотилия вместе с гордым щеголеватым кораблем «Black Prince»[21], который теперь покоится на морском дне, вот здесь, совсем близко около меня, со своими миллионами золотых слитков и сотнями жизней.

Старое чудовище в полусне щурит на меня свой маленький, острый, красный глаз. Оно представляется мне теперь старым-старым, забытым божеством, которое в этой черной тишине грезит своими тысячелетними снами. И чувство странной неловкости овладевает мною.

---

[21] Примечания: 21
Черный принц (*англ.*).

Раздаются замедленные, ленивые шаги ночного сторожа, и я различаю не только каждый удар его кованых, тяжелых рыбачьих сапогов о камни тротуара, но слышу также, как между двумя шагами он чиркает каблуками. Так ясны эти звуки среди ночной тиши, что мне кажется, будто я иду вместе с ним, хотя до него — я знаю наверное — более целой версты. Но вот он завернул куда-то вбок, в мощеный переулок, или, может быть, присел на скамейку: шаги его смолкли. Тишина. Мрак.

II. Макрель

Идет осень. Вода холодеет. Пока ловится только маленькая рыба в мережки, в эти большие вазы из сетки, которые прямо с лодки сбрасываются на дно. Но вот раздается слух о том, что Юра Паратино оснастил свой баркас и отправил его на место между мысом Айя и Ласпи, туда, где стоит его макрельный завод.

Конечно, Юра Паратино — не германский император, не знаменитый бас, не модный писатель, не исполнительница цыганских романсов, но, когда я думаю о том, каким весом и уважением окружено его имя на всем побережье Черного моря, — я с удовольствием и с гордостью вспоминаю его дружбу ко мне.

Юра Паратино вот каков: это невысокий, крепкий, просоленный и просмоленный грек, лет сорока. У него бычачья шея, темный цвет лица, курчавые черные волосы, усы, бритый подбородок квадратной формы, с животным угибом посредине, — подбородок, говорящий о страшной воле и большой жестокости, тонкие, твердые, энергично опускающиеся углами вниз губы. Нет ни одного человека среди рыбаков ловчее, хит-

рее, сильнее и смелее Юры Паратино. Никто еще не мог перепить Юру, и никто не видал его пьяным. Никто не сравнится с Юрой удачливостью — даже сам знаменитый Федор из Олеиза.

Ни в ком так сильно не развито, как в нем, то специально морское рыбачье равнодушие к несправедливым ударам судьбы, которое так высоко ценится этими солеными людьми.

Когда Юре говорят о том, что буря порвала его снасти или что его баркас, наполненный доверху дорогой рыбой, захлестнуло волной и он пошел ко дну, Юра только заметит вскользь:

— А туда его, к чертовой матери! — и тотчас же точно забудет об этом.

Про Юру рыбаки говорят так:

— Еще макрель только думает из Керчи идти сюда, а уже Юра знает, где поставить завод.

Завод — это сделанная из сети западня в десять сажен длиною и саженей пять в ширину. Подробности мало кому интересны. Достаточно только сказать, что рыба, идущая ночью большой массой вдоль берега, попадает, благодаря наклону сети, в эту западню и выбраться оттуда уже не может без помощи рыбаков, которые поднимают завод из воды и выпрастывают рыбу в свои баркасы. Важно только вовремя заметить тот момент,

когда вода на поверхности завода начнет кипеть, как каша в котле. Если упустить этот момент, рыба прорвет сеть и уйдет.

И вот, когда таинственное предчувствие уведомило Юру о рыбьих намерениях, вся Балаклава переживает несколько тревожных, томительно напряженных дней. Дежурные мальчики день и ночь следят с высоты гор за заводами, баркасы держатся наготове. Из Севастополя приехали скупщики рыбы. Местный завод консервов приготовляет сараи для огромных партий.

Однажды ранним утром повсюду — по домам, по кофейным, по улицам разносится, как молния, слух:

— Рыба пошла, рыба идет!

Макрель зашла в заводы к Ивану Егоровичу, к Коте, к Христо, к Спиро и к Капитанаки. И уж конечно, к Юре Паратино.

Все артели уходят на своих баркасах в море.

Остальные жители поголовно на берегу: старики, женщины, дети, и оба толстых трактирщика, и седой кофейщик Иван Адамович, и аптекарь, занятой человек, прибежавший впопыхах на минутку, и добродушный фельдшер Евсей Маркович, и оба местных доктора.

Особенно важно то обстоятельство, что первый

баркас, пришедший в залив, продает свою добычу по самой дорогой цене, — таким образом, для дожидающих на берегу соединяются вместе и интерес, и спорт, и самолюбие, и расчет.

Наконец в том месте, где горло бухты сужается за горами, показывается, круто огибая берег, первая лодка.

— Это Юра.

— Нет, Коля.

— Конечно, это Генали.

У рыбаков есть свой особенный шик. Когда улов особенно богат, надо не войти в залив, а прямо влететь на веслах, и трое гребцов мерно и часто, все как один, напрягая спину и мышцы рук, нагнув сильно шеи, почти запрокидываясь назад, заставляют лодку быстрыми, короткими толчками мчаться по тихой глади залива. Атаман, лицом к нам, гребет стоя; он руководит направлением баркаса.

Конечно, это Юра Паратино!

До самых бортов лодка наполнена белой, серебряной рыбой, так что ноги гребцов лежат на ней вытянутыми прямо и попирают ее. Небрежно, на ходу, в то время, когда гребцы почти еще не замедляют разгона лодки, Юра соскакивает на деревянную пристань.

Тотчас начинается торг со скупщиками.

— Тридцать! — говорит Юра и хлопает с размаху о ладонь длинной костлявой руки высокого грека.

Это значит, что он хочет отдать рыбу по тридцать рублей за тысячу.

— Пятнадцать! — кричит грек и, в свою очередь, высвободив руку из-под низу, хлопает Юру по ладони.

— Двадцать восемь!

— Восемнадцать!

Хлоп-хлоп…

— Двадцать шесть!

— Двадцать!

— Двадцать пять! — говорит хрипло Юра. — И у меня там еще идет один баркас.

А в это время из-за горла бухты показывается еще один баркас, другой, третий, еще два сразу. Они стараются перегнать друг друга, потому что цены на рыбу все падают и падают. Через полчаса за тысячу уже платят пятнадцать рублей, через час — десять и, наконец, пять и даже три рубля.

К вечеру вся Балаклава нестерпимо воняет рыбой. В каждом доме жарится или маринуется скумбрия. Широкие устья печей в булочных заставлены глиняной черепицей, на которой рыба

жарится в собственном соку. Это называется: макрель на шкаре — самое изысканное кушанье местных гастрономов. И все кофейные и трактиры наполнены дымом и запахом жареной рыбы.

А Юра Паратино — самый широкий человек во всей Балаклаве — заходит в кофейную, где сгрудились в табачном дыму и рыбьем чаду все балаклавские рыбаки, и, покрывая общий гам, кричит повелительно кофейщику:

— Всем по чашке кофе!

Момент всеобщего молчания, изумления и восторга.

— С сахаром или без сахару? — спрашивает почтительно хозяин кофейни, огромный, черномазый Иван Юрьич.

Юра в продолжение одной секунды колеблется: чашка кофе стоит три копейки, а с сахаром пять… Но он чужд мелочности. Сегодня последний пайщик на его баркасе заработал не меньше десяти рублей. И он бросает пренебрежительно:

— С сахаром. И музыку!..

Появляется музыка: кларнет и бубен. Они бубнят и дудят до самой поздней ночи однообразные, унылые татарские песни. На столах появляется молодое вино — розовое вино, пахнущее свежераздавленным виноградом; от него страшно

скоро пьянеешь и на другой день болит голова.

А на пристани в это время до поздней ночи разгружаются последние баркасы. Присев на корточки в лодке, двое или трое греков быстро, с привычной ловкостью хватают правой рукой две, а левой три рыбы и швыряют их в корзину, ведя точный, скорый, ни на секунду не прекращающийся счет.

И на другой день еще приходят баркасы с моря.

Кажется, вся Балаклава переполнилась рыбой.

Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкнешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз и опять засыпают. И домашние гуси, тоже сонные, качаются посредине залива, и из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы.

В воздухе еще много дней стоит крепкий запах свежей рыбы и чадный запах жареной рыбы. И легкой, клейкой рыбьей чешуей осыпаны деревянные пристани, и камни мостовой, и руки, и платья счастливых хозяек, и синие воды залива, лениво колышущегося под осенним солнцем.

III. Воровство

Вечер. Мы сидим в кофейне Ивана Юрьича, освещенной двумя висячими лампами «молния». Густо накурено. Все столики заняты. Кое-кто играет в домино, другие в карты, третьи пьют кофе, иные просто, так себе, сидят в тепле и свете, перекидываясь разговорами и замечаниями. Длинная, ленивая, уютная, приятная вечерняя скука овладела всей кофейной.

Понемногу мы затеваем довольно странную игру, которой увлекаются все рыбаки. Несмотря на скромность, должен сознаться, что честь изобретения этой игры принадлежит мне. Она состоит в том, что поочередно каждому из участников завязываются глаза платком, завязываются плотно, морским узлом, потом на голову ему накидывается куртка, и затем двое других игроков, взяв его под руки, водят по всем углам кофейни, несколько раз переворачивают на месте вокруг самого себя, выводят на двор, опять приводят в кофейню и опять водят его между столами, всячески стараясь запутать его. Когда, по общему мнению, испытуемый достаточно сбит с толку, его останавливают и спрашивают:

— Показывай, где север?

Каждый подвергается такому экзамену по три раза, и тот, у кого способность ориентироваться оказалась хуже, чем у других, ставит всем остальным по чашке кофе или соответствующее количество полубутылок молодого вина. Надо сказать, что в большинстве случаев проигрываю я. Но Юра Паратино показывает всегда на N с точностью магнитной стрелки. Этакий зверь!

Но вдруг я невольно оборачиваюсь назад и замечаю, что Христо Амбарзаки подзывает меня к себе глазами. Он не один, с ним сидит мой атаман и учитель Яни.

Я подхожу. Христо для виду требует домино, и в то время когда мы притворяемся, что играем, он, гремя костяшками, говорит вполголоса:

— Берите ваши дифаны и вместе с Яни приходите тихонько к пристани. Бухта вся полна кефалью, как банка маслинами. Это ее загнали свиньи.

Дифаны — это очень тонкие сети, в сажень вышиной, сажен шестьдесят длины. Они о трех полотнищах. Два крайние с широкими ячейками, среднее с узкими. Маленькая скумбрия пройдет сквозь широкие стены, но запутается во внутренних; наоборот, большая и крупная кефаль или

лобан, который только стукнулся бы мордой о среднюю стену и повернулся бы назад, запутывается в широких наружных ячейках. Только у меня одного в Балаклаве есть такие сети.

Потихоньку, избегая встретиться с кем-либо, мы выносим вместе с Яни сети на берег. Ночь так темна, что мы с трудом различаем Христо, который ждет уже нас в лодке. Какое-то фырканье, хрюканье, тяжелые вздохи слышатся в заливе. Эти звуки производят дельфины, или морские свиньи, как их называют рыбаки. Многотысячную, громадную стаю рыбы они загнали в узкую бухту и теперь носятся по заливу, беспощадно пожирая ее на ходу.

То, что мы сейчас собираемся сделать, — без сомнения, преступление. По своеобразному старинному обычаю, позволяется ловить в бухте рыбу только на удочку и в мережки. Лишь однажды в год, и то не больше как в продолжение трех дней, ловят ее всей Балаклавой в общественные сети. Это — неписаный закон, своего рода историческое рыбачье табу.

Но ночь так черна, вздохи и хрюканье дельфинов так возбуждают страстное охотничье любопытство, что, подавив в себе невольный вздох раскаяния, я осторожно прыгаю в лодку, и в

то время как Христо беззвучно гребет, я помогаю Яни приводить сети в порядок. Он перебирает нижний край, отягощенный большими свинцовыми грузилами, а я быстро и враз с ним передаю ему верхний край, оснащенный пробковыми поплавками.

Но чудесное, никогда не виданное зрелище вдруг очаровывает меня. Где-то невдалеке, у левого борта, раздается храпенье дельфина, и я внезапно вижу, как вокруг лодки и под лодкой со страшной быстротой проносится множество извилистых серебристых струек, похожих на следы тающего фейерверка. Это бежат сотни и тысячи испуганных рыб, спасающихся от преследования прожорливого хищника. Тут я замечаю, что все море горит огнями. На гребнях маленьких, чуть плещущих волн играют голубые драгоценные камни. В тех местах, где весла трогают воду, загораются волшебным блеском глубокие блестящие полосы. Я прикасаюсь к воде рукой, и когда вынимаю ее обратно, то горсть светящихся брильянтов падает вниз, и на моих пальцах долго горят нежные синеватые фосфорические огоньки. Сегодня — одна из тех волшебных ночей, про которые рыбаки говорят:

— Море горит!..

Другой косяк рыбы со страшной быстротой проносится под лодкой, бороздя воду короткими серебряными стрелками. И вот я слышу фырканье дельфина совсем близко. Наконец вот и он! Он показывается с одной стороны лодки, исчезает на секунду под килем и тотчас же проносится дальше. Он идет глубоко под водой, но я с необыкновенной ясностью различаю весь его мощный бег и все его могучее тело, осеребренное игрой инфузорий, обведенное, точно контуром, миллиардом блесток, похожее на сияющий стеклянный бегущий скелет.

Христо гребет совершенно беззвучно, и Яни всего-навсего только один раз ударил свинцовыми грузилами о дерево. Мы перебрали уже всю сеть, и теперь можно начинать.

Мы подходим к противоположному берегу. Яни прочно устанавливается на носу, широко расставив ноги. Большой плоский камень, привязанный к веревке, тихо скользит у него из рук, чуть слышно плещет об воду и погружается на дно. Большой пробковый буек всплывает наверх, едва заметно чернея на поверхности залива. Теперь совершенно беззвучно мы описываем лодкой полукруг во всю длину нашей сети и опять причаливаем к берегу и бросаем другой буек. Мы

внутри замкнутого полукруга.

Если бы мы не занимались браконьерством, а работали на открытом, свободном месте, то теперь мы начали бы коладить или, вернее, шантажировать, то есть мы заставили бы шумом и плеском весел всю захваченную нашим полукругом рыбу кинуться в расставленные для нее сети, где она должна застрянуть головами и жабрами в ячейках. Но наше дело требует тайны, а поэтому мы только проезжаем от буйка до буйка, туда и обратно, два раза, причем Христо беззвучно бурлит веслом воду, заставляя ее вскипать прекрасными голубыми электрическими буграми. Потом мы возвращаемся к первому буйку. Яни по-прежнему осторожно вытягивает камень, служивший якорем, и без малейшего стука опускает его на дно. Потом, стоя на носу, выставив вперед левую ногу и опершись на нее, он ритмическими движениями поднимает то одну, то другую руку, вытягивая вверх сеть. Наклонившись немного через борт, я вижу, как сеть бежит из воды, и каждая ячейка ее, каждая ниточка глубоко видны мне, точно восхитительное огненное плетение. С пальцев Яни стремятся вниз и падают маленькие дрожащие огоньки.

И я уже слышу, как мокро и тяжело шлепа-

ется большая живая рыба о дно лодки, как она жирно трепещет, ударяя хвостом о дерево. Мы постепенно приближаемся ко второму буйку и с прежними предосторожностями вытаскиваем его из воды.

Теперь моя очередь садиться на весла. Христо и Яни снова перебирают всю сеть и выпрастывают из ее ячеек кефаль. Христо не может сдержать себя и с счастливым сдавленным смехом кидает через голову Коли к моим ногам большую толстую серебряную кефаль.

— Вот так рыба! — шепчет он мне.

Яни тихо останавливает его.

Когда их работа кончена и мокрая сеть вновь лежит на носовой площадке баркаса, я вижу, что все дно застлано живой, еще шевелящейся рыбой. Но нам нужно торопиться. Мы делаем еще круг, еще и еще, хотя благоразумие давно уже велит нам вернуться в город. Наконец мы подходим к берегу в самом глухом месте. Яни приносит корзину, и с вкусным чмоканьем летит в нее охапки большой мясистой рыбы, от которой так свежо и возбуждающе пахнет.

А через десять минут мы возвращаемся обратно в кофейню один за другим. Каждый выдумывает какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Но

штаны и куртки у нас мокры, а у Яни запуталась в усах и бороде рыбья чешуя, и от нас еще идет запах моря и сырой рыбы. И Христо, который не может справиться с недавним охотничьим возбуждением, нет-нет да и намекнет на наше предприятие.

— А я сейчас шел по набережной… Сколько свиней зашло в бухту. Ужас! — и метнет на нас лукавым, горящим черным глазом.

Яни, который вместе с ним относил и прятал корзину, сидит около меня и едва слышно бормочет в чашку с кофе:

— Тысячи две, и все самые крупные. Я вам снес три десятка.

Это моя доля в общей добыче. Я потихоньку киваю головой. Но теперь мне немного совестно за мое недавнее преступление. Впрочем, я ловлю несколько чужих быстрых плутоватых взглядов. Кажется, что не мы одни занималась в эту ночь браконьерством!

IV. Белуга

Наступает зима. Как-то вечером пошел снег, и все стало среди ночи белым: набережная, лодки у берега, крыши домов, деревья. Только вода в заливе остается жутко черной и неспокойно плещется в этой белой тихой раме.

На всем Крымском побережье — в Анапе, Судаке, Керчи, Феодосии, Ялте, Балаклаве и Севастополе — рыбаки готовятся на белугу. Чистятся рыбачьи сапоги, огромные до бедер сапоги из конской кожи, весом по полупуду каждый, подновляются непромокаемые, крашенные желтой масляной краской плащи и кожаные штаны, штопаются паруса, вяжутся переметы.

Набожный рыбак Федор из Олеиза задолго до белужьей ловли теплит в своем шалаше перед образом Николая угодника, Мир Ликийских Чудотворца и покровителя всех моряков, восковые свечи и лампадки с лучшим оливковым маслом. Когда он поедет в море со своей артелью, состоящей из татар, морской святитель будет прибит на корме как руководитель и податель счастья. Об этом знают все крымские рыбаки, потому что это повторяется из года в год и потому еще, что

за Федором установилась слава очень смелого и удачливого рыбалки.

И вот однажды, с первым попутным ветром, на исходе ночи, но еще в глубокой тьме, сотни лодок отплывают от Крымского полуострова под парусами в море.

Как красив момент отплытия! Сели все пятеро на кормовую часть баркаса. «С богом! Дай бог! С богом!» Падает вниз освобожденный парус и, похлопав нерешительно в воздухе, вдруг надувается, как выпуклое, острое, торчащее концом вверх белое птичье крыло. Лодка, вся наклонившись на один бок, плавно выносится из устья бухты в открытое море. Вода шипит и пенится за бортом и брызжет внутрь, а на самом борту, временами моча нижний край своей куртки в воде, сидит небрежно какой-нибудь молодой рыбак и с хвастливой небрежностью раскуривает верченую папиросу. Под кормовой решеткой хранится небольшой запас крепкой водки, немного хлеба, десяток копченых рыб и бочонок с водой.

Уплывают в открытое море за тридцать и более верст от берега. За этот длинный путь атаман и его помощник успевают изготовить снасть. А белужья снасть представляет собою вот что такое: вообразите себе, что по морскому дну, на

глубине сорока сажен, лежит крепкая веревка в версту длиной, а к ней привязаны через каждые три-четыре аршина короткие саженные куски шпагата, а на концах этих концов наживлена на крючки мелкая рыбешка. Два плоских камня на обеих оконечностях главной веревки служат якорями, затопляющими ее, а два буйка, плавающих на этих якорях на поверхности моря, указывают их положение. Буйки круглые, пробковые (сотня бутылочных пробок, обернутых сеткой), с красными флажками наверху.

Помощник с непостижимой ловкостью и быстротой насаживает приманку на крючки, а атаман тщательно укладывает всю снасть в круглую корзину, вдоль ее стен, правильной спиралью, наживкой внутрь. В темноте, почти ощупью, вовсе не так легко исполнить эту кропотливую работу, как кажется с первого взгляда. Когда придет время опускать снасть в море, то один неудачно насаженный крючок может зацепиться за веревку и жестоко перепутать всю систему.

На рассвете приходят на место. У каждого атамана есть свои излюбленные счастливые пункты, и он их находит в открытом море, за десятки верст от берега так же легко, как мы находим коробку с перьями на своем письменном столе.

Надо только стать таким образом, чтобы Полярная звезда очутилась как раз над колокольней монастыря св. Георгия, и двигаться, не нарушая этого направления, на восток до тех пор, пока не откроется Форосский маяк. У каждого атамана имеются свои тайные вехи в виде маяков, домов, крупных прибрежных камней, одиноких сосен на горах или звезд.

Определили место. Выбрасывают на веревке в море первый камень, устанавливают глубину, привязывают буек и от него идут на веслах вперед на всю длину перемета, который атаман с необычайной быстротой выматывает из корзины. Опускают второй камень, пускают на воду второй буек — и дело окончено. Возвращаются домой на веслах или, если ветер позволяет лавировать, под парусом. На другой день или через день идут опять в море и вытаскивают снасть. Если Богу или случаю будет угодно, на крючьях окажется белуга, проглотившая приманку, огромная остроносая рыба, вес которой достигает десяти-двадцати, а в редких случаях даже тридцати и более пудов.

Так-то вот и вышел однажды ночью из бухты Ваня Андруцаки на своем баркасе. По правде сказать, никто не ожидал добра от такого пред-

приятия. Старый Андруцаки умер прошлой весной, а Ваня был слишком молод, и, по мнению опытных рыбаков, ему следовало бы еще года два побыть простым гребцом да еще год помощником атамана. Но он набрал свою артель из самой зеленой и самой отчаянной молодежи, сурово прикрикнул, как настоящий хозяин, на занывшую было старуху-мать, изругал ворчливых стариков-соседей гнусными матерными словами и вышел в море пьяный, с пьяной командой, стоя на корме со сбитой лихо на затылок барашковой шапкой, из-под которой буйно выбивались на загорелый лоб курчавые, черные, как у пуделя, волосы.

В эту ночь на море дул крепкий береговой и шел снег. Некоторые баркасы, выйдя из бухты, вскоре вернулись назад, потому что греческие рыбаки, несмотря на свою многовековую опытность, отличаются чрезвычайным благоразумием, чтобы не сказать трусостью. «Погода не пускает», — говорили они.

Но Ваня Андруцаки возвратился домой около полудня с баркасом, наполненным самой крупной белугой, да, кроме того, еще приволок на буксире огромную рыбину, чудовище в двадцать пудов весом, которое артель долго добивала дере-

вянными колотушками и веслами.

С этим великаном пришлось порядочно-таки помучиться. Про белугу рыбаки вообще говорят, что надо только подтянуть ее голову в уровень с бортом, а там уж рыба сама вскочит в лодку. Правда, иногда при этом она могучим всплеском хвоста сбивает в воду неосторожного ловца. Но бывают изредка при белужьей ловле и более серьезные моменты, грозящие настоящей опасностью для рыбаков. Так и случилось с Ваней Андруцаки.

Стоя на самом носу, который то взлетал на пенистые бугры широких волн, то стремительно падал в гладкие водяные зеленые ямы, Ваня размеренными движениями рук и спины выбирал из моря перемет. Пять белужонков, попавшихся с самого начала, почти один за другим, уже лежали неподвижно на дне баркаса, но потом ловля пошла хуже: сто или полтораста крючков подряд оказались пустыми, с нетронутой наживкой.

Артель молча гребла, не спуская глаз с двух точек на берегу, указанных атаманом. Помощник сидел у ног Вани, освобождая крючки от наживки и складывая веревку в корзину правильным бунтом. Вдруг одна из пойманных рыб судорожно встрепенулась.

— Бьет хвостом, поджидает подругу, — сказал молодой рыбак Павел, повторяя старую рыбачью примету.

И в ту же секунду Ваня Андруцаки почувствовал, что огромная живая тяжесть, вздрагивая и сопротивляясь, повисла у него на натянувшемся вкось перемете, в самой глубине моря. Когда же, позднее, наклонившись за борт, он увидел под водой и все длинное, серебряное, волнующееся, рябящее тело чудовища, он не удержался и, обернувшись назад к артели, прошептал с сияющими от восторга глазами:

— Здоровая!.. Как бык!.. Пудов на сорок…

Этого уж никак не следовало делать! Спаси бог, будучи в море, предупреждать события или радоваться успеху, не дойдя до берега. И старая таинственная примета тотчас же оправдалась на Ване Андруцаки. Он уже видел не более как в полуаршине от поверхности воды острую, утлую костистую морду и, сдерживая бурное трепетание сердца, уже готовился подвести ее к борту, как вдруг… могучий хвост рыбы плеснул сверх волны, и белуга стремительно понеслась вниз, увлекая за собою веревку и крючки.

Ваня не растерялся. Он крикнул рыбакам: «Табань!» — скверно и очень длинно выругался

и принялся травить перемет вслед убегавшей рыбе. Крючки так и мелькали в воздухе из-под его рук, шлепаясь в воду. Помощник пособлял ему, выпрастывая снасть из корзины. Гребцы налегли на весла, стараясь ходом лодки опередить подводное движение рыбы. Это была страшно быстрая и точная работа, которая не всегда кончается благополучно. У помощника запуталось несколько крючков. Он крикнул Ване: «Стоп травить!» и принялся распутывать снасть с той быстротой и тщательностью, которая в минуты опасности свойственна только морским людям. В эти несколько секунд перемет в руке Вани натянулся, как струна, и лодка скакала, точно бешеная, с волны на волну, увлекаемая ужасным бегом рыбы и подгоняемая вслед за ней усилиями гребцов.

«Трави!» — крикнул наконец помощник. Веревка с необычайной быстротой вновь побежала из ловких рук атамана, но вдруг лодку дернуло, и Ваня с глухим стоном выругался: медный крючок с размаха вонзился ему в мякоть ладони под мизинцем и засел там во всю глубину извива. И тут-то Ваня показал себя настоящим соленым рыбаком. Обмотав перемет вокруг пальцев раненой руки, он задержал на секунду бег веревки,

а другой рукой достал нож и перерезал шпагат. Крючок крепко держался в руке своим жалом, но Ваня вырвал его с мясом и бросил в море. И хотя обе его руки и веревка перемета сплошь окрасились кровью и борт лодки и вода в баркасе покраснели от его крови, он все-таки довел свою работу до конца и сам нанес первый оглушающий удар колотушкой по башке упрямой рыбе.

Его улов был первым белужьим уловом этой осени. Артель продала рыбу по очень высокой цене, так что на каждый пай пришлось почти до сорока рублей. По этому случаю было выпито страшное количество молодого вина, а под вечер весь экипаж «Георгия Победоносца» — так назывался Ванин баркас, отправился на двуконном фаэтоне с музыкой в Севастополь. Там храбрые балаклавские рыбаки вместе с флотскими матросами разнесли на мелкие кусочки фортепиано, двери, кровати, стулья и окна в публичном доме, потом передрались между собою и только к свету вернулись домой, пьяные, в синяках, но с песнями. И только что вылезли из коляски, как тотчас же свалились в лодку, подняли парус и пошли в море забрасывать крючья.

С этого самого дня за Ваней Андруцаки установилась слава, как за настоящим соленым

атаманом.

V. Господня рыба

Апокрифическое сказание

Эту прелестную древнюю легенду рассказал мне в Балаклаве атаман рыбачьего баркаса Коля Константи, настоящий соленый грек, отличный моряк и большой пьяница.

Он в то время учил меня всем премудрым и странным вещам, составляющим рыбачью науку.

Он показывал мне, как вязать морские узлы и чинить прорванные сети, как наживлять крючки на белугу, забрасывать и промывать мережки, кидать наметку на камсу, выпрастывать кефаль из трехстенных сетей, жарить лобана на шкаре, отковыривать ножом петалиди, приросших к скале, и есть сырыми креветок, узнавать ночную погоду по дневному прибою, ставить парус, выбирать якорь и измерять глубину дна.

Он терпеливо объяснял мне разницу между направлением и свойствами ветров: леванти, греба-леванти, широкко, тремонтана, страшного бора, благоприятного морского и капризного берегового.

Ему же я обязан знанием рыбачьих обычаев и суеверий во время ловли: нельзя свистать на баркасе; плевать позволено только за борт; нельзя упоминать черта, хотя можно проклинать при неудаче: веру, могилу, гроб, душу, предков, глаза, печенки, селезенки и так далее; хорошо оставлять в снасти как будто нечаянно забытую рыбешку — это приносит счастье; спаси бог выбросить за борт что-нибудь съестное, когда баркас еще в море, но всего ужаснее, непростительнее и зловреднее — это спросить рыбака: «Куда?» За такой вопрос бьют.

От него я узнал о ядовитой рыбке дракус, похожей на мелкую скумбрию, и о том, как ее снимать с крючка, о свойстве морского ерша причинять нарывы уколом плавников, о страшном двойном хвосте электрического ската и о том, как искусно выедает морской краб устрицу, вставив сначала в ее створку маленький камешек.

Но немало также я слышал от Коли диковинных и таинственных морских рассказов, слышал в те сладкие, тихие ночные часы ранней осени, когда наш ялик нежно покачивался среди моря, вдали от невидимых берегов, а мы, вдвоем или втроем, при желтом свете ручного фонаря, не торопясь, попивали молодое розовое местное вино,

пахнувшее свежераздавленным виноградом.

«Среди океана живет морской змей в версту длиною. Редко, не более раза в десять лет, он подымается со дна на поверхность и дышит. Он одинок. Прежде их было много, самцов и самок, но столько они делали зла мелкой рыбешке, что Бог осудил их на вымирание, и теперь только один старый, тысячелетний змей-самец сиротливо доживает свои последние годы. Прежние моряки видели его — то здесь, то там — во всех странах света и во всех океанах.

Живет где-то среди моря, на безлюдном острове, в глубокой подводной пещере царь морских раков. Когда он ударяет клешней о клешню, то на поверхности воды вскипает великое волнение.

Рыбы говорят между собой — это всякий рыбак знает. Они сообщают друг другу о разных опасностях и человеческих ловушках, и неопытный, неловкий рыбак может надолго испортить счастливое место, если выпустит из сетей рыбу».

Слышал я также от Коли о Летучем Голландце, об этом вечном скитальце морей, с черными парусами и мертвым экипажем. Впрочем, эту страшную легенду знают и ей верят на всех морских побережьях Европы.

Но одно далекое предание, рассказанное им,

особенно тронуло меня своей наивной рыбачьей простотой.

Однажды на заре, когда солнце еще не всходило, но небо было цвета апельсина и по морю бродили розовые туманы, я и Коля вытягивали сеть, поставленную с вечера поперек берега на скумбрию. Улов был совсем плохой. В ячейке сети запутались около сотни скумбрии, пять-шесть ершей, несколько десятков золотых толстых карасиков и очень много студенистой перламутровой медузы, похожей на огромные бесцветные шляпки грибов со множеством ножек.

Но попалась также одна очень странная, не виданная мною доселе рыбка. Она была овальной, плоской формы и уместилась бы свободно на женской ладони. Весь ее контур был окружен частыми, мелкими, прозрачными ворсинками. Маленькая голова, и на ней совсем не рыбьи глаза — черные, с золотыми ободками, необыкновенно подвижные. Тело ровного золотистого цвета. Всего же поразительнее были в этой рыбке два пятна, по одному с каждого бока, посредине величиною с гривенник, но неправильной формы и чрезвычайно яркого небесно-голубого цвета, какого нет в распоряжении художника.

— Посмотрите, — сказал Коля, — вот господня

рыба. Она редко попадается.

Мы поместили ее сначала в лодочный черпак, а потом, возвращаясь домой, я налил морской воды в большой эмалированный таз и пустил туда господню рыбу. Она быстро заплавала по окружности таза, касаясь его стенок, и все в одном и том же направлении. Если ее трогали, она издавала чуть слышный, короткий, храпящий звук и усиливала беспрестанный бег. Черные глаза ее вращались, а от мерцающих бесчисленных ворсинок быстро дрожала и струилась вода.

Я хотел сохранить ее, чтобы отвезти живой в Севастополь, в аквариум биологической станции, но Коля сказал, махнув рукой:

— Не стоит и трудиться. Все равно не выживет. Это такая рыба. Если ее хоть на секунду вытащить из моря — ей уже не жить. Это господня рыба.

К вечеру она умерла. А ночью, сидя в ялике, далеко от берега, я вспомнил и спросил:

— Коля, а почему же эта рыба — господня?

— А вот почему, — ответил Коля с глубокой верой. — Старые греки у нас рассказывают так. Когда Иисус Христос, Господь наш, воскрес на третий день после своего погребения, то никто ему не хотел верить. Видели много чудес от него при его жизни, но этому чуду не могли поверить

и боялись.

Отказались от него ученики, отказались апостолы, отказались жены-мироносицы. Тогда приходит он к своей матери. А она в это время стояла у очага и жарила на сковородке рыбу, приготовляя обед себе и близким. Господь говорит ей:

— Здравствуй! Вот я, твой сын, воскресший, как было сказано в Писании. Мир с тобою.

Но она задрожала и воскликнула в испуге:

— Если ты подлинно сын мой Иисус, сотвори чудо, чтобы я уверовала.

Улыбнулся Господь, что она не верит ему, и сказал:

— Вот я возьму рыбу, лежащую на огне, и она оживет. Поверишь ли ты мне тогда?

И едва он, прикоснувшись своими двумя пальцами к рыбе, поднял ее на воздух, как она затрепыхалась и ожила.

Тогда уверовала мать господа в чудо и радостно поклонилась сыну воскресшему. А на этой рыбе с тех пор так и остались два небесных пятна. Это следы господних пальцев.

Так рассказывал простой, немудрый рыбак наивное давнее сказание. Спустя же несколько дней я узнал, что у господней рыбы есть еще другое

название — Зевсова рыба. Кто скажет: до какой глубины времен восходит тот апокриф?

VI. Бора

О, милые простые люди, мужественные сердца, наивные первобытные души, крепкие тела, обвеянные соленым морским ветром, мозолистые руки, зоркие глаза, которые столько раз глядели в лицо смерти, в самые ее зрачки!

Третьи сутки дует бора. Бора — иначе норд-ост — это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни.

Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать — это самый капризный ветер на самом капризном из морей.

Старые рыбаки говорят, что единственное средство спастись от него — это «удирать в открытое море». И бывают случаи, что бора уносит какой-нибудь четырехгребный баркас или голубую, разукрашенную серебряными звездами турецкую фелюгу через все Черное море, за триста пятьдесят верст, на Анатолийский берег.

Третьи сутки дует бора. Новолуние. Молодой месяц, как и всегда, рождается с большими мучениями и трудом. Опытные рыбаки не только не думают о том, чтобы пуститься в море, но даже вытащили свои баркасы подальше и понадежнее на берег.

Один лишь отчаянный Федор из Олеиза, который за много дней перед этим теплил свечу перед образом Николая Чудотворца, решился выйти, чтобы поднять белужью снасть.

Три раза со своей артелью, состоявшей исключительно из татар, отплывал он от берега и три раза возвращался обратно на веслах с большими усилиями, проклятиями и богохульствами, делая в час не более одной десятой морского узла. В бешенстве, которое может быть понятно только

моряку, он срывал прикрепленный на носу образ Николая, Мир Ликийских Чудотворца, швырял его на дно лодки, топтал ногами и мерзко ругался, а в это время его команда шапками и горстями вычерпывала воду, хлеставшую через борт.

В эти дни старые хитрые балаклавские листригоны сидели по кофейням, крутили самодельные папиросы, пили крепкий бобковый кофе с гущей, играли в домино, жаловались на то, что погода не пускает, и в уютном тепле, при свете висячих ламп, вспоминали древние легендарные случаи, наследие отцов и дедов, о том, как в таком-то и в таком-то году морской прибой достигал сотни саженей вверх и брызги от него долетали до самого подножия полуразрушенной Генуэзской крепости.

Пропал без вести один баркас из Фороса, на котором работала артель пришлых русопетов, восьмеро каких-то белобрысых Иванов, приехавших откуда-то, не то с Ильменя, не то с Волги искать удачи на Черном море. В кофейнях никто о них не пожалел и не потревожился. Почмокали языком, посмеялись и сказали презрительно и просто: «Тц… тц… тц… конечно, дураки, разве можно в такую погоду? Известно — русские». В предутренний час темной ревущей ночи пошли

они все, как камни, на дно в своих коневых сапогах до поясницы, в кожаных куртках, в крашеных желтых непромокаемых плащах.

Совсем другое дело было, когда перед борой вышел в море Ваня Андруцаки, наплевав на все предостережения и уговоры старых людей. Бог его знает, зачем он это сделал? Вернее всего, из мальчишеского задора, из буйного молодого самолюбия, немножко под пьяную руку. А может быть, на него любовалась в эту минуту красногубая черноглазая гречанка?

Поднял парус, — а ветер уже и в то время был очень свежий, — и только его и видели! Со скоростью хорошего призового рысака вынеслась лодка из бухты, помаячила минут пять своим белым парусом в морской синеве, и сейчас же нельзя было разобрать, что там вдали белеет: парус или белые барашки, скакавшие с волны на волну?

А вернулся он домой только через трое суток…

Трое суток без сна, без еды и питья, днем и ночью, и опять днем и ночью, и еще сутки в крошечной скорлупке, среди обезумевшего моря — и вокруг ни берега, ни паруса, ни маячного огня, ни пароходного дыма! А вернулся Ваня Андруцаки домой — и точно забыл обо всем, точно ничего с

ним и не было, точно он съездил на мальпосте в Севастополь и купил там десяток папирос.

Были, правда, некоторые подробности, которые я с трудом выдавил из Ваниной памяти. Например, с Юрой Липиади случилось, на исходе вторых суток, нечто вроде истерического припадка, когда он начал вдруг ни с того ни с сего плакать и хохотать и совсем уже было выпрыгнул за борт, если бы Ваня Андруцаки вовремя не успел ударить его рулевым веслом по голове. Был также момент, когда артель, напуганная бешеным ходом лодки, захотела убрать парус, и Ване стоило, должно быть, больших усилий, чтобы сжать в кулак волю этих пяти человек и, перед дыханием смерти, заставить их подчиниться себе. Кое-что я узнал и о том, как кровь выступала у гребцов из-под ногтей от непомерной работы. Но все это было рассказано мне отрывками, нехотя, вскользь. Да! Конечно, в эти трое суток напряженной, судорожной борьбы со смертью было много сказано и сделано такого, о чем артель «Георгия Победоносца» не расскажет никому, ни за какие блага, до конца дней своих!

В эти трое суток ни один человек не сомкнул глаз в Балаклаве, кроме толстого Петалиди, хозяина гостиницы «Париж». И все тревожно бродили

по набережной, лазили на скалы, взбирались на Генуэзскую крепость, которая высится своими двумя древними зубцами над городом, все: старики, молодые, женщины и дети. Полетели во все концы света телеграммы: начальнику черноморских портов, местному архиерею, на маяки, на спасательные станции, морскому министру, министру путей сообщения, в Ялту, в Севастополь, в Константинополь и Одессу, греческому патриарху, губернатору и даже почему-то русскому консулу в Дамаске, который случайно оказался знакомым одному балаклавскому греку-аристократу, торгующему мукой и цементом.

Проснулась древняя, многовековая спайка между людьми, кровное товарищеское чувство, так мало заметное в буднишние дни среди мелких расчетов и житейского сора, заговорили в душах тысячелетние голоса прапрапращуров, которые задолго до времен Одиссея вместе отстаивались от боры в такие же дни и такие же ночи.

Никто не спал. Ночью развели огромный костер на верху горы, и все ходили по берегу с огнями, точно на Пасху. Но никто не смеялся, не пел, и опустели все кофейни.

Ах, какой это был восхитительный момент, когда утром, часов около восьми, Юра Паратино,

стоявший на верху скалы над Белыми камнями, прищурился, нагнулся вперед, вцепился своими зоркими глазами в пространство и вдруг крикнул:

— Есть! Идут!

Кроме Юры Паратино, никто не разглядел бы лодки в этой черно-синей морской дали, которая колыхалась тяжело и еще злобно, медленно утихая от недавнего гнева. Но прошло пять, десять минут, и уже любой мальчишка мог удостовериться в том, что «Георгий Победоносец» идет, лавируя под парусом, к бухте. Была большая радость, соединившая сотню людей в одно тело и в одну душу!

Перед бухтой они опустили парус и вошли на веслах, вошли, как стрела, весело напрягая последние силы, вошли, как входят рыбаки в залив после отличного улова белуги. Кругом плакали от счастья: матери, жены, невесты, сестры, братишки. Вы думаете, что хоть один рыбак из артели «Георгия Победоносца» размяк, расплакался, полез целоваться или рыдать на чьей-нибудь груди? Ничуть! Они все шестеро, еще мокрые, осипшие и обветренные, ввалились в кофейную Юры, потребовали вина, орали песни, заказали музыку и плясали, как сумасшедшие, оставляя

на полу лужи воды. И только поздно вечером товарищи разнесли их, пьяных и усталых, по домам; и спали они без просыпу по двадцати часов каждый. А когда проснулись, то глядели на свою поездку в море ну вот так, как будто бы они съездили на мальпосте в Севастополь на полчаса, чуть-чуть кутнули там и вернулись домой.

VII. Водолазы

1

В Балаклавскую бухту, узкогорлую, извилистую и длинную, кажется, со времен Крымской кампании[22] не заходил ни один пароход, кроме разве миноносок на маневрах. Да и что, по правде сказать, делать пароходам в этом глухом рыбачьем полупоселке-полугородке? Единственный груз — рыбу — скупают на месте перекупщики и везут на продажу за тринадцать верст, в Севастополь; из того же Севастополя приезжают сюда немногие дачники на мальпосте за пятьдесят копеек. Маленький, но отчаянной храбрости паровой катеришка «Герой», который ежедневно бегает между Ялтой и Алупкой, пыхтя, как зарьявшая[23] собака, и треплясь, точно в урагане, в самую легкую зыбь, пробовал было установить пассажирское сообщение и с Балаклавой. Но из этой попытки, повторенной раза три-четыре,

---

[22] Примечания: 22
Имеется в виду Крымская война 1853–1856 годов.

[23] Примечания: 23
Зарьявшая — от «рьяный»: задохнувшаяся, надорвавшаяся.

ничего путного не вышло: только лишняя трата угля и времени. В каждый рейс «Герой» приходил пустым и возвращался пустым. А балаклавские греки, отдаленные потомки кровожадных гомеровских листригонов, встречали и провожали его, стоя на пристани и заложив руки в карманы штанов, меткими словечками, двусмысленными советами и язвительными пожеланиями.

Зато во время Севастопольской осады голубая прелестная бухта Балаклавы вмещала в себе чуть ли не четверть всей союзной флотилии. От этой героической эпохи остались и до сих пор кое-какие достоверные следы: крутая дорога в балке Кефало-Вриси, проведенная английскими саперами, итальянское кладбище на верху балаклавских гор между виноградниками, да еще при плантаже земли под виноград время от времени откапывают короткие гипсовые и костяные трубочки, из которых более чем полвека тому назад курили табак союзные солдаты.

Но легенда цветет пышнее. До сих пор балаклавские греки убеждены, что только благодаря стойкости их собственного балаклавского батальона смог так долго продержаться Севастополь. Да! В старину населяли Балаклаву железные и гордые люди. Об их гордости устное предание

удержало замечательный случай.

Не знаю, бывал ли когда-нибудь покойный император Николай I в Балаклаве. Думаю всячески, что во время Крымской войны он вряд ли, за недостатком времени, заезжал туда. Однако живая история уверенно повествует о том, как на смотру, подъехав на белом коне к славному балаклавскому батальону, грозный государь, пораженный воинственным видом, огненными глазами и черными усищами балаклавцев, воскликнул громовым и радостным голосом:

— Здорово, ребята!

Но батальон молчал.

Царь повторил несколько раз свое приветствие, все в более и более гневном тоне. То же молчание! Наконец совсем уже рассерженный, император наскакал на батальонного начальника и воскликнул своим ужасным голосом:

— Отчего же они, черт их побери, не отвечают? Кажется, я по-русски сказал: «Здорово, ребята!»

— Здесь нет ребяти, — ответил кротко начальник. — Здесь се капитани.

Тогда Николай I рассмеялся — что же ему оставалось еще делать? — и вновь крикнул:

— Здравствуйте, капитаны!

И храбрые листригоны весело заорали в ответ:

— Ка́ли ме́ра (добрый день), ваше величество!

Так ли происходило это событие, или не так, и вообще происходило ли оно в действительности, судить трудно, за неимением веских и убедительных исторических данных. Но и до сих пор добрая треть отважных балаклавских жителей носит фамилию Капитанаки, и если вы встретите когда-нибудь грека с фамилией Капитанаки, будьте уверены, что он сам или его недалекие предки родом из Балаклавы.

2

Но самыми яркими и соблазнительными цветами украшено сказание о затонувшей у Балаклавы английской эскадре. Темной зимней ночью несколько английских судов направлялись к Балаклавской бухте, ища спасения от бури. Между ними был прекрасный трехмачтовый фрегат «Black Prince», везший деньги для уплаты жалованья союзным войскам. Шестьдесят миллионов рублей звонким английским золотом! Старикам даже и цифра известна с точностью.

Те же старики говорят, что таких ураганов теперь уже не бывает, как тот, что свирепствовал в эту страшную ночь! Громадные волны, ударяясь об отвесные скалы, всплескивали наверх до

подножия Генуэзской башни двадцать сажен высоты! — и омывали ее серые старые стены. Эскадра не сумела найти узкого входа в бухту или, может быть, найдя, не смогла войти в него. Она вся разбилась об утесы и вместе с великолепным кораблем «Black Prince» и с английским золотом пошла ко дну около Белых камней, которые и теперь еще внушительно торчат из воды там, где узкое горло бухты расширяется к морю, с правой стороны, если выходишь из Балаклавы.

Теперешние пароходы совершают свои рейсы далеко от бухты, верстах в пятнадцати-двадцати. С Генуэзской крепости едва различишь кажущийся неподвижным темный корпус парохода, длинный хвост серого тающего дымка и две мачты, стройно наклоненные назад. Зоркий рыбачий глаз, однако, почти безошибочно разбирает эти суда по каким-то приметам, непонятным нашему опыту и зрению. «Вот идет грузовой из Евпатории… Это Русского общества, а это Российский… это Кошкинский… А это валяет по мертвой зыби “Пушкина” — его и в тихую погоду валяет…»

3

И вот однажды, совсем неожиданно, в бухту вошел огромный, старинной конструкции,

необыкновенно грязный итальянский пароход «Genova»[24]. Случилось это поздним вечером, в ту пору осени, когда почти все курортные жильцы уже разъехались на север, но море еще настолько тепло, что настоящая рыбная ловля пока не начиналась, когда рыбаки не торопясь чинят сети и заготовляют крючки, играют в домино по кофейням, пьют молодое вино и вообще предаются временному легкому кейфу.

Вечер был тихий и темный, с большими спокойными звездами на небе и в спящей воде залива. Вдоль набережной зажигалась желтыми точками цепь фонарей. Закрывались светлые четырехугольники магазинов. Легкими черными силуэтами медленно двигались по улицам и по тротуару люди…

И вот, не знаю кто, кажется, мальчишки, игравшие наверху, у Генуэзской башни, принесли известие, что с моря завернул и идет к бухте какой-то пароход.

Через несколько минут все коренное мужское население было на набережной. Известно, что грек — всегда грек и, значит, прежде всего любопытен. Правда, в балаклавских греках чув-

---

[24] Примечания: 24
«Генуя» (*ит.*).

ствуется, кроме примеси позднейшей генуэзской крови, и еще какая-то таинственная, древняя, — почем знать, — может быть, даже скифская кровь — кровь первобытных обитателей этого разбойничьего и рыбачьего гнезда. Среди них увидишь много рослых, сильных и самоуверенных фигур; попадаются правильные, благородные лица; нередко встречаются блондины и даже голубоглазые; балаклавцы не жадны, не услужливы, держатся с достоинством, в море отважны, хотя и без нелепого риска, хорошие товарищи и крепко исполняют данное слово.

Положительно это особая, исключительная порода греков, сохранившаяся главным образом потому, что их предки чуть не сотнями поколений родились, жили и умирали в своем городишке, заключая браки лишь между соседями. Однако надо сознаться, что греки-колонизаторы оставили в их душах самую свою типичную черту, которой они отличались еще при Перикле, — любопытство и страсть к новостям.

Медленно, сначала показавшись лишь передовым крошечным огоньком из-за крутого загиба бухты, вплывал пароход в залив. Издали в густой теплой темноте ночи не было видно его очертаний, но высокие огни на мачтах, сигнальные

огни на мостике и ряд круглых светящихся иллюминаторов вдоль борта позволяли догадываться о его размерах и формах. В виду сотен лодок и баркасов, стоявших вдоль набережной, он едва заметно подвигался к берегу, с той внимательной и громоздкой осторожностью, с какой большой и сильный человек проходит сквозь детскую комнату, заставленную хрупкими игрушками.

Рыбаки делали предположения. Многие из них плавали раньше на судах коммерческого, а чаще военного флота.

— Что ты мне будешь говорить? Разве я не вижу? Конечно, — грузовой Русского общества.

— Нет, это не русский пароход.

— Верно, испортилось что-нибудь в машине, зашел чиниться.

— Может быть, военное судно?

— Скажешь!

Один Коля Константи, долго плававший на канонерской лодке по Черному и Средиземному морям, угадал верно, сказав, что пароход итальянский. И то угадал он это только тогда, когда пароход совсем близко, сажен на десять, подошел к берегу и можно было рассмотреть его облинявшие, облупленные борта, с грязными потеками из люков, и разношерстную команду на палубе.

С парохода взвился спиралью конец каната и, змеей развертываясь в воздухе, полетел на головы зрителей. Всем известно, что ловко забросить конец с судна и ловко поймать его на берегу считается первым условием своеобразного морского шика. Молодой Апостолиди, не выпуская изо рта папироски, с таким видом, точно он сегодня проделывает это в сотый раз, поймал конец на лету и тут же небрежно, но уверенно замотал его вокруг одной из двух чугунных пушек, которые с незапамятных времен стоят на набережной, врытые стоймя в землю.

От парохода отошла лодка. Три итальянца выскочили из нее на берег и завозились около канатов. На одном из них был суконный берет, на другом картуз с прямым четырехугольным козырьком, на третьем — какой-то вязаный колпак. Все они были маленькие крепыши, проворные, цепкие и ловкие, как обезьяны. Они бесцеремонно расталкивали плечами толпу, тараторили что-то на своем быстром, певучем и нежном генуэзском наречии и перекрикивались с пароходом. Все время на их загорелых лицах смеялись дружелюбно и фамильярно большие черные глаза и сверкали белые молодые зубы.

— Бона сера… итальяно… маринаро![25] — одобрительно сказал Коля.

— Oh! Buona sera, signore![26] — весело, разом, отозвались итальянцы.

Загремела с визгом якорная цепь. Забурлило и заклокотало что-то внутри парохода. Погасли огни в иллюминаторах. Через полчаса итальянских матросов спустили на берег.

Итальянцы — все как на подбор низкорослые, чернолицые и молодые, оказались общительными и веселыми молодцами. С какой-то легкой, пленительной развязностью заигрывали они в этот вечер в пивных залах и в винных погребках с рыбаками. Но балаклавцы встретили их сухо и сдержанно. Может быть, они хотели дать понять этим чужим морякам, что заход иностранного судна в бухту вовсе был для них не в редкость, что это случается ежедневно, и, стало быть, нечего тут особенно удивляться и радоваться. Может быть, в них говорил маленький местный патриотизм?

И — ах! — нехорошо они в этот вечер подшутили над славными, веселыми итальянцами, когда те, в своей милой международной доверчивости,

---

[25] Примечания: 25
Привет… итальянцы… моряки! (*ит.*)

[26] Примечания: 26
Привет, господин! (*ит.*)

тыкали пальцами в хлеб, вино, сыр и в другие предметы и спрашивали их названия по-русски, скаля ласково свои чудные зубы. Таким словам научили хозяева своих гостей, что каждый раз потом, когда генуэзцы в магазине или на базаре пробовали объясняться по-русски, то приказчики падали от хохота на свои прилавки, а женщины стремглав бросались бежать куда попало, закрывая от стыда головы платками.

И в тот же вечер — бог весть каким путем, точно по невидимым электрическим проводам — облетел весь город слух, что итальянцы пришли нарочно для того, чтобы поднять затонувший фрегат «Black Prince» вместе с его золотом, и что их работа продолжится целую зиму.

4

В успешность такого предприятия никто в Балаклаве не верил. Прежде всего, конечно, над морским кладом лежало таинственное заклятие. Замшелые, древние, белые, согбенные старцы рассказывали о том, что и прежде делались попытки добыть со дна английское золото; приезжали и сами англичане, и какие-то фантастические американцы, ухлопывали пропасть денег и уезжали из Балаклавы ни с чем. Да и что

могли поделать какие-нибудь англичане или американцы, если даже легендарные, прежние, героические балаклавцы потерпели здесь неудачу? Само собой разумеется, что прежде и погоды были не такие, и уловы рыбы, и баркасы, и паруса, и люди были совсем не такие, как теперешняя мелюзга. Был некогда мифический Спиро. Он мог опуститься на любую глубину и пробыть под водой четверть часа. Так вот этот Спиро, зажав между ногами камень в три пуда весом, опускался у Белых камней на глубину сорока сажен, на дно, где покоятся останки затонувшей эскадры. И Спиро все видел: и корабль и золото, но взять оттуда с собой не мог… не пускает.

— Вот бы Сашка Комиссионер попробовал, — лукаво замечал кто-нибудь из слушателей. — Он у нас первый ныряльщик.

И все кругом смеялись, и более других смеялся во весь свой гордый, прекрасный рот сам Сашка Аргириди, или Сашка Комиссионер, как его называют.

Этот парень — голубоглазый красавец с твердым античным профилем, — в сущности, первый лентяй, плут и шут на всем Крымском побережье. Его прозвали комиссионером за то, что иногда в разгаре сезона он возьмет и пришьет

себе на ободок картуза пару золотых позументов и самовольно усядется на стуле где-нибудь поблизости гостиницы, прямо на улице. Случается, что к нему обратятся с вопросом какие-нибудь легкомысленные туристы, и тут уж им никак не отлепиться от Сашки. Он мыкает их по горам, по задворкам, по виноградникам, по кладбищам, врет им с невероятной дерзостью, забежит на минуту в чей-нибудь двор, наскоро разобьет в мелкие куски обломок старого печного горшка и потом, «как слонов», уговаривает ошалевших путешественников купить по случаю эти черепки — остаток древней греческой вазы, которая была сделана еще до Рождества Христова… или сует им в нос обыкновенный овальный и тонкий голыш с провернутой вверху дыркой, из тех, что рыбаки употребляют как грузило для сетей, и уверяет, что ни один греческий моряк не выйдет в море без такого талисмана, освященного у раки Николая Угодника и спасающего от бури.

Но самый лучший его номер — подводный. Катая простодушную публику по заливу и наслушавшись вдоволь, как она поет «Нелюдимо наше море» и «Вниз по матушке по Волге», он искусно и незаметно заводит речь о затонувшей эскадре, о сказочном Спиро и вообще о нырянии. Но

четверть часа под водой — это даже самым доверчивым пассажирам кажется враньем, да еще при этом специально греческим враньем. Ну, две-три минуты — это еще куда ни шло, это можно, пожалуй, допустить… но пятнадцать… Сашка задет за живое… Сашка обижен в своем национальном самолюбии… Сашка хмурится… Наконец, если ему не верят, он сам лично может доказать, и даже сейчас, сию минуту, что он, Сашка, нырнет и пробудет под водой ровно десять минут.

— Правда, это трудно, — говорит он не без мрачности. — Вечером у меня будет идти кровь из ушей и из глаз… Но я никому не позволю говорить, что Сашка Аргириди хвастун.

Его уговаривают, удерживают, но ничто уж теперь не помогает, раз человек оскорблен в своих лучших чувствах. Он быстро, сердито срывает с себя пиджак и панталоны, мгновенно раздевается, заставляя дам отворачиваться и заслоняться зонтиками, и — бух — с шумом и брызгами летит вниз головой в воду, не забыв, однако, предварительно одним углом глаза рассчитать расстояние до недалекой мужской купальни.

Сашка действительно прекрасный пловец и нырок. Бросившись на одну сторону лодки, он тотчас же глубоко в воде заворачивает под килем

и по дну плывет прямехонько в купальню. И в то время, когда на лодке подымается общая тревога, взаимные упреки, аханье и всякая бестолочь, он сидит в купальне на ступеньке и торопливо докуривает чей-нибудь папиросный окурок. И таким же путем совершенно неожиданно Сашка выскакивает из воды у самой лодки, искусственно выпучив глаза и задыхаясь, к общему облегчению и восторгу.

Конечно, ему перепадает за эти фокусы кое-какая мелочишка. Но надо сказать, что руководит Сашкой в его проделках вовсе не алчность к деньгам, а мальчишеская, безумная, веселая проказливость.

5

Итальянцы ни от кого не скрывали цели своего приезда: они действительно пришли в Балаклаву с тем, чтобы попытаться исследовать место крушения и, если обстоятельства позволят — поднять со дна все наиболее ценное, главным образом, конечно, легендарное золото. Всей экспедицией руководил инженер Джузеппе Рестуччи — изобретатель особого подводного аппарата, высокий, пожилой, молчаливый человек, всегда одетый в серое, с серым длинным лицом и почти седыми

волосами, с бельмом на одном глазу, — в общем, гораздо больше похожий на англичанина, чем на итальянца. Он поселился в гостинице на набережной и по вечерам, когда к нему кое-кто приходил посидеть, гостеприимно угощал вином кианти и стихами своего любимого поэта Стеккетти[27].

«Женская любовь, точно уголь, который, когда пламенеет, то жжется, а холодный — грязнит!»

И хотя он это все говорил по-итальянски, своим сладким и певучим генуэзским акцентом, но и без перевода смысл стихов был ясен, благодаря его необыкновенно выразительным жестам: с таким видом внезапной боли он отдергивал руку, обожженную воображаемым огнем, — и с такой гримасой брезгливого отвращения он отбрасывал от себя холодный уголь.

Был еще на судне капитан и двое его младших помощников. Но самым замечательным лицом из экипажа был, конечно, водолаз — il palambaro — славный генуэзец, по имени Сальваторе Трама.

На его большом, круглом, темно-бронзовом

---

[27] Примечания: 27

Стеккетти Лоренцо — псевдоним итальянского поэта Гверрини Олиндо (1845–1916). В 1910-е годы Куприн опубликовал переводы ряда стихотворений Стеккетти (Собр. соч. изд. «Московского книгоиздательства», т. 10).

лице, испещренном, точно от обжога порохом, черными крапинками, проступали синими змейками напряженные вены. Он был невысок ростом, но благодаря необычайному объему грудной клетки, ширине плеч и массивности могучей шеи производил впечатление чрезмерно толстого человека. Когда он своей ленивой походкой, заложив руки в брючные карманы и широко расставляя короткие ноги, проходил серединой набережной улицы, то издали казался совсем одинаковых размеров как в высоту, так и в ширину.

Сальваторе Трама был приветливый, лениво-веселый, доверчивый человек, с наклонностью к апоплексическому удару. Странные, диковинные вещи рассказывал он иногда о своих подводных впечатлениях.

Однажды, во время работы в Бискайском заливе, ему пришлось опуститься на дно, на глубину более двадцати сажен. Внезапно он заметил, что на него, среди зеленоватого подводного сумрака, надвинулась сверху какая-то огромная, медленно плывущая тень. Потом тень остановилась. Сквозь круглое стекло водолазного шлема Сальваторе увидел, что над ним, в аршине над его головой, стоит, шевеля волнообразно краями своего круг-

лого и плоского, как у камбалы, тела, гигантский электрический скат сажени в две диаметром, вот в эту комнату! — как сказал Трама. Одного прикосновения его двойного хвоста к телу водолаза достаточно было бы для того, чтобы умертвить храброго Трама электрическим разрядом страшной силы. И эти две минуты ожидания, пока чудовище, точно раздумав, медленно поплыло дальше, колыхаясь извилисто своими тонкими боками, Трама считает самыми жуткими во всей своей тяжелой и опасной жизни.

Рассказывал он также о своих встречах под водой с мертвыми матросами, брошенными за борт с корабля. Вопреки тяжести, привязанной к их ногам, они, вследствие разложения тела, попадают неизбежно в полосу воды такой плотности, что не идут уже больше ко дну, но и не подымаются вверх, а, стоя, странствуют в воде, влекомые тихим течением, с ядром, висящим на ногах.

Еще передавал Трама о таинственном случае, приключившемся с другим водолазом, его родственником и учителем. Это был старый, крепкий, хладнокровный и отважный человек, обшаривший морское дно на побережьях чуть ли не всего земного шара. Свое исключительное и опасное ремесло он любил всей душой, как,

впрочем, любил его каждый настоящий водолаз.

Однажды этот человек, работая над прокладкой телеграфного подводного кабеля, должен был опуститься на дно, на сравнительно небольшую глубину. Но едва только он достиг ногами почвы и сигнализировал об этом наверх веревкой, как сейчас же на лодке уловили его новый тревожный сигнал: «Подымайте наверх! Нахожусь в опасности!»

Когда его поспешно вытащили и быстро отвинтили медный шлем от скафандра, то всех поразило выражение ужаса, исказившее его бледное лицо и заставившее побелеть его глаза.

Водолаза раздели, напоили коньяком, старались его успокоить. Он долго не мог выговорить ни слова, так сильно стучали его челюсти одна о другую. Наконец, придя в себя, он сказал:

— Баста! Больше никогда не опущусь. Я видел…

Но так до конца своих дней он никому не сказал, какое впечатление или какая галлюцинация так сильно потрясла его душу. Если об этом начинали разговаривать, он сердито замолкал и тотчас же покидал компанию. И в море он действительно больше не опускался ни одного раза…

6

Матросов на «Genova» было человек пятнадцать. Жили они все на пароходе, а на берег съезжали сравнительно редко. С балаклавскими рыбаками отношения у них так и остались отдаленными и вежливо холодными. Только изредка Коля Константи бросал им добродушное приветствие:

— Бона джиорна, синьоры. Вино россо…[28]

Должно быть, очень скучно приходилось в Балаклаве этим молодым, веселым южным молодчикам, которые раньше побывали и в Рио-Жанейро, и на Мадагаскаре, и в Ирландии, и у берегов Африки, и во многих шумных портах Европейского материка. В море — постоянная опасность и напряжение всех сил, а на суше — вино, женщины, песня, танцы и хорошая драка — вот жизнь настоящего матроса. А Балаклава всего-навсего маленький, тихонький уголок, узенькая щелочка голубого залива среди голых скал, облепленных несколькими десятками домишек. Вино здесь кислое и крепкое, а женщин и совсем нет для развлечения бравого матроса.

---

[28] Примечания: 28

Добрый день, господа. Красное вино… (*ит.*).

Балаклавские жены и дочери ведут замкнутый и целомудренный образ жизни, позволяя себе только одно невинное развлечение — посудачить с соседками у фонтана в то время, когда их кувшины наполняются водою. Даже свои, близкие мужчины как-то избегают ходить в гости в знакомые семьи, а предпочитают видеться в кофейне или на пристани.

Однажды, впрочем, рыбаки оказали итальянцам небольшую услугу. При пароходе «Genova» был маленький паровой катер со старенькой, очень слабосильной машиной. Несколько матросов под командой помощника капитана вышли как-то в открытое море на этом катере. Но, как это часто бывает на Черном море, внезапно сорвавшийся бог весть откуда ветер подул от берега и стал уносить катер в море с постепенно возрастающей скоростью. Итальянцы долго не хотели сдаваться: около часа они боролись с ветром и волной, и правда, страшно было в это время смотреть со скалы, как маленькая дымящаяся скорлупка то показывалась на белых гребнях, то совсем исчезала, точно проваливалась между волн. Катер не мог одолеть ветра, и его относило все дальше и дальше от берега. Наконец-то сверху, с Генуэзской крепости, заметили белую

тряпку, поднятую на дымовой трубе, — сигнал: «Терплю бедствие». Тотчас же два лучших балаклавских баркаса, «Слава России» и «Светлана», подняли паруса и вышли на помощь катеру.

Через два часа они привели его на буксире. Итальянцы были немного сконфужены и довольно принужденно шутили над своим положением. Шутили и рыбаки, но вид у них был все-таки покровительственный.

Иногда при ловле камбалы или белуги рыбакам случалось вытаскивать на крючке морского кота — тоже вид электрического ската. Прежде рыбак, соблюдая все меры предосторожности, отцеплял эту гадину от крючка и выбрасывал за борт. Но кто-то — должно быть, тот же знаток итальянского языка, Коля — пустил слух, что для итальянцев вообще морской кот составляет первое лакомство. И с тех пор часто, возвращаясь с ловли и проходя мимо парохода, какой-нибудь рыбак кричал:

— Эй, итальяно, синьоро! Вот вам на закуску!..

И круглый плоский скат летел темным кругом по воздуху и точно шлепался о палубу. Итальянцы смеялись, показывая свои великолепные зубы, добродушно кивали головами и что-то бормотали по-своему. Почем знать, может быть, они

сами думали, что морской кот считается лучшим местным деликатесом, и не хотели обижать добрых балаклавцев отказом.

7

Недели через две по приезде итальянцы собрали и спустили на воду большой паром, на котором установили паровую и воздуходувные машины. Длинный кран лебедки, как гигантское удилище, наклонно воздвигался над паромом. В одно из воскресений Сальваторе Трама впервые спускался под воду в заливе. На нем был обыкновенный серый резиновый водолазный костюм, делавший его еще шире, чем обыкновенно, башмаки с свинцовыми подметками на ногах, железная манишка на груди, круглый медный шар, скрывавший голову. С полчаса он ходил по дну бухты, и путь его отмечался массой воздушных пузырьков, которые вскипали над ним на поверхности воды. А спустя неделю вся Балаклава узнала, что назавтра водолаз будет опускаться уже у самых Белых камней, на глубину сорока сажен. И когда на другой день маленький жалкий катер повел паром к выходу из бухты, то у Белых камней уже дожидались почти все рыбачьи баркасы, стоявшие в бухте.

Сущность изобретения господина Рестуччи именно в том и заключалась, чтобы дать возможность водолазу опускаться на такую глубину, на которой человека в обыкновенном скафандре сплющило бы страшным давлением воды. И, надо отдать справедливость балаклавцам, они не без волнения и, во всяком случае, с чувством настоящего мужественного уважения глядели на приготовления к спуску, которые совершались перед их глазами. Прежде всего паровой кран поднял и поставил стоймя странный футляр, отдаленно напоминавший человеческую фигуру, без головы и без рук, футляр, сделанный из толстой красной меди, покрытой снаружи голубой эмалью. Потом этот футляр раскрыли, как раскрыли бы гигантский портсигар, в который нужно поместить, точно сигару, человеческое тело. Сальваторе Трама, покуривая папиросу, спокойно глядел на эти приготовления, лениво посмеивался, изредка бросал небрежные замечания. Потом швырнул окурок за борт, с развальцем подошел к футляру и боком втиснулся в него. Над водолазом довольно долго возились, устанавливая всевозможные приспособления, и надо сказать, что когда все было окончено, то он представлял собою довольно-таки страшное зрелище.

Снаружи свободными оставались только руки, все тело вместе с неподвижными ногами было заключено в сплошной голубой эмалевый гроб громадной тяжести; голубой огромный шар, с тремя стеклами — передним и двумя боковыми — и с электрическим фонарем на лбу, скрывал его голову; подъемный канат, каучуковая трубка для воздуха, сигнальная веревка, телефонная проволока и осветительный провод, казалось, опутывали весь снаряд и делали еще более необычайной и жуткой эту мертвую, голубую, массивную мумию с живыми человеческими руками.

Раздался сигнал паровой машины, послышался грохот цепей. Странный голубой предмет отделился от палубы парома, потом плавно, слегка закручиваясь по вертикальной оси, проплыл в воздухе и медленно, страшно медленно, стал опускаться за борт. Вот он коснулся поверхности воды, погрузился по колена, до пояса, по плечи… Вот скрылась голова, наконец ничего не видно, кроме медленно ползущего вниз стального каната. Балаклавские рыбаки переглядываются и молча, с серьезным видом покачивают головами…

Инженер Рестуччи у телефонного аппарата.

Время от времени он бросает короткие приказания машинисту, регулирующему ход каната. Кругом на лодках полная, глубокая тишина — слышен только свист машины, накачивающей воздух, погромыхивание шестерен, визг стального троса на блоке и отрывистые слова инженера. Все глаза устремлены на то место, где недавно исчезла уродливая шарообразная страшная голова.

Спуск продолжается мучительно долго. Больше часа. Но вот Рестуччи оживляется, несколько раз переспрашивает что-то в телефонную трубку и вдруг кидает короткую команду:

— Стоп!..

Теперь все зрители понимают, что водолаз дошел до дна, и все вздыхают, точно с облегчением. Самое страшное окончилось…

Втиснутый в металлический футляр, имея свободными только руки, Трама был лишен возможности передвигаться по дну собственными средствами. Он только приказывал по телефону, чтобы его перемещали вместе с паромом вперед, передвигали лебедкой в стороны, поднимали вверх и опускали. Не отрываясь от телефонной трубки, Рестуччи повторял его приказания спокойно и повелительно, и казалось, что паром, лебедка и все машины приводились в движение

волей невидимого, таинственного подводного человека.

Через двадцать минут Сальваторе Трама дал сигнал к подниманию. Так же медленно его вытащили на поверхность, и когда он опять повис в воздухе, то производил странное впечатление какого-то грозного и беспомощного голубого животного, извлеченного чудом из морской бездны.

Установили аппарат на палубе. Матросы быстрыми привычными движениями сняли шлем и распаковали футляр. Трама вышел из него в поту, задыхаясь, с лицом почти черным от прилива крови. Видно было, что он хотел улыбнуться, но у него вышла только страдальческая, измученная гримаса. Рыбаки в лодках почтительно молчали и только в знак удивления покачивали головами и, по греческому обычаю, значительно почмокивали языком.

Через час всей Балаклаве стало известно все, что видел водолаз на дне моря, у Белых камней. Большинство кораблей было так занесено илом и всяким сором, что не было надежды на их поднятие, а от трехмачтового фрегата с золотом, засосанного дном, торчит наружу только кусочек кормы с остатком медной позеленевшей надписи: «…ck Pr…».

Трама рассказывал также, что вокруг затонувшей эскадры он видел множество оборванных рыбачьих якорей, и это известие умилило рыбаков, потому что каждому из них, наверное, хоть раз в жизни пришлось оставить здесь свой якорь, который заело в камнях и обломках…

8

Но и балаклавским рыбакам удалось однажды поразить итальянцев необыкновенным и в своем роде великолепным зрелищем. Это было 6 января, в день Крещения Господня, — день, который справляется в Балаклаве совсем особенным образом.

К этому времени итальянские водолазы уже окончательно убедились в бесплодности дальнейших работ по поднятию эскадры. Им оставалось всего лишь несколько дней до отплытия домой, в милую, родную, веселую Геную, и они торопливо приводили в порядок пароход, чистили и мыли палубу, разбирали машины.

Вид церковной процессии, духовенство в золотых ризах, хоругви, кресты и образа, церковное пение — все это привлекло их внимание, и они стояли вдоль борта, облокотившись на перила.

Духовенство взошло на помост деревянной

пристани. Сзади густо теснились женщины, старики и дети, а молодежь в лодках на заливе тесным полукругом опоясала пристань.

Был солнечный, прозрачный и холодный день; выпавший за ночь снег нежно лежал на улицах, на крышах и на плешивых бурых горах, а вода в заливе синела, как аметист, и небо было голубое, праздничное, улыбающееся. Молодые рыбаки в лодках были одеты только для приличия в одно исподнее белье, иные же были голы до пояса. Все они дрожали от холода, ежились, потирали озябшие руки и груди. Стройно и необычно сладостно неслось пение хора по неподвижной глади воды.

«Во Иордане крещающуся...» — тонко и фальшиво запел священник, и высоко поднятый крест заблестел в его руках белым металлом... Наступил самый серьезный момент. Молодые рыбаки стояли каждый на носу своего баркаса, все полураздетые, наклоняясь вперед в нетерпеливом ожидании.

Во второй раз пропел священник, и хор подхватил стройно и радостно «Во Иордане». Наконец, в третий раз поднялся крест над толпой и вдруг, брошенный рукой священника, полетел, описывая блестящую дугу в воздухе, и звонко упал в море.

В тот же момент со всех баркасов с плеском и криками ринулись в воду вниз головами десятки крепких, мускулистых тел. Прошло секунды три-четыре. Пустые лодки покачивались, кланяясь. Взбудораженная вода ходила взад и вперед… Потом одна за другой начали показываться над водою мотающиеся фыркающие головы, с волосами, падающими на глаза. Позднее других вынырнул с крестом в руке молодой Яни Липиади.

Веселые итальянцы не могли сохранить надлежащей серьезности при виде этого необыкновенного, освященного седой древностью, полуспортивного, полурелигиозного обряда. Они встретили победителя такими дружными аплодисментами, что даже добродушный батюшка укоризненно покачал головою:

— Нехорошо… И очень нехорошо. Что это им — театральное представление?..

Ослепительно блестел снег, ласково синела вода, золотом солнце обливало залив, горы и людей. И крепко, густо, могущественно пахло морем. Хорошо!

VIII. Бешеное вино

В Балаклаве конец сентября просто очарователен. Вода в заливе похолодела; дни стоят ясные, тихие, с чудесной свежестью и крепким морским запахом по утрам, с синим безоблачным небом, уходящим бог знает в какую высоту, с золотом и пурпуром на деревьях, с безмолвными черными ночами. Курортные гости — шумные, больные, эгоистичные, праздные и вздорные — разъехались кто куда — на север, к себе по домам. Виноградный сезон окончился.

К этому-то сроку и поспевает бешеное вино.

Почти у каждого грека, славного капитана-листригона, есть хоть крошечный кусочек виноградника, — там, наверху, в горах, в окрестностях итальянского кладбища, где скромным белым памятником увенчаны могилы нескольких сотен безвестных иноземных храбрецов. Виноградники запущены, одичали, разрослись, ягоды выродились, измельчали. Пять-шесть хозяев, правда, выводят и поддерживают дорогие сорта вроде «Чаус», «Шашля» или «Наполеон», продавая их за целебные курортной публике (впрочем, в Крыму в летний и осенний сезоны — все целебное: це-

лебный виноград, целебные цыплята, целебные чадры, целебные туфли, кизиловые палки и раковины, продаваемые морщинистыми лукавыми татарами и важными, бронзовыми, грязными персами). Остальные владельцы ходят в свой виноградник, или, как здесь говорят, — «в сад» только два раза в год: в начале осени — для сбора ягод, а в конце — для обрезки, производимой самым варварским образом.

Теперь времена изменились: нравы пали, и люди обеднели, рыба ушла куда-то в Трапезунд, оскудела природа. Теперь потомки отважных листригонов, легендарных разбойников-рыболовов, катают за пятачок по заливу детей и нянек и живут сдачей своих домиков внаймы приезжим. Прежде виноград родился — вот какой! — величиною в детский кулак, и гроздья были по пуду весом, а нынче и поглядеть не на что — ягоды чуть-чуть побольше черной смородины, и нет в них прежней силы. Так рассуждают между собой старики, сидя в спокойные осенние сумерки около своих побеленных оград, на каменных скамьях, вросших в течение столетий в землю. Но старый обычай все-таки сохранился до наших дней. Всякий, кто может, поодиночке или в складчину, жмут и давят виноград теми

первобытными способами, к которым, вероятно, прибегал наш прародитель Ной или хитроумный Улисс, опоивший такого крепкого мужика, как Полифем. Давят прямо ногами, и когда давильщик выходит из чана, то его голые ноги выше колен кажутся вымазанными и забрызганными свежей кровью. И это делается под открытым небом в горах, среди древнего виноградника, обсаженного вокруг миндальными деревьями и трехсотлетними грецкими орехами.

Часто я гляжу на это зрелище, и необычайная, волнующая мечта охватывает мою душу. Вот на этих самых горах три, четыре, а может, и пять тысяч лет тому назад, под тем же высоким синим небом и под тем же милым красным солнцем справлялся всенародно великолепный праздник Вакха, и там, где теперь слышится гнусавый теноришка слабогрудого дачника, уныло скрипящий:

И на могилу приноси
Хоть трижды в день мне хризанте-емы, —

там раздавались безумно-радостные, божественно-пьяные возгласы:

Эвое! Эван! Эвое!

Ведь всего в четырнадцати верстах от Балаклавы грозно возвышаются из моря красно-коричневые острые обломки мыса Фиолент, на которых когда-то стоял храм богини, требовавшей себе человеческих жертв! Ах, какую странную, глубокую и сладкую власть имеют над нашим воображением эти опустелые, изуродованные места, где когда-то так радостно и легко жили люди, веселые, радостные, свободные и мудрые, как звери.

Но молодому вину не дают не только улежаться, а даже просто осесть.

Да его и добывается так мало, что оно не стоит настоящих забот. Оно и месяца не постоит в бочке, как его уже разливают в бутылки и несут в город. Оно еще бродит, оно еще не успело опомниться, как характерно выражаются виноделы: оно мутно и грязновато на свет, со слабым розовым или яблочным оттенком; но все равно пить его легко и приятно. Оно пахнет свежераздавленным виноградом и оставляет на зубах терпкую, кисловатую оскомину.

Зато оно замечательно по своим последствиям. Выпитое в большом количестве, молодое вино не хочет опомниться и в желудке и продолжает там таинственный процесс брожения, начатый еще в бочке. Оно заставляет людей танцевать, прыгать,

болтать без удержу, кататься по земле, пробовать силу, подымать невероятные тяжести, целоваться, плакать, хохотать, врать чудовищные небылицы. У него есть и еще одно удивительное свойство, какое присуще и китайской водке ханджин: если на другой день после попойки выпить поутру стакан простой холодной воды, то молодое вино опять начинает бродить, бурлить и играть в желудке и в крови, а сумасбродное его действие возобновляется с прежней силой. Оттого-то и называют это молодое вино «бешеным вином».

Балаклавцы — хитрый народ и к тому же наученный тысячелетним опытом: поутру они пьют вместо холодной воды то же самое бешеное вино. И все мужское коренное население Балаклавы ходит недели две подряд пьяное, разгульное, шатающееся, но благодушное и поющее. Кто их осудит за это, славных рыбаков? Позади — скучное лето с крикливыми, заносчивыми, требовательными дачниками, впереди — суровая зима, свирепые норд-осты, ловля белуги за тридцать-сорок верст от берега, то среди непроглядного тумана, то в бурю, когда смерть висит каждую минуту над головой и никто в баркасе не знает, куда их несут зыбь, течение и ветер!

По гостям, как и всегда в консервативной Балаклаве, ходят редко. Встречаются в кофейнях, в столовых и на открытом воздухе, за городом, где плоско и пестро начинается роскошная Байдарская долина. Каждый рад похвастаться своим молодым вином, а если его и не хватит, то разве долго послать какого-нибудь бездомного мальчишку к себе на дом за новой порцией? Жена посердится, побранится, а все-таки пришлет две-три четвертных бутыли мутно-желтого или мутно-розового полупрозрачного вина.

Кончились запасы — идут, куда понесут ноги: на ближайший хутор, в деревню, в лимонадную лавочку на 9-ю или на 5-ю версту Балаклавского шоссе. Сядут в кружок среди колючих ожинков кукурузы, хозяин вынесет вина прямо в большом, расширяющемся кверху эмалированном ведре с железной дужкой, по которой ходит деревянная муфточка, — а ведро полно верхом. Пьют чашками, учтиво, с пожеланиями и непременно — чтобы все разом. Один подымает чашку и скажет: «стани-ясо», а другие отвечают: «си-ийя».

Потом запоют. Греческих песен никто не знает: может быть, они давно позабыты, может быть, укромная, молчаливая Балаклавская бухта никогда не располагала людей к пению. Поют русские

южные рыбачьи песни, поют в унисон страшными каменными, деревянными, железными голосами, из которых каждый старается перекричать другого. Лица краснеют, рты широко раскрыты, жилы вздулись на вспотевших лбах.

Закипела в море пена
Будет, братцы, перемена,
Братцы, перемена…
Зыб за зыбом часто ходит,
Чуть корабль мой не потонет,
Братцы, не потонет…
Капитан стоит на юте,
Старший боцман на шкафуте,
Братцы, на шкафу-то.

Выдумывают новые и новые предлоги для новой выпивки. Кто-то на днях купил сапоги, ужасные рыбачьи сапоги из конской кожи, весом по полпуду каждый и длиною до бедер. Как же не вспрыснуть и не обмочить такую обновку? И опять появляется на сцену синее эмалированное ведро, и опять поют песни, похожие на рев зимнего урагана в открытом море.

И вдруг растроганный собственник сапог воскликнет со слезами в голосе:

— Товарищи! Зачем мне эти сапоги?.. Зима еще далеко… Успеется… Давайте пропьем их…

А потом навернут на конец нитки катышок из воска и опускают его в круглую, точно обточенную дырку норы тарантула, дразня насекомое, пока оно не разозлится и не вцепится в воск и не завязит в нем лап. Тогда быстрым и ловким движением извлекают насекомое наверх, на траву. Так поймают двух крупных тарантулов и сведут их вместе, в днище какой-нибудь разбитой склянки. Нет ничего страшнее и азартнее зрелища той драки, которая начинается между этими ядовитыми, многоногими, огромными пауками. Летят прочь оторванные лапы, белая густая жидкость выступает каплями из пронзенных яйцевидных мягких туловищ. Оба паука стоят на задних ногах, обняв друг друга передними, и оба стараются ужалить противника ножницами своих челюстей в глаз или в голову. И драка эта оттого особенно жутка, что она непременно кончается тем, что один враг умерщвляет другого и мгновенно высасывает его, оставляя на земле жалкий, сморщенный чехол. А потомки кровожадных листригонов лежат звездой, на животах, головами внутрь, ногами наружу, подперев подбородки ладонями, и глядят молча, если только

не ставят пари. Боже мой! Сколько лет этому ужасному развлечению, этому самому жестокому из всех человеческих зрелищ!

А вечером мы опять в кофейной. По заливу плавают лодки с татарской музыкой: бубен и кларнет. Гнусаво, однообразно, бесконечно-уныло всхлипывает незатейливый, но непередаваемый азиатский мотив… Как бешеный, бьет и трепещется бубен. В темноте не видать лодок. Это кутят старики, верные старинным обычаям. Зато у нас в кофейной светло от ламп «молния», и двое музыкантов: итальянец — гармония и итальянка — мандолина играют и поют сладкими, осипшими голосами:

O! Nino, Nino, Marianino.

Я сижу, ослабев от дымного чада, от крика, от пения, от молодого вина, которым меня потчуют со всех сторон. Голова моя горяча и, кажется, пухнет и гудит. Но в сердце у меня тихое умиление. С приятными слезами на глазах я мысленно твержу те слова, которые так часто заметишь у рыболовов на груди или на руке в виде татуировки:

«Боже, храни моряка».

<1907–1911>

Сны Чанга

Иван Бунин
Рассказ

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле.

Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах.

Вот опять была ночь — сон или действительность? — и опять наступает утро — действительность или сон? Чанг стар, Чанг пьяница — он все дремлет.

На дворе, в городе Одессе, зима. Погода злая, мрачная, много хуже даже той, китайской, когда Чанг с капитаном встретили друг друга. Несет острым мелким снегом, снег косо летит по ледяному, скользкому асфальту пустого приморского бульвара и больно сечет в лицо каждому еврею, что, засунувши руки в карманы и сгорбившись, неумело бежит направо или налево. За гаванью, тоже опустевшей, за туманным от снега заливом

слабо видны голые степные берега. Мол весь дымится густым серым дымом: море с утра до вечера переваливается через мол пенистыми чревами. Ветер звонко свищет в телефонных проволоках…

В такие дни жизнь в городе начинается не рано. Не рано просыпаются и Чанг с капитаном. Шесть лет — много это или мало? За шесть лет Чанг с капитаном стали стариками, хотя капитану еще и сорока нет, и судьба их грубо переменилась. По морям они уже не плавают — живут «на берегу», как говорят моряки, и не там, где жили когда-то, а в узкой и довольно мрачной улице, на чердаке пятиэтажного дома, пахнущего каменным углем, населенного евреями, из тех, что в семью приходят только к вечеру и ужинают в шляпах на затылок. Потолок у Чанга с капитаном низкий, комната большая и холодная. В ней всегда, кроме того, сумрачно: два окна, пробитые в наклонной стене-крыше, невелики и круглы, напоминают корабельные. Между окнами стоит что-то вроде комода, а у стены налево старая железная кровать; вот и все убранство этого скучного жилища, если не считать камина, из которого всегда дует свежим ветром.

Чанг спит в уголке за камином. Капитан на кровати. Какова эта чуть не до полу продавленная

кровать и каков матрац на ней, легко представит себе всякий, живавший на чердаках, а нечистая подушка так жидка, что капитану приходится подкладывать под нее свою тужурку. Однако и на этой кровати спит капитан очень спокойно, лежит — на спине, с закрытыми глазами и серым лицом, — неподвижно, как мертвый. Что за чудесная кровать была у него прежде! Ладная, высокая, с ящиками, с постелью глубокой и уютной, с тонкими и скользкими простынями и холодящими белоснежными подушками! Но и тогда, даже в качку, не спал капитан так крепко, как теперь: за день он сильно устает, да и о чем ему теперь тревожиться, что он может проспать и чем может обрадовать его новый день? Было когда-то две правды на свете, постоянно сменявших друг друга: первая та, что жизнь несказанно прекрасна, а другая — что жизнь мыслима лишь для сумасшедших. Теперь капитан утверждает, что есть, была и во веки веков будет только одна правда, последняя, правда еврея Иова, правда мудреца из неведомого племени, Экклезиаста. Часто говорит теперь капитан, сидя в пивной: «Помни, человек, с юности твоей те тяжелые дни и годы, о коих ты будешь говорить: нет мне удовольствия в них!» — Все же дни и ночи по-прежнему существуют, и

вот опять была ночь и опять наступает утро. И капитан с Чангом просыпаются.

Но, проснувшись, капитан не открывает глаз. Что он в эту минуту думает, не знает даже Чанг, лежащий на полу возле нетопленого камина, из которого всю ночь пахло морской свежестью. Чангу известно только одно: то, что капитан пролежит так не менее часа. Чанг, поглядев на капитана уголком глаза, снова смыкает веки и снова задремывает. Чанг тоже пьяница, он тоже по утрам мутен, слаб и чувствует мир с тем томным отвращением, которое так знакомо всем плавающим на кораблях и страдающим морской болезнью. И потому, задремывая в этот утренний час, Чанг видит сон томительный, скучный…

Видит он:

Поднялся на палубу парохода старый, кислоглазый китаец, опустился на корячки, стал скулить, упрашивать всех проходящих мимо, чтобы купили у него плетушку тухлых рыбок, которую он принес с собою. Был пыльный и холодный день на широкой китайской реке. В лодке под камышовым парусом, качавшейся на речной мути, сидел щенок, — рыжий кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг шеи, — строго и умно водил черными

глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком держал уши.

— Продай лучше собаку! — весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке.

Китаец, первый хозяин Чанга, вскинул глаза кверху, оторопел и от крика и от радости, стал кланяться и цокать: «Ve'y good dog, ve'y good!»[29] — И щенка купили, — всего за целковый, — назвали Чангом, и поплыл он в тот же день со своим новым хозяином в Россию и вначале, целых три недели, так мучился морской болезнью, был в таком дурмане, что даже ничего: не видел: ни океана, ни Сингапура, ни Коломбо…

В Китае начиналась осень, погода была трудная. И стало мутить Чанга, едва вышли в устье. Навстречу несло дождем, мглою, сверкали по водной равнине барашки, качалась, бежала, всплескивалась серо-зеленая зыбь, острая и бестолковая, а плоские прибрежья расходились, терялись в тумане — и все больше, больше становилось воды вокруг. Чанг, в своей серебрившейся от дождя шубке, и капитан, в непромокаемом пальто с поднятым капюшоном, были на мостике, высота

---

[29] Примечания: 29

Очень хорошая собака, очень хорошая (*искаж. англ.*).

которого чувствовалась теперь еще сильнее, чем прежде. Капитан командовал, а Чанг дрожал и воротил от ветра морду. Вода ширилась, охватывала ненастные горизонты, мешалась с мглистым небом. Ветер рвал с крупной шумной зыби брызги, налетал откуда попало, свистал в реях и гулко хлопал внизу парусиновыми тентами, меж тем как матросы, в кованых сапогах и мокрых накидках, отвязывали, ловили и скатывали их. Ветер искал, откуда бы покрепче ударить, и как только пароход, медленно ему кланявшийся, взял покруче вправо, поднял его таким большим, кипучим валом, что он не удержался, рухнул с переката вала, зарываясь в пену, а в штурманской рубке с дребезгом и звоном полетела на пол кофейная чашка, забытая на столике лакеем… И с этой минуты пошла музыка!

Дни потом были всякие: то огнем жгло с сияющей лазури солнце, то горами громоздились и раскатывались ужасающим громом тучи, то потопами обрушивались на пароход и на море буйные ливни; но качало, качало непрерывно, даже и во время стоянок. Вконец замученный, ни разу за целых три недели не покинул Чанг своего угла в жарком полутемном коридоре среди пустых кают второго класса, на юте, возле высокого

порога двери на палубу, отворявшейся только раз в сутки, когда вестовой капитана приносил Чангу пищу. И от всего пути до Красного моря остались в памяти Чанга только тяжкие скрипы переборок, дурнота и замирание сердца, то летевшего вместе с дрожащей кормой куда-то в пропасть, то возносившегося в небо, да колючий, смертный ужас, когда об эту высоко поднятую и вдруг снова завалившуюся на сторону корму, грохочущую винтом в воздухе, с пушечным выстрелом расшибалась целая водяная гора, гасившая дневной свет в иллюминаторах и потом стекавшая по их толстым стеклам мутными потоками. Слышал больной Чанг далекие командные крики, гремучие свистки боцмана, топот матросских ног где-то над головой, слышал плеск и шум воды, различал полузакрытыми глазами полутемный коридор, загроможденный рогожными тюками чая, — и шалел, пьянел от тошноты, жары и крепкого чайного запаха…

Но тут сон Чанга обрывается.

Чанг вздрагивает и открывает глаза: это уже не волна с пушечным выстрелом ударила в корму — это грохнула где-то внизу дверь, с размаху кем-то брошенная. И вслед за этим громко откашливается и медленно встает со своего вдавленного одра

капитан. Он натягивает на ноги и зашнуровывает разбитые башмаки, надевает вынутую из-под подушки черную тужурку с золотыми пуговицами и идет к комоду, меж тем как Чанг, в своей рыжей поношенной шубке, недовольно, с визгом зевает, поднявшись с пола. На комоде стоит начатая бутылка водки. Капитан пьет прямо из горлышка и, слегка задохнувшись и отдуваясь в усы, направляется к камину, наливает в плошку, стоящую возле него, водки и для Чанга. Чанг жадно начинает лакать. А капитан закуривает и снова ложится — ждать того часа, когда совсем обедняется. Уже слышен отдаленный гул трамвая, уже льется далеко внизу, на улице, непрерывное цоканье копыт по мостовой, но выходить еще рано. И капитан лежит и курит. Кончив лакать, ложится и Чанг. Он вскакивает на кровать, свертывается клубком у ног капитана и медленно вплывает в то блаженное состояние, которое всегда дает водка. Полузакрытые глаза его туманятся, он слабо глядит на хозяина и, чувствуя все возрастающую нежность к нему, думает то, что можно выразить по-человечески так: «Ах, глупый, глупый! Есть только одна правда на свете, и если бы ты знал, какая эта чудесная правда!» И опять не то снится, не то думается Чангу то далекое утро, когда, после

мучительного, беспокойного океана, вошел пароход, плывший из Китая с капитаном и Чангом, в Красное море…

Снится ему:

Проходя Перим, все медленнее, точно баюкая, размахивался пароход, и впал Чанг в сладкий и глубокий сон. И вдруг очнулся. И очнувшись, изумился выше всякой меры: везде было тихо, мерно дрожала и никуда не падала корма, ровно шумела вода, бежавшая где-то за стенами, теплый кухонный запах, тянувший из-под двери на палубу, был очарователен… Чанг привстал и поглядел в пустую кают-компанию: там, в сумраке, мягко светилось что-то золотисто-лиловое, что-то едва уловимое глазом, но необыкновенно радостное — там, в солнечно-голубую пустоту, на простор, на воздух, были открыты задние иллюминаторы, а по низкому потолку струились, текли и не утекали извилистые зеркальные ручьи… И случилось с Чангом то же, что не раз случалось в те времена и с его хозяином, капитаном: он вдруг понял, что существует в мире не одна, а две правды — одна та, что жить на свете и плавать ужасно, а другая… Но о другой Чанг не успел додумать: в неожиданно распахнувшуюся дверь он увидел трап на спардек, черную, блестящую громаду пароходной

трубы, ясное небо летнего утра и быстро идущего из-под трапа, из машинного отделения, капитана, размытого и выбритого, благоухающего свежестью одеколона, с поднятыми по-немецки русыми усами, с сияющим взглядом зорких светлых глаз, во всем тугом и белоснежном. И увидев все это, Чанг так радостно рванулся вперед, что капитан на лету подхватил его, чмокнул в голову и, повернув назад, в три прыжка выскочил, на руках с ним, на спардек, на верхнюю палубу, а оттуда еще выше, на тот самый мостик, где так страшно было в устье великой китайской реки.

На мостике капитан вошел в штурманскую рубку, а Чанг, брошенный на пол, немного посидел, трубой распушив по гладким доскам свой лисий хвост. Сзади Чанга было очень горячо и светло от невысокого солнца. Горячо, должно быть, было и в Аравии, близко проходившей справа своим золотым прибрежьем и своими черно-коричневыми горами, своими пиками, похожими на горы мертвой планеты, тоже глубоко засыпанными сухим золотом, — всей своей песчано-гористой пустыней, видной необыкновенно четко, так, что, казалось, туда можно перепрыгнуть. А наверху, на мостике, еще чувствовалось утро, еще тянуло легкой свежестью, и бодро гулял взад и вперед

помощник капитана, — тот самый, что потом так часто до бешенства доводил Чанга, дуя ему в нос, — человек в белой одежде, в белом шлеме и в страшных черных очках, все поглядывавший на поднебесное острие передней мачты, над которой белым страусовым пером курчавилось тончайшее облачко… Потом капитан крикнул из рубки: «Чанг! Кофе пить!» И Чанг тотчас вскочил, обежал рубку и ловко сиганул через ее медный порог. И за порогом оказалось еще лучше, чем на мостике: там был широкий кожаный диван, приделанный к стене, над ним висели какие-то блестящие стеклом и стрелками штуки вроде круглых стенных часов, а на полу стояла полоскательница с бурдой из сладкого молока и хлеба. Чанг стал жадно лакать, а капитан занялся делом: он развернул на стойке, помещавшейся под окном против дивана, большую морскую карту и, положив на нее линейку, твердо прорезал алыми чернилами длинную полоску. Чанг, кончив лакать, с молоком на усах, подпрыгнул и сел на стойке возле самого окна, за которым синела отложным воротом просторная рубаха матроса, стоявшего спиной к окну перед колесом с рогами. И тут капитан, который, как оказалось впоследствии, очень любил поговорить, будучи

наедине с Чангом, сказал Чангу:

— Видишь, братец, вот это и есть Красное море. Надо нам с тобой пройти его поумнее, — ишь, какое оно от островков и рифов пестрое, — надо мне тебя доставить в Одессу в полной сохранности, потому что там уже знают о твоем существовании. Я уже проболтался про тебя одной прекапризной девчонке, похвастался перед ней твоей милостью по такому, понимаешь ли, длинному канату, что проложен умными людьми на дне всех морей-океанов… Я, Чанг, все-таки ужасно счастливый человек, такой счастливый, что ты даже и представить себе не можешь, и потому мне ужасно не хочется напороться на какой-нибудь из этих рифов, осрамиться до девятой пуговицы на своем первом дальнем рейсе…

И говоря так, капитан вдруг строго глянул на Чанга и дал ему пощечину:

— Лапы с карты прочь! — крикнул он начальственно. — Не смей лезть на казенное добро!

И Чанг, мотнув головой, зарычал и зажмурился. Это была первая пощечина, полученная им, и он обиделся, ему опять показалось, что жить на свете и плавать — скверно. Он отвернулся, гася и сокращая свои прозрачно-яркие глаза, и с тихим рычанием оскалил свои волчьи зубы.

Но капитан не придал значения его обиде. Он закурил папиросу и вернулся на диван, вынул из бокового кармана пикейной куртки золотые часы, отколупнул крепким ногтем их крышки и, глядя на что-то сияющее, необыкновенно живое, торопливое, что звонко бежало внутри часов, опять заговорил дружески. Он опять стал рассказывать Чангу о том, что он везет его в Одессу, на Елисаветинскую улицу, что на Елисаветинской улице есть у него, у капитана, во-первых, квартира, во-вторых, красавица-жена и, в-третьих, чудесная дочка, и что он, капитан, все-таки очень счастливый человек.

— Все-таки, Чанг, счастливый! — сказал капитан, а потом добавил:

— Дочка эта самая, Чанг, девочка, резвая, любопытная, настойчивая, — плохо тебе будет временами, особливо твоему хвосту! Но если бы ты знал, Чанг, что это за прелестное существо! Я, братец, так люблю ее, что даже боюсь своей любви: для меня весь мир только в ней — ну, скажем, почти в ней, — а разве так полагается? Да и вообще, следует ли кого-нибудь любить так сильно? — спросил он. — Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды, а послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще

ко всему телесному — от солнечного света, от волны, от воздуха и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации! Или: знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но, насколько можно понять, ведь это что такое? Бездна-Праматерь, она же родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать — тот Путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему! Жутко жить на свете, Чанг, — сказал капитан, — очень хорошо, а жутко, и особенно таким, как я! Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь: темен и зол этот Путь, или же совсем, совсем напротив?

И, помолчав, еще прибавил:

— Главная штука ведь в чем? *Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь.* И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь, боже мой, как великолепна!

Накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем и чуть дрожащий на бегу пароход неустанно

разрезал заштилевшее в бездне знойного воздушного пространства Красное море. Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Близился полдень, медный порог так и горел на солнце. Стекловидные валы все медлительнее перекатывались за бортом, вспыхивая ослепительным блеском и озаряя рубку. Чанг сидел на диване, слушая капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол — «Нет, брат, жарко!» — сказал он, — но на этот раз Чанг не обиделся: слишком хорошо было жить на свете в этот радостный полдень. А потом…

Но тут опять прерывается сон Чанга.

— Чанг, идем! — говорит капитан, сбрасывая ноги с кровати. И опять с удивлением видит Чанг, что он не на пароходе в Красном море, а на чердаке в Одессе, и что на дворе и впрямь полдень, только не радостный, а темный, скучный, неприязненный. И тихо рычит на капитана, потревожившего его. Но капитан, не обращая на него внимания, надевает старый форменный картуз и такое же пальто и, запустив руки в карманы и сгорбившись, идет к двери. Поневоле приходится и Чангу спрыгивать с кровати. По лестнице капитан спускается тяжело и неохотно, точно в силу нудной необходимости. Чанг катит-

ся довольно быстро: его бодрит еще неулегшееся раздражение, которым всегда кончается блаженное состояние после водки…

Да, вот уже два года, изо дня в день, занимаются Чанг с капитаном тем, что ходят по ресторанам. Там они пьют, закусывают, глядят на других пьяниц, пьющих и закусывающих рядом с ними, среди шума, табачного дыма и всякого зловония. Чанг лежит у ног капитана, на полу. А капитан сидит и курит, крепко положив, по своей морской привычке, локти на стол, ждет того часа, когда надо будет, по какому-то им самим выдуманному закону, перекочевать в другой ресторан или кофейню: завтракают Чанг с капитаном в одном месте, кофе пьют в другом, обедают в третьем, ужинают в четвертом. Обычно капитан молчит. Но бывает, что встречается капитан с кем-нибудь из своих прежних друзей и тогда весь день говорит без умолку о ничтожестве жизни и поминутно угощает вином то себя, то собеседника, то Чанга, перед которым всегда стоит на полу какая-нибудь посудинка. Именно так проведут они и нынешний день: нынче они условились позавтракать с одним старым приятелем капитана, с художником в цилиндре. А это значит, что будут они сидеть сперва в вонючей пивной,

среди краснолицых немцев, — людей тупых, дельных, работающих с утра до вечера с тою целью, конечно, чтобы пить, есть, снова работать и плодить себе подобных, — потом пойдут в кофейню, битком набитую греками и евреями, вся жизнь которых, тоже бессмысленная, но очень тревожная, поглощена непрестанным ожиданием биржевых слухов, а из кофейни отправятся в ресторан, куда стекается всякое человеческое отребье, — и просидят там до поздней ночи…

Зимний день короток, а за бутылкой вина, за беседой с приятелем он еще короче. И вот уже побывали Чанг, капитан и художник и в пивной, и в кофейне, а теперь сидят, пьют в ресторане. И опять капитан, положив локти на стол, горячо уверяет художника, что есть только одна правда на свете — злая и низкая. Ты посмотри кругом, говорит он, ты только вспомни всех тех, что ежедневно видим мы с тобой в пивной, в кофейне, на улице! Друг мой, я видел весь земной шар — жизнь везде такова! Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди: нет у них ни Бога, ни совести, ни разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности, — нет даже простой жалости. Жизнь — скучный, зимний день в грязном кабаке, не более…

И Чанг, лежа под столом, слушает все это в тумане хмеля, в котором уже нет более возбуждения. Соглашается он или не соглашается с капитаном? На это нельзя ответить определенно, но раз уж нельзя, значит, дело плохо. Чанг не знает, не понимает, прав ли капитан; да ведь все мы говорим «не знаю, не понимаю» только в печали; в радости всякое живое существо уверено, что оно все знает, все понимает… Но вдруг точно солнечный свет прорезывает этот туман: вдруг раздается стук палочки по пюпитру на эстраде ресторана — и запевает скрипка, за ней другая, третья… Они поют все страстней, все звончее — и через минуту переполняется душа Чанга совсем иной тоской, совсем иной печалью. Она дрожит от непонятного восторга, от какой-то сладкой муки, от жажды чего-то — и уже не разбирает Чанг, во сне он или наяву. Он всем существом своим отдается музыке, покорно следует за ней в какой-то иной мир — и снова видит себя на пороге этого прекрасного мира, неразумным, доверчивым к миру щенком на пароходе в Красном море…

— Да, так как это было? — не то снится, не то думается ему. — Да, помню: хорошо было жить в жаркий полдень в Красном море! Чанг с капитаном сидели в рубке, потом стояли на мостике… О,

сколько было света, блеска, синевы, лазури! Как удивительно цветисты были на фоне неба все эти белые, красные и желтые рубахи матросов, с растопыренными руками развешенные на носу! А потом Чанг с капитаном и прочими моряками, у которых лица были кирпичные, глаза маслянистые, а лбы белые и потные, завтракал в жаркой кают-компании первого класса, под жужжащим и дующим из угла электрическим вентилятором, после завтрака вздремнул немного, после чая обедал, а после обеда опять сидел наверху, перед штурманской рубкой, где лакей поставил для капитана полотняное кресло, и смотрел далеко за море, на закат, нежно зеленевший в разноцветных и разнообразных тучках, на винно-красное, лишенное лучей солнце, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг вытянулось и стало похоже на темно-огненную митру… Быстро бежал пароход вдогонку за ним, так и мелькали за бортом гладкие водяные горбы, отливающие сине-лиловой шагренью, но солнце спешило, спешило, — море точно втягивало его, — и все уменьшалось да уменьшалось, стало длинным раскаленным углем, задрожало и потухло, а как только потухло, сразу пала на весь мир тень какой-то печали, и сильней заволновался все

крепчавший к ночи ветер. Капитан, глядя на темное пламя заката, сидел с раскрытой головою, с колеблющимися от ветра волосами, и лицо его было задумчиво, гордо и грустно, и чувствовалось, что все-таки он счастлив, и что не только весь этот бегущий по его воле пароход, но и целый мир в его власти, потому что весь мир был в его душе в эту минуту — и потому еще, что и тогда уже пахло вином от него…

Ночь же настала страшная и великолепная. Она была черная, тревожная, с беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг парохода волн, что порою Чанг, бегавший за быстро и безостановочно гулявшим по палубе капитаном, с визгом отскакивал от борта. И капитан опять взял Чанга на руки и, приложив щеку к его бьющемуся сердцу, — ведь оно билось совершенно так же, как и у капитана! — пришел с ним в самый конец палубы, на ют, и долго стоял там в темноте, очаровывая Чанга дивным и ужасным зрелищем: из-под высокой, громадной кормы, из-под глухо бушующего винта, с сухим шорохом сыпались мириады белоогненных игл, вырывались и тотчас же уносились в снежную искристую дорогу, прокладываемую пароходом, то огромные го-

лубые звезды, то какие-то тугие синие клубы, которые ярко разрывались и, угасая, таинственно дымились внутри кипящих водяных бугров бледно-зеленым фосфором. Ветер с разных сторон сильно и мягко бил из темноты в морду Чанга, раздувал и холодил густой мех на его груди, и крепко, родственно прижимаясь к капитану, обонял Чанг запах как бы холодной серы, дышал взрытой утробой морских глубин, а корма дрожала, ее опускало и поднимало какой-то великой и несказанно свободной силой, и он качался, качался, возбужденно созерцая эту слепую и темную, но стократ живую, глухо бунтующую Бездну. И порой какая-нибудь особенно шальная и тяжелая волна, с шумом пролетавшая мимо кормы, жутко озаряла руки и серебряную одежду капитана…

В эту ночь капитан привел Чанга в свою каюту, большую и уютную, мягко освещенную лампой под красным шелковым абажуром. На письменном столе, плотно уместившемся возле капитанской кровати, стояли там, в тени и свете лампы, два фотографических портрета: хорошенькая сердитая девочка в локонах, капризно и вольно сидевшая в глубоком кресле, и молодая дама, изображенная почти во весь рост, с кружевным белым зонтиком на плече, в кружевной

большой шляпке и в нарядном весеннем платье, — стройная, тонкая, прелестная и печальная, как грузинская царевна. И капитан сказал, раздеваясь под шум черных волн за открытым окном:

— Не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! Есть, брат, женские души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые от этого от самого никогда и никого не любят. Есть такие — и как судить их за всю их бессердечность, лживость, мечты о сцене, о собственном автомобиле, о пикниках на яхтах, о каком-нибудь спортсмене, раздирающем свои сальные от фиксатуара волосы на прямой ряд? Кто их разгадает? Всякому свое, Чанг, и не следуют ли они сокровеннейшим велениям самой Тао, как следует им какая-нибудь морская тварь, вольно ходящая вот в этих черных, огненно-панцирных волнах?

— У-у! — сказал капитан, садясь на стул, мотая головой и развязывая шнурки белого башмака: — Что только было со мной, Чанг, когда я в первый раз почувствовал, что она уже не совсем моя, — в ту ночь, когда она в первый раз одна была на яхт-клубском балу и вернулась под утро, точно поблекшая роза, бледная от усталости и еще неулегшегося возбуждения, с глазами сплошь

темными, расширенными и далекими от меня! Если бы ты знал, как неподражаемо хотела она одурачить меня, с каким простым удивлением спросила: «А ты еще не спишь, бедный?» Тут я даже слова не мог выговорить, и она сразу поняла меня и смолкла, — только быстро взглянула на меня, — и молча стала раздеваться. Я хотел убить ее, но она сухо и спокойно сказала: «помоги мне расстегнуть сзади платье», — и я покорно подошел и стал дрожащими руками отстегивать эти крючки и кнопки — и как только увидел в раскрывшееся платье ее тело, ее междуплечье и сорочку, спущенную с плеч и засунутую за корсет, как только услыхал запах ее черных волос и взглянул в освещенное трюмо, отражавшее ее груди, поднятые корсетом…

И, не договорив, капитан махнул рукой.

Он разделся, лег и погасил огонь, и Чанг, перевертываясь и укладываясь в сафьянном кресле возле письменного стола, видел, как бороздили черную плащаницу моря вспыхивающие и гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще мелькали какие-то огни, как оттуда прибегала порою и с грозным шумом вырастала выше борта и заглядывала в каюту страшная живая волна, — некий сказочный змей,

весь насквозь светившийся самоцветными глазами, прозрачными изумрудами и сапфирами, — и как пароход отталкивал ее прочь и ровно бежал дальше, среди тяжелых и зыбких масс этого доврeменного, для нас уже чуждого и враждебного естества, называемого океаном…

Ночью капитан вдруг что-то крикнул и, сам испугавшись своего крика, прозвучавшего какой-то унизительно-жалобной страстью, тотчас же проснулся. Полежав минуту молча, он вздохнул и сказал с усмешкой:

— Да, да! «Золотое кольцо в ноздре свиньи — женщина прекрасная!» Трижды прав ты, Соломон Премудрый!

Он нашел в темноте папиросницу, закурил, но, затянувшись два раза, уронил руку — и так и заснул с красным огоньком папиросы в руке. И опять стало тихо — только сверкали, качались и с шумом неслись волны мимо борта. Южный Крест из-за черных туч…

Но тут внезапно оглушает Чанга громовый грохот. Чанг в ужасе вскакивает. Что случилось? Опять ударился, по вине пьяного капитана, пароход о подводные камни, как это было три года тому назад? Опять выстрелил капитан из пистолета в свою прелестную и печальную жену? Нет,

кругом не ночь, не море и не зимний полдень на Елисаветинской, а очень светлый, полный шума и дыма ресторан: это пьяный капитан ударил кулаком по столу и кричит художнику:

— Вздор, вздор! Золотое кольцо в ноздре свиньи, вот кто твоя женщина! «Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими: зайдем, будем упиваться нежностью, потому что мужа нет дома…» А-а, женщина! «Дом ее ведет к смерти и стези ее — к мертвецам…» Но довольно, довольно, друг мой. Пора, запирают, — идем!

И через минуту капитан, Чанг и художник на темной улице, где ветер с снегом задувает фонари. Капитан целует художника, и они расходятся в разные стороны. Чанг, полусонный, угрюмый, бочком бежит по тротуару за быстро идущим и шатающимся капитаном… Опять прошел день, — сон или действительность? — и опять в мире тьма, холод, утомление…

Так, однообразно, проходят дни и ночи Чанга. Как вдруг, однажды утром, мир, точно пароход, с разбегу налетает на скрытый от невнимательных глаз подводный риф. Проснувшись в одно зимнее утро, Чанг поражается великой тишиной, царящей в комнате. Он быстро вскакивает с места,

кидается к постели капитана — и видит, что капитан лежит с закинутой назад головой, с лицом бледным и застывшим, с ресницами полуоткрытыми и недвижными. И, увидев эти ресницы, Чанг издает такой отчаянный вопль, точно его сшиб с ног и пополам перехватил мчащийся по бульвару автомобиль…

Потом, когда не стоит на пятах дверь комнаты, когда входят, уходят и снова приходят, громко разговаривая, самые разные люди — дворники, полицейские, художник в цилиндре и всякие другие господа, с которыми сиживал капитан в ресторанах, — Чанг как бы каменеет… О, как страшно говорил когда-то капитан: «В тот день задрожат стерегущие дом и помрачатся смотрящие в окно; и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы: ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его плакальщицы; ибо разбился кувшин у источника и обрушилось колесо над колодезем…» Но теперь Чанг не чувствует даже ужаса. Он лежит на полу, мордой в угол, крепко закрывши глаза, чтобы не видеть мира, чтобы забыть о нем. И мир шумит над ним глухо и отдаленно, как море над тем, кто все глубже и глубже опускается в его бездну.

А снова приходит он в себя уже на паперти, у

дверей костела. Он сидит возле них с поникшей головой, тупой, полумертвый — только весь дрожит мелкой дрожью. И вдруг распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, — точно две сестры разных возрастов, — а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиящих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник, с красными глазами вышедший в эту минуту из костела, в изумлении останавливается:

— Чанг! — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу: — Чанг, что с тобою?

И, коснувшись задрожавшей рукою головы Чанга, наклоняется еще ниже — и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру: ах, нет, нет — есть на земле еще какая-то,

мне неведомая, третья правда!

В этот день, возвратясь с кладбища, Чанг переселяется в дом своего третьего хозяина — снова на вышку, на чердак, но теплый, благоухающий сигарой, устланный коврами, уставленный старинной мебелью, увешанный огромными картинами и парчовыми тканями… Темнеет, камин полон раскаленными, сумрачно-алыми грудами жара, новый хозяин Чанга сидит в кресле. Он, возвратясь домой, даже не снял пальто и цилиндра, сел с сигарой в глубокое кресло и курит, смотрит в сумрак своей мастерской. А Чанг лежит на ковре возле камина, закрыв глаза, положив морду на лапы.

Кто-то тоже лежит теперь — там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан: в том безначальном и бесконечном мире, что не доступен Смерти. В мире этом должна быть только одна правда, — третья, — а какая она — про то знает тот последний Хозяин, к которому уже скоро должен возвратиться и Чанг.

1916

Шквал

Борис Житков
Рассказ

— Провались он совсем и с своей черепицей вместе! — ругался матрос Ковалев. — Этакую тяжесть на палубу валит!

— Ладно, сейчас кончаем, еще только тысяча осталась, — прохрипел старик-боцман, размазывая красную черепичную пыль по потному лицу.

Жара стояла несносная, был самый разгар южного лета.

Отправитель черепицы с хозяином судна спорили в каюте, и было слышно на палубе, как грек-хозяин кричал:

— Понимаешь ты, я рискую: судно перевес будет иметь, самая тяжесть сверху, а ты не хочешь прибавить гривенник за тысячу!

— Ведь близко, капитан, два шага, погода хорошая, — пищал отправитель со слезой в голосе, — ведь через два часа на месте будете! Прибавлю пятак, уж куда ни шло.

— Продаешь нас за пятак, — бубнил на палубе матрос Ковалев, укладывая рядами черепицу, —

рванет хороший ветерок, и амба: ляжем парусами на воду.

— Да что вы, что вы? — испуганно сказала стоявшая подле женщина. Она держала за руку девочку лет восьми. Девочка вертелась и, запрокинув голову, разглядывала высокие мачты и реи судна.

— А очень просто, — серьезно сказал Ковалев и, остановясь на минуту, сердито взглянул на женщину. — Он не то нас, он и внучку не жалеет, — и Ковалев кивнул головой на девочку. — Вот подите, скажите ему.

— Да разве ему скажешь?.. — прошептала женщина и еще ближе прижала к себе девочку.

А матросы валили и валили черепицу, укладывали рядами и досками укрепляли ряды.

Боцман глядел на их работу и покачивал головой, что-то про себя соображая. Потом взглянул на небо, прищурился и перевел взгляд на горизонт. Море гладкое, без морщинки, как масло, лоснилось на солнце и тоже, казалось, еле дышало от нестерпимого зноя.

— Мертвый штиль, — сказал боцман. — Ух как бы не сорвалась ночью погода.

— Ничего, ничего, — затараторил хозяин, выходя из каюты, — бриз, бриз будет, хорошо пойдем.

Веселей шевелись! — крикнул он матросам и побежал по палубе зачем-то нагонять отправителя.

Наконец кончили погрузку. Судно «Два друга» оттянулось на середину порта. Ждали ветра. Солнце зашло, а жара не спадала. Все пятеро матросов стояли у борта, курили и сплевывали в воду. В порту зажглись огоньки, и красным глазом вспыхнул на рейде маяк. Красной змеей извивалось его отраженье в воде.

— А это что у тебя в ящике, Настя, куклы? — спросил Ковалев девочку.

Большой ящик стоял на палубе у борта, и девочка поминутно в него заглядывала через дверцу вверху.

— Нет, зайчик живой, — ответила Настя с гордостью.

— Да ну? — сказал Ковалев и запустил в ящик руку. Он вытащил за уши большого зайца. Девочка закричала и потянулась руками. Но она сейчас же успокоилась: матрос ловко посадил зайца на руки и стал бережно гладить своей огромной ладонью.

— Вот и жаркое, — сказал подошедший сзади матрос Дмитрий.

Настя испуганно поглядела на Дмитрия и перевела глаза на Ковалева.

— Не дадим, не бойся! — сказал матрос. — Это он шутит.

— А если буря будет? — спросила девочка, — страшная-престрашная, заиньку захлестнет волной?

— Мы его тогда в каюту к деду занесем, — утешал ее Ковалев.

— Ковалев! — раздался голос хозяина, — Дмитрий! Шлюпку на палубу!

Ковалев быстро сунул зайца обратно в ящик и пошел исполнять приказанье.

Настя теперь не отходила от Ковалева. Ей казалось, что Ковалев главный: такой громадный и за зайчика заступился.

Шлюпку вытащили и вверх дном уложили на палубе поверх черепицы.

Вот жарким дыханьем пахнул с берега бриз. Судно ожило. Все зашевелились. Матросы взялись за коромысло ручного брашпиля и, поругиваясь и отдуваясь, выкатили якорь. Поставили паруса, и «Два друга» медленно прокатилось в ворота порта. Бриз усилился и ходко гнал судно вдоль берега. Вот уже далеко за кормой остался красный глаз маяка. Усталые люди спешили в койки.

Ковалев стоял на руле.

— Смотри, Гришка, за ветром! Ненадежная

погода, — говорил ему боцман.

Старик поглядывал за борт, стараясь на глаз определить ход судна.

— Чуть что, буди меня, Коваль, — сказал он, оглядывая небо и паруса. — Дойдем до мыса, непременно разбуди. Я пойду, сосну.

И боцман зашагал усталыми ногами к кубрику.

Ковалев остался один. В отворенный люк хозяйской каюты он видел, как грек что-то писал в засаленной счетной книге.

Обе пассажирки спали тут же на узкой койке. Настя улыбалась во сне.

«Эта зайца своего видит, — подумал Ковалев, — а дед все пятаки считает».

В это время ветер вдруг прервал свое дыханье, судно выпрямилось, перевалилось на другой борт и стало качаться тяжелыми и широкими размахами. Но снова подул с берега бриз, и судно, прилегши на правый борт, побежало по-прежнему.

Ковалев беспокойно оглянул горизонт. Справа всходила полная луна. Ее диск двумя узкими полосками перерезывали облака. Небо посветлело, и на нем темным силуэтом вырисовывались паруса судна. Но Ковалев не отрывал глаз от той

части горизонта, откуда выплывала луна. Он стал следить за облаками и ясно увидал теперь, что они идут навстречу ветру, подымаясь из-за горизонта вместе с луной.

Бриз усилился, и судно побежало быстрей. Ковалеву казалось, что оно спешит скорее в порт, как конь тянется к дому, чуя опасность. Теперь рулевой весь напрягся и чутко прислушивался. Вдруг его ухо уловило какой-то шум, как будто отдаленный гул толпы. Шум приближался, усиливался и скоро обратился в яростный рев.

— Хозяин, — закричал Ковалев, — шквал идет с подветра!

Грек оглянулся.

— Тридцать девять и сорок пять, тридцать девять и… ах, черт! — сказал он и опять повернулся к столу.

Ковалев опрометью бросился к кубрику.

Шум рос. Теперь уже казалось, что бешеная толпа с ревом несется на судно.

— Хлопцы, хлопцы! — заорал Ковалев в люк. — Шквал идет!

Сонное лицо боцмана показалось из люка.

— Чего орешь? — бормотал он спросонья.

— Шквал! — крикнул Ковалев, нагнувшись к самому уху старика. — Все наверх!

Но он не успел кончить, как резкий порыв ветра налетел на судно, выстрелом рванул по парусам, и «Два друга» стремительно повалилось на левый борт. Ковалев не удержался на ногах и полетел в люк, увлекая за собой по трапу боцмана. На палубе загрохотала, зазвенела черепица, гулко стукнула о борт покатившаяся шлюпка, что-то трещало, лопалось и стонало, казалось, все судно рассядется надвое; волной хлынула вода в люк кубрика.

Шквал сделал свое дело и понесся дальше.

Все это совершилось мгновенно, никто не успел опомниться и что-нибудь сообразить. Сонные люди попадали с коек. Послышалась испуганная ругань, проклятья. В темной тесноте, по колено в воде, обезумевшие люди барахтались, наступали друг на друга, выли, ругались и молились. Ушибались об упавшие сундуки, путались в мокрых одеялах, давили друг друга, в ужасе, в смертельном страхе ища дорогу к выходу. А выхода не было.

— Стой! — вдруг покрыл все голоса окрик Ковалева. Обезумевшие люди на мгновенье замолчали, и стало слышно, как спокойно плещет вода в борт опрокинутого судна.

— Нас перекинуло, — сказал Ковалев, восполь-

зовавшись минутой молчанья, — мы не пошли подзаныр[30]: вон как зыбь в борт бьется.

— Давай топор, — крикнул матрос Христо, — руби дно!

Все бросились искать топор. Но это было нелегко в этом мокром хаосе. Руки судорожно хватались в темноте за всякую палку, принимая ее за ручку топора. Мешал двигаться висевший сверху привинченный к палубе стол, тряпье, мокрые подушки, путавшаяся в ногах веревка.

— Есть, есть! — закричал Дмитрий, ухватив наконец топор.

— Повыше, повыше рубайте, — молил боцман, — вот тут!

Но в темноте никто не видал, куда он показывал. Вмиг сломали ящик-койку, которая преграждала путь к борту.

Ковалев взял ощупью из рук Дмитрия топор.

— Рубай, рубай скорее, Гришка! — кричали люди. Все знали силу Ковалева. Топор застучал, щепки летели и били в лицо, но все старались протиснуться ближе.

— Давай мне! — крикнул Христо, заметив, что Ковалев устал.

---

[30] Примечания: 30
Подзаныр — на дно, под воду.

И так, передавая топор из рук в руки, люди по очереди, что было силы, колотили топором, попадая в нарубленное место.

А опрокинутое судно плавало: находившийся внутри воздух не успел выйти, так внезапно его перевернуло. И этот-то воздух и держал судно на поверхности.

В кубрике становилось заметно душно. Запыхавшиеся люди часто дышали и спешили прорубить выход на волю к свежему воздуху. Они боялись задохнуться и каждую минуту думали, что вот-вот судно начнет погружаться под воду.

Ковалев рубил в свою очередь. Он бил топором из последних сил и слышал по звуку, что немного уже оставалось. Сейчас будет дыра. Вот она. Лунный свет пробивался звездочкой сквозь маленькое отверстие. Ковалев перевел дух и хотел крикнуть товарищам, что уже виден свет. Он слышал тонкий свист прорвавшегося через дырку воздуха. Ковалев приставил к дыре мокрый палец: нет, из дыры не дуло. Куда же идет воздух? Ковалев понял, что воздух не входит в каюту. А ведь слышно, как он идет! Значит, вон из каюты выходит воздух?.. И вдруг все сообразил. Их каюта, как опрокинутый вверх дном пустой стакан: если его пихать в воду, то воздух в стакане не даст

войти воде. Но если в дне такого стакана сделать дырку, то воздух уйдет через нее, и весь стакан заполнит вода.

— Дай топор! — кричал Дмитрий.

Он шарил в темноте руки Ковалева.

— Да давай же скорей! — кричали кругом.

Но Ковалев быстро схватил плававшую под ногами щепку и забил ею отверстие.

— Стой, хлопцы! — кричал Ковалев. — Не руби!

Дмитрий вырвал из его рук топор. Ковалев знал, что Дмитрий сейчас ударит, и поймал его за руку.

— Стой! Ударишь — пропали все!

— Рубай! — кричал боцман.

— Нет! Воздух уйдет! — выкрикивал Ковалев, удерживая руку Дмитрия. — Вода снизу через люк напирает… ее воздух сюда не пускает… Дыра будет… потонем, как мыши… Сюда вода зайдет.

Все замолчали.

— Вот! — Ковалев выдернул на время щепку из отверстия и, поймав в темноте чью-то руку, поднес ее к дырке.

— Верно! — сказал голос боцмана.

— Все одно, рубай! — кричал Христо.

— Хлопцы, — сказал Ковалев, и все почувство-

вали, что он что-то важное скажет, и замолкли, — сейчас на воле будем. Вот он люк, я ногой нащупал. Давай веревку, я поднырну, а вы по веревке за мной.

Христо торопливо стал совать ему в руку конец веревки. Ковалев сорвал с себя мокрую одежду, быстро сделал на конце веревки петлю, надел ее через плечо и исчез под водой. Бьет проклятая веревка по ногам, мешает плыть; обо что-то острое ткнулся Григорий головой, помутилось на минуту в мозгу, но он все гребет руками. Вот он борт — Ковалев стукнулся в него теменем. Не хватает воздуху — хоть водой дохни. А там внизу чуть светлей: это пробивается лунный свет через воду. Сбросить бы петлю — вмиг на воле. Но Ковалев изо всей силы дернул веревку к себе и нырнул под борт. Вот уж на той стороне. Оттолкнулся из последних сил ногами от борта — грудь рвется, горло сжимает, вот-вот дохнет водой.

— Ну, на воле! Вот дохнул-то! — Огляделся Ковалев. Уж поднявшаяся луна ярко освещала спокойное море. Легкий ветер тянул к берегу. Как брюхо огромного чудовища, чернело дно опрокинутого корабля. Обломки мачт и реи с парусами плавали тут же на оборванных снастях. Ковалев подплыл к рее и закрепил на ней свою петлю.

Держался за рею и только дышал. Он сейчас ни о чем не думал, а глотал воздух, цену которому узнал только теперь.

Странно было думать, глядя на огромный опрокинутый корпус судна, что там внутри копошатся и рвутся на волю живые люди.

Через несколько секунд показалась на поверхности воды голова Христо, а за ним вынырнули остальные. Шлюпка, полная воды, но целая, плавала неподалеку, запутавшись в снастях. Матросы подплыли к ней.

Ковалев направился на обломке реи к корме, откуда раздавались глухие удары.

— Рубят, ей богу, рубят! — крикнул Ковалев.

Матросы как попало отливали воду из шлюпки и не слушали.

Ковалев достал конец веревки из воды, сделал опять петлю, надел по-прежнему через плечо и нырнул под судно. Нащупал под водой люк в хозяйскую каюту.

А там и в самом деле рубили. Хозяин-грек отчаянно работал топором, силясь прорубить выход через дно.

Все вздрогнули в капитанской каюте, когда услыхали голос Ковалева.

— Брось рубить! Пропадешь! — кричал он греку

и хотел впотьмах схватить его руку.

— Оставь! — заорал грек. — Убью!

Ковалев наскоро закрутил свою петлю за стол.

В темноте он нащупал женщину. На руках у нее Настя.

— Давай девочку, а сама за нами по веревке — ныряй под судно.

— Ой, ой! — закричала женщина. Но Ковалев вырвал из ее рук девочку, сгреб под мышку. Одной рукой зажал ей рот и нос, а другой взялся за веревку.

Перебирая веревку одной рукой, он вынырнул с Настей около реи.

Матросы подплывали на шлюпке, пробираясь между обломками снастей. Вслед за Ковалевым вынырнула и женщина.

Все уселись в шлюпку.

Удары изнутри корабля все яснее и яснее слышались, прерывались на минуту — видно, старик переводил дух — и снова гукали в дно.

— Могилу себе рубает, — сказал Ковалев. — Дорубится и поймет.

Шлюпка стояла у борта, откуда слышались удары.

Все молчали и ждали. Вот уж совсем близко бьет топор.

— Заткни дырку, могилу себе рубаешь! — кричал Ковалев. Христо что-то часто кричал по-гречески.

— Ныряй, хозяин, под палубу! — кричал Дмитрий.

Но старик или не понимал, или не слышал: рубил и рубил.

И вдруг послышался свистящий вздох. Это из невидимой дырки выходил воздух.

Удары топора бешено забарабанили по борту. Мелкие щепки летели наружу.

— Ай-ай, дедушка, дедушка! — крикнула Настя.

Вдруг стук сразу оборвался. С минуту все в шлюпке молчали.

— Ну, аминь, — сказал Ковалев, — пропал старик.

Женщина вдруг вскочила, вырвала из рук Дмитрия черпак и в отчаянии застучала по дну судна. Ответа не было.

— Отваливай! — скомандовал Ковалев.

Шлюпка отошла. Легкий ветер гнал ее к берегу и помогал гребцам.

— Чего ты, Настя? — спросил Ковалев.

Девочка плакала.

— А заинька, где заинька?

— Не плачь, — утешал матрос, — мама другого

купит.

Шлюпка медленно двигалась, гребли чем попало: весла пропали, их не нашли.

— Вон, вон что-то! — вдруг крикнула Настя.

Все поглядели, куда указывала девочка. Черное пятно маячило на воде справа.

Подошли. Ящик плавал, слегка погрузившись в воду. Ковалев засунул руку и достал мокрого, но живого зайца.

— Заинька, вот он, заинька! — крикнула Настя и стала заворачивать зайца в мокрый подол.

— Вот ведь: скотина бессмысленная спаслась, а человек пропал, — сказал Дмитрий и оглянулся на блестевшее на луне осклизлое брюхо корабля.

Гребцы налегли: всем хотелось поскорее уйти от погибшего судна. Каждому чудилось, что грек еще стучит топором по дну.

Через час шлюпка с пассажирами пристала к берегу.

Все невольно оглянулись на море. Но там уже не видно было опрокинутого судна.

1928

Механик Салерно

Борис Житков
Рассказ

I

Итальянский пароход шел в Америку. Семь дней он плыл среди океана, семь дней еще оставалось ходу. Он был в самой середине океана. В этом месте тихо и жарко.

И вот что случилось в полночь на восьмые сутки.

Кочегар шел с вахты спать. Он шел по палубе и заметил, какая горячая палуба. А шел он босиком. И вот голую подошву жжет. Будто идешь по горячей плите. «Что такое? — подумал кочегар. — Дай проверю рукой». Он нагнулся, пощупал: «Так и есть, очень нагрета. Не может быть, чтобы с вечера не остыла. Неладно что-то». И кочегар пошел сказать механику. Механик спал в каюте. Раскинулся от жары. Кочегар подумал: «А вдруг это я зря, только кажется? Заругает меня механик: чего будишь, только уснул».

Кочегар забоялся и пошел к себе. По дороге еще

раз тронул палубу. И опять показалось — вроде горячая.

II

Кочегар лег на койку и все не мог уснуть. Все думал: сказать, не сказать? А вдруг засмеют? Думал, думал, и стало казаться всякое, жарко показалось в каюте, как в духовке. И все жарче, жарче казалось. Глянул кругом — все товарищи спят, а двое в карты играют. Никто ничего не чует. Он спросил игроков:

— Ничего, ребята, не чуете?

— А что? — говорят.

— А вроде жарко.

Они засмеялись.

— Что ты, первый раз? В этих местах всегда так. А еще старый моряк!

Кочегар крякнул и повернулся на бок. И вдруг в голову ударило: «А что, как беда идет? И наутро уже поздно будет? Все пропадем. Океан кругом на тысячи верст. Потонем, как мыши в ведре».

Кочегар вскочил, натянул штаны и выскочил наверх. Побежал по палубе. Она ему еще горячей показалась. С разбегу стукнул механику в двери. Механик только мычал да пыхтел. Кочегар вошел и потолкал в плечо. Механик нахмурился, глянул

сердито, а как увидел лицо кочегара, крикнул:

— Что случилось? — и вскочил на ноги. — Опять там подрались?

А кочегар схватил его за руку и потянул вон. Кочегар шепчет:

— Попробуйте палубу, синьор Салерно.

Механик головой спросонья крутит — все спокойно кругом. Пароход идет ровным ходом. Машина мурлычет мирно внизу.

— Рукой палубу троньте, — шепчет кочегар. Схватил механика за руку и прижал к палубе.

Вдруг механик отдернул руку.

— Ух, черт, верно! — сказал механик шепотом. — Стой здесь, я сейчас.

Механик еще два раза пощупал палубу и быстро ушел наверх.

III

Верхняя палуба шла навесом над нижней. Там была каюта капитана.

Капитан не спал. Он прогуливался по верхней палубе. Поглядывал за дежурным помощником, за рулевым, за огнями.

Механик запыхался от скорого бега.

— Капитан, капитан! — говорит механик.

— Что случилось? — И капитан придвинулся

вплотную, глянул в лицо механику и сказал: — Ну, ну, пойдемте в каюту.

Капитан плотно запер дверь. Закрыл окно и сказал механику:

— Говорите тихо, Салерно. Что случилось?

Механик перевел дух и стал шептать:

— Палуба очень горячая. Горячей всего над трюмом, над средним. Там кипы с пряжей и эти бочки.

— Тсс! — сказал капитан и поднял палец. — Что в бочках, знаем вы да я. Там, вы говорили, хлористая соль? Не горючая? — Салерно кивнул головой. — Вы сами, Салерно, заметили или вам сказали? — спросил капитан.

— Мне сказал кочегар. Я сам пробовал рукой. — Механик тронул рукой пол. — Вот так. Здорово…

Капитан перебил:

— Команда знает?

Механик пожал плечами.

— Нельзя, чтобы знали пассажиры. Их двести пять человек. Начнется паника. Тогда мы все погибнем раньше, чем пароход. Надо сейчас проверить.

Капитан вышел. Он покосился на пассажирский зал. Там ярко горело электричество. Нарядные люди гуляли мимо окон по палубе. Они

мелькали на свету, как бабочки у фонаря. Слышен был веселый говор. Какая-то дама громко хохотала.

IV

— Идти спокойно, — сказал капитан механику. — На палубе — ни звука о трюме. Где кочегар?

Кочегар стоял, где приказал механик.

— Давайте градусник и веревку, Салерно, — сказал капитан и закурил.

Он спокойно осматривался кругом. Какой-то пассажир стоял у борта.

Капитан зашагал к трюму. Он уронил папироску. Стал поднимать и тут пощупал палубу. Палуба была нагрета. Смола в пазах липла к руке. Капитан весело обругал окурок, кинул за борт.

Механик Салерно подошел с градусником на веревке.

— Пусть кочегар смерит, — приказал капитан шепотом.

Пассажир перестал глядеть за борт. Он подошел и спросил больным голосом:

— Ах, что это делают? Зачем, простите, эта веревка? Веревка, кажется? — И он стал щупать веревку в руках кочегара.

— Ну да, веревка, — сказал капитан и засмеялся. — Вы думали, змея? Это, видите ли… — Капитан взял пассажира за пуговку. — Иди, — сказал капитан кочегару. — Это, видите ли, — сказал капитан, — мы всегда в пути мерим. С палубы идет труба до самого дна.

— До дна океана? Как интересно! — сказал пассажир.

«Он дурак, — подумал капитан. — Это самые опасные люди».

А вслух рассмеялся:

— Да нет! Труба до дна парохода. По ней мы узнаем, много воды в трюме или нет.

Капитан говорил сущую правду. Такие трубы были у каждого трюма.

Но пассажир не унимался.

— Значит, пароход течет, он дал течь? — вскрикнул пассажир.

Капитан расхохотался как мог громче.

— Какой вы чудак! Ведь это вода для машины. Ее нарочно запасают.

— Ай, значит, мало осталось! — И пассажир заломил руки.

— Целый океан! — И капитан показал за борт. Он повернулся и пошел прочь. Впотьмах он заметил пассажира.

Роговые очки, длинный нос. Белые в полоску брюки. Сам длинный, тощий.

Салерно чиркал у трюма.

V

— Ну, сколько? — спросил капитан.

Салерно молчал. Он выпучил глаза на капитана.

— Да говорите, черт вас дери! — крикнул капитан.

— Шестьдесят три, — еле выговорил Салерно.

И вдруг сзади голос:

— Святая Мария, шестьдесят три!

Капитан оглянулся. Это пассажир, тот самый. Тот самый, в роговых очках.

— Мадонна путана! — выругался капитан и сейчас же сделал веселое лицо. — Как вы меня напугали! Почему вы бродите один? Там наверху веселее. Вы поссорились там?

— Я нелюдим, я всегда здесь один, — сказал длинный пассажир.

Капитан взял его под руку. Они пошли, а пассажир все спрашивал:

— Неужели шестьдесят? Боже мой! Шестьдесят? Это ведь правда?

— Чего шестьдесят? Вы еще не знаете чего, а

расстраиваетесь. Шестьдесят три сантиметра. Этого вполне хватит на всех.

— Нет, нет! — мотал головой пассажир. — Вы не обманете! Я чувствую.

— Выпейте коньяку и ложитесь спать, — сказал капитан и пошел наверх.

— Такие всегда губят, — бормотал он на ходу. — Начнет болтать, поднимет тревогу. Пойдет паника.

Много случаев знал капитан. Страх — это огонь в соломе. Он охватит всех. Все в один миг потеряют ум. Тогда люди ревут по-звериному. Толпой мечутся по палубе. Бросаются сотнями к шлюпкам. Топорами рубят руки. С воем кидаются в воду. Мужчины с ножами бросаются на женщин. Пробивают себе дорогу. Матросы не слушают капитана. Давят, рвут пассажиров. Окровавленная толпа бьется, ревет. Это бунт в сумасшедшем доме.

«Этот длинный — спичка в соломе», — подумал капитан и пошел к себе в каюту. Салерно ждал его там.

VI

— Вы тоже! — сказал сквозь зубы капитан. — Выпучили глаза — утопленник! А этого болвана

не увидели? Он суется, носится за мной. Нос свой тычет, тычет, — капитан тыкал пальцем в воздух. — Он всюду, всюду! А нет его тут? — И капитан открыл двери каюты.

Белые брюки шагнули в темноте. Стали у борта. Капитан запер дверь. Он показал пальцем на спину и сказал зло:

— Тут, тут, вот он. Говорите шепотом, Салерно. Я буду напевать.

— Шестьдесят три градуса, — шептал Салерно. — Вы понимаете? Значит…

— Градусник какой? — шепнул капитан и снова замурлыкал песню.

— С пеньковой кистью. Он не мог нагреться в трубе. Кисть была мокрая. Я быстро подымал и тотчас глянул. Пустить, что ли, воду в трюм?

Капитан вскинул руку.

— Ни за что! Соберется пар, взорвет люки.

Кто-то тронул ручку двери.

— Кто там? — крикнул капитан.

— Можно? Минуту! Один вопрос! — Из-за двери всхлипывал длинный пассажир.

Капитан узнал голос.

— Завтра, дружок, завтра, я сплю! — крикнул капитан. Он плотно держал дверь за ручку. Потушил свет.

Прошла минута. Капитан шепотом приказал Салерно:

— Первое: дайте кораблю самый полный ход. Не жалейте ни котлов, ни машины. Пусть ее хватит на три дня. Надо делать плоты. Вы будете распоряжаться работой. Идемте к матросам.

Они вышли. Капитан осмотрелся. Пассажира не было. Они спустились вниз. На нижней палубе беспокойно ходил пассажир в белых брюках.

— Салерно, — сказал капитан на ухо механику, — занимайте этого идиота чем угодно! Что хотите! Играйте с ним в чехарду! Анекдоты! Врите! Но чтобы он не шел за мной. Не спускайте с глаз!

Капитан зашагал на бак. Спустился в кубрик к матросам. Двое быстро смахнули карты на палубу.

— Буди всех! Всех сюда! — приказал капитан. — Только тихо.

Вскоре в кубрик собралось восемнадцать кочегаров и матросов. С тревогой глядели на капитана. Молчали, не шептались.

— Все? — спросил капитан.

— Остальные на вахте, — сказал боцман.

VII

— Военное положение! — крепким голосом сказал капитан.

Люди глядели и не двигались.

— Дисциплина — вот. — И капитан стукнул револьвером по столу. Обвел всех глазами. — На пароходе пожар.

Капитан видел: бледнеют лица.

— Горит в трюме номер два. Тушить поздно. До опасности осталось три дня. За три дня сделать плоты. Шлюпок мало. Работу покажет механик Салерно. Его слушаться. Пассажирам говорить так: капитан наказал за игру и драки. Сболтни кто о пожаре — пуля на месте. Между собой — об этом ни слова. Поняли?

Люди только кивали головами.

— Кочегары! — продолжал капитан. — Спасенье в скорости. Не жалеть сил!

Капитан поднялся на палубу. Глухо загудели внизу матросы. А впереди капитан увидал: Салерно стоял перед пассажиром. Старик-механик выпятил живот и покачивался.

— Уверяю вас, дорогой мой, слушайте, — пыхтел механик, — уверяю, это в Алжире… ей-богу… и арапки… танец живота… Вот так!

Пассажир мотал носом и вскрикивал:

— Не верю, ведь еще семь суток плыть!

— Клянусь мощами Николая-чудотворца! — Механик задыхался и вертел животом.

— Поймал, поймал! — весело крикнул капитан.

Механик оглянулся.

Пассажир бросился к капитану.

— Все там играли в карты. И все передрались. Это от безделья. Теперь до самого порта работать. Выдумайте им работу, Салерно. И потяжелее. Бездельники все они! Все! Пусть делают что угодно. Стругают. Пилят. Куют. Идите, Салерно. По горячему следу. Застегните китель!

VIII

— Идемте, синьор. Вы мне нравитесь… — Капитан обхватил пассажира за талию.

— Нет, я не верю, — говорил пассажир упрямо, со слезами. — У нас есть пассажир. Он — бывший моряк. Я его спрошу. Что-то случилось. Вы меня обманываете.

Пассажир рвался вперед.

— Вы не хотите сказать. Тайна! Тайна!

— Я скажу. Вы правы — случилось, — сказал тихо капитан. — Станемте здесь. Тут шумит ма-

шина. Нас не услышат.

Капитан облокотился на борт. Пассажир стал рядом.

— Я вам объясню подробно, — начал капитан. — Видите вы вон там, — капитан перегнулся за борт, — вон вода бьет струей? Это из машины за борт.

— Да, да, — сказал пассажир, — теперь вижу.

Он тоже глядел вниз. Придерживал очки.

— Ничего не замечаете? — сказал капитан.

Пассажир смотрел все внимательнее. Вдруг капитан присел. Он мигом схватил пассажира за ноги. Рывком запрокинул вверх и толкнул за борт. Пассажир перевернулся через голову. Исчез за бортом. Капитан повернулся и пошел прочь. Он достал сигару, отгрыз кончик. Отплюнул на сажень. Ломал спички, пока закуривал.

IX

Капитан пошел наверх и дал распоряжение: повернуть на север.

Он сказал старшему штурману:

— Надо спешить на север. Туда, на большую дорогу. Тем путем ходит много кораблей. Там можно скорее встретить помощь.

Машина будто встрепенулась. Она торопливо

вертела винт. Пароход заметно вздрагивал. Он мелко трясся корпусом — так сильно вертела машина.

Через час Салерно доложил капитану:

— Плоты готовят. Я велел ломать деревянные переборки. Сейчас машина дает восемьдесят два оборота. Предохранительные клапаны на котлах заклепаны. Если котлы выдержат… — и Салерно развел руками.

— Тогда постарайтесь дать восемьдесят пять оборотов. Только осторожно, Салерно. Машина сдаст, и мы пропали. Люди спокойны?

— Они молчат и работают. Пока что… Их нельзя оставлять. Там второй механик. Третий — в машине. Фу!

Салерно отдувался. Он снял шапку. Сел на лавку. Замотал головой. И вдруг вскочил:

— Я смерю, сколько градусов.

— Не сметь! — оборвал капитан.

— Ах да, — зашептал Салерно, — этот идиот! Где он? — и Салерно огляделся.

Капитан не сразу ответил.

— Спит. — Капитан коротко свистнул в свисток и приказал вахтенному: — Третьего штурмана ко мне!

— Слушайте, Гропани, вам двадцать пять лет…

— Двадцать три, — поправил штурман.

— Отлично, — сказал капитан. — Вы можете прыгать на одной ножке? Ходить колесом? Сколько есть силы, забавляйте пассажиров! Играйте во все дурацкие игры! Чтобы сюда был слышен ваш смех! Ухаживайте за дамами. Вываливайте все ваши глупости. Кричите петухом. Лайте собакой. Мне наплевать. Третий механик вам в помощь, на весь день. Я вас научу, что врать.

— А вахта? — и Гропани хихикнул.

— Это и есть ваша вахта. Всю вашу дурость сыпьте. Как из мешка. А теперь спать!

— Есть! — сказал Гропани и пошел к пассажирам.

— Куда? — крикнул капитан. — Спать!

X

Капитан не спал всю ночь. Под утро приказал спустить градусник. Градусник показал 67. «Восемьдесят пять оборотов», — доложили из машины. Пароход трясся, как в лихорадке. Волны крутым бугром расходились от носа.

Солнце взошло справа. Ранний пассажир вышел на палубу. Посмотрел из-под руки на солнце. Вышел толстенький аббат в желтой рясе. Они говорили. Показывали на солнце. Оба пошли к

мостику.

— Капитан, капитан! Ведь солнце взошло справа, оно всходило сзади, за кормой. Вы изменили курс. Правда? — говорили в два голоса и пассажир и священник.

Гропани быстро взбежал наверх.

— О конечно, конечно! — говорил Гропани. — Впереди Саргассово море. Не знаете? Это морской огород. Там водоросли, как змеи. Они опутают винт. Это прямо похлебка с капустой. Вы не знали? Мы всегда обходим. Там завязло несколько пароходов. Уж много лет.

Пожилая дама в утреннем платье вышла на голоса.

— Да, да, — говорил Гропани, — там дамы хозяйничают, как у себя дома.

— А есть-то что? — спросила дама.

— Рыбу! Они рыбу ловят! — спешил Гропани. — И чаек. Они чаек наловили. Они у них несутся. Цыплят выводят. Как куры. И петухи кричат: «Ку-ка-ре-ку!»

— Вздор! Вздор! — смеялась дама.

А Гропани бил себя в грудь и кричал:

— Клянусь вам всеми спиртными напитками!

Пассажиры выходили на палубу. Вертлявый испанец суетился перед публикой.

— Господа, пока не жарко, партию в гольд! — кричал он по-французски и вертел черными глазами.

— Будьте мужчиной, — говорил испанец и тряс за руку Гропани, — приглашайте дам!

— Одну партию до кофе! Умоляйте! — Испанец стал на колени и смешно шевелил острыми усами.

— Вот так и будете играть, — крикнул Гропани, — на коленях!

— Да! Да! На коленях! — закричали дамы.

Все хохотали. Испанец делал рожи, смешил всех и кричал:

— Приглашайте дам!

Гропани поклонился аббату и сделал руку кренделем:

— Прошу.

Аббат замахал рукой:

— Ах, простите, я близорук.

Всем стало весело. Кто-то притащил клюшки и большие шашки. Началась игра; на палубе начертили крестики. Клюшками толкали шашки.

XI

— Сегодня особенно трясет, — вдруг сказал испанец. — Я чувствую коленками. Не правда ли?

Все минуту слушали.

— Да вы посмотрите, как мы идем! — крикнул Гропани.

Публика хлынула к борту.

— Это секрет, секрет, — говорил Гропани. Он поднял палец и прищурил глаз.

— Матео! — крикнул Гропани вниз. — Скорей, скорей, бегом!

Третий механик быстро появился снизу. Он был маленький, черный. Совсем обезьянка. Он бежал легко, семенил ножками.

— Гой! — крикнул Гропани, и механик с разбегу прыгнул через испанца. Все захлопали в ладоши.

— Слушай, секрет можно сказать? — спросил Гропани. — Нам не влетит?

— Беру на себя, — сказал маленький механик и улыбнулся белыми зубами на темном лице.

Все обступили моряков. Испанец вскочил с колен.

— Наш капитан, — начал тихим голосом механик, — через два дня именинник. Он всегда останавливает пароход. Все выходят на палубу и должны поздравлять старика. Часа три стоим все, поздравляем, все равно, даже в шторм. Вот он и велит гнать. А то опоздает в порт. Чудачина-старичина! И катанье какое-то затевает, морской

пикник, — совсем тихо прибавил механик. — Только, чур, молчок! — И он волосатой рукой прикрыл рот.

— Ох, интересно! — говорили дамы.

Буфетчик звонил к кофе.

Механик и Гропани отошли к борту.

— У нас в кочегарке, — быстрым шепотом сказал механик, — переборка нагрелась — рука не терпит. Как утюг. Понимаешь?

— А трюм нельзя открыть, — сказал Гропани. — Войдет воздух, и сразу все вспыхнет.

— Как думаешь, продержимся два дня? Как думаешь? — Механик глянул в самые глаза Гропани.

— Пожар, можем задохнуться в своем дыму, — сказал Гропани, — а впрочем, черт его знает.

Они пошли на мостик. Капитан их встретил.

— Идите сюда, — сказал капитан. Он потащил механика за руку. В каюте он показал ему маленькую рулетку, новенькую, блестящую.

— Вот шарик. — Капитан поднес шарик к носу механика. — Пусть крутят, бросают шарик, пусть играют на деньги. Говорите — это по секрету от капитана. Тогда они будут сидеть внизу. Мужчины хотя бы… Дамы ничего не заметят. Возьмите, не потеряйте шарик! — И капитан ткнул рулетку

механику.

Третий механик вышел на палубу. Официанты играли на скрипках. Две пары уже танцевали.

XII

Команда работала и разбирала эмигрантские нары. Под палубой было жарко и душно. Люди разделись, мокрые от пота.

— Ни минуты, ни секунды не терять! — говорил старик Салерно. Он помогал срывать толстые брусья.

— Потом покурите, потом! — пыхтел старик.

— Ну, чего стал? — крикнул Салерно молодому матросу.

— Вот оттого и стал! — во всю глотку крикнул молодой матрос.

Все на миг бросили работу. Все глядели на Салерно и матроса. Стало тихо. И стало слышно веселую музыку.

— Ты это что же? — сказал Салерно. Он с ключом в руке пошел на матроса.

— Там танцуют, — кричал матрос, — а мы тут кишки рвем! — Матрос подался вперед с топором в руке. — Давай их сюда!

— Верно, правильно говорит! — загудели матросы.

— Кому плоты? Нам шлюпок хватит.

— А плоты пусть сами себе делают.

Все присунулись к Салерно, кто с чем: с молотком, с топором, с долотом. Все кричали:

— К черту! Довольно! Баста! Остановить пароход! К шлюпкам!

Один уже бросился к трапу.

— Стойте! — крикнул Салерно и поднял руку.

На миг затихли. Остановились.

— Братья матросы! — сказал с одышкой старик. — Ведь там пассажиры. Мы взялись их свезти… А мы их… выйдет… выйдет… погубим… Они ведь ехать сели, а не тонуть…

— А мы тоже не гореть нанялись! — крикнул молодой матрос в лицо механику.

И молодой матрос, растолкав всех, бросился к трапу.

XIII

Капитан слышал крик. Он спустился на нижнюю палубу. Шел к мостику и прислушивался.

«Бунт, — подумал капитан. — Они бьют Салерно. Пропало все. Уйму́, а нет — взорву к черту пароход, пропадай все пропадом!»

И капитан быстро зашагал к люку.

Вдруг навстречу матрос с топором. Он с разбегу

ткнулся в капитана. Капитан рванул его за ворот. Матрос не успел опомниться, капитан столкнул его в люк. По трапу на матроса напирал народ. Все стали и смотрели на капитана.

— Назад! — рявкнул капитан.

Люди попятились. Капитан спустился вниз.

— Чего смотреть?! — крикнул кто-то.

Народ встрепенулся.

— Молчать! — сказал капитан. — Слушай, что я скажу.

Капитан стоял на трапе выше людей. Все на него глядели. Жарко дышали. Ждали.

— Не будет плотов — погибли пассажиры. Я за них держу ответ перед миром и совестью. Они нам доверились. Двести пять живых душ. Нас сорок восемь человек…

— А мы их свяжем, как овец! — крикнул матрос с топором. — Клянусь вам!

— Этого не будет! — крепко сказал капитан. — Ни один мерзавец не тронет их пальцем. Я взорву пароход!

Люди загудели.

— Убейте меня сейчас! — Капитан сунулся грудью вперед. — И суньтесь только на палубу — пароход взлетит на воздух! Все готово, без меня есть кому это сделать. Вы хотите погубить двести

душ — и женщин и малых детей. Даю слово: погибнете вместе. Все до одного.

Люди молчали. Кто опустил вниз злые глаза, а кто глядел на капитана и кивал головой.

Капитан с минуту глядел на людей.

Молодой матрос вскинул голову, но капитан заговорил:

— Плоты почти готовы. Их осталось собрать и сделать мачты. На шесть часов работы. У нас ведь есть сутки. Двадцать четыре часа. Пассажиры в воде — это дети. Они узнают о несчастье — они погубят себя. Нам вручили их жизнь. Товарищи моряки! — громко крикнул капитан. — Лучше погибнуть честным человеком, чем жить прохвостом! Скажите только: «Мы их погубим», — капитан обвел всех глазами, — и я сейчас пущу себе пулю в лоб. Тут, на трапе. — И капитан сунул руку в карман.

Все загудели глухо, будто застонали.

— Ну, так вот вы — честные люди, — сказал капитан. — Я знал это. Вы устали. Выпейте по бутылке красного вина. Я прикажу выдать. Кончайте скорее — и спать. А наши дети, — капитан кивнул наверх, — пусть играют, вы их спасете, и будет навеки вам слава, морякам Италии. — И капитан улыбнулся. Улыбнулся весело, и вмиг

помолодело лицо.

— Браво! — крикнул молодой матрос.

Он глядел на капитана. Капитан быстрыми шагами вбегал по трапу.

— Гропани! — крикнул капитан на палубе. Штурман бежал навстречу. — Идите вниз, — говорил капитан, — работайте с ними во всю мочь! И по бутылке вина всем. Сейчас. Там танцуют? Ладно. Я пришлю за вами, в случае станут скучать. Ну, живо!

— Есть! — крикнул Гропани и бегом бросился к люку.

XIV

Капитан прошел в свою каюту. Он сел на койку, сжал кулаки со всей силой и подпер бока. «Держаться, держаться, — говорил капитан, — что есть сил держаться! Сутки одни, одни только бы сутки! И нисколько не легче становилось капитану. Он знал: не за сутки, а за один час, за минуту все может погибнуть. Крикнет этот матрос с топором: «Пожар!» — и готово. «Дали им вина?» — подумал капитан и вскочил на ноги. Но тут влетел в каюту Салерно. Старик осунулся в эти два дня. Он схватил капитана за плечи, стал трясти. Тряс и все глядел в глаза, и лицо у

старика кривилось и вдруг совсем сморщилось, и он заплакал, заревел в голос. Он с размаху сел на койку и уткнул лицо в подушку.

— Что ты? — Капитан первый раз заговорил с ним на «ты». — Что ты? Салерно…

Капитан повернулся, взялся за ручку двери. Старик встрепенулся.

— Минуту! — говорил старик.

Он задыхался, схватил графин и пил из горлышка. Обливался. Другой рукой он держал капитана.

— Ведь я умру подлецом, — говорил старик сквозь слезы. — Пожар не потухнет. В этих бочках, ты не знаешь, — в них бертолетова соль!

— Как? — спросил капитан. — Ведь ты сказал — хлорноватая какая-то соль…

— Да, да! Это и есть бертолетова. Я не соврал. Но я знал, что ты не поймешь.

— Я спрашивал ведь тебя: не опасно? А ведь это — взрыв!..

— Нет, нет, — плакал старик, — не взрыв! Ее нагревает, она выпускает кислород, а от него горит. Сильней, сильней все горит. — Старик умоляюще глядел на капитана. — Ну, прости, прости хоть ты, Господи! — Старик ломал руки. — Никто, никто не простит… — И Салерно искал глазами по

кают. — Мне дали триста лир, чтобы я устроил… дьявол дал… эти двадцать бочек. Что же теперь? Что же? — Салерно глотал воздух ртом. — Иисусе святой, милый, дорогой…

— Идите к аббату, приложитесь к его рясе. Нет? Тогда вот револьвер — стреляйтесь! — сказал капитан и брякнул на стол браунинг.

Старик водил выпученными глазами.

— Тоже не хотите? Тогда умрите на работе. Марш к команде.

— Капитан, — хрипло сказал Салерно, — на градуснике… вчера было не семьдесят восемь, а восемьдесят семь…

Капитан вскинул брови, вздрогнул.

— Я не мог сказать… — Старик рухнул с койки, стал на колени.

Капитан с размаху ударил старика по лицу, вышел и пристукнул за собой дверь.

XV

Капитан взял веревку с градусником. Он сам смерил температуру — было 88 градусов.

Маленький механик подошел и сказал (он был в одной сетке, мокрый от пота):

— На переборке краска закудрявилась, барашком пошла, но мы поливаем… Полно пару… Люди

задыхаются… Работаем мы со вторым механиком…

Капитан подошел к кочегарке. Глянул сверху, но сквозь пар не мог увидеть. Слышал только — лязгают лопаты, стукают скребки.

Маленький механик шагнул за трап и пропал в пару.

Солнце садилось. Красным отсветом горели буруны по бокам парохода. Черный дым густой змеей валил из трубы. Пароход летел что есть силы вперед. В трюме парохода горел смертельный огонь. Пассажиры приятно пели испанскую песню. Испанец махал рукой. Все на него смотрели, а он стоял на табурете выше всех.

— Споемте молитву, — говорил испанец. — Его преподобию будет приятно.

Испанец дал тон.

Капитан быстро пошел вниз, к матросам.

— Сейчас готово! — крикнул навстречу Гропани. Он, голый до пояса, долбил долотом. Старик Салерно, лохматый, мокрый, тесал. Он без памяти тесал, зло садил топором.

— Баста! Довольно уж! — кричал ему судовой плотник.

Салерно, красный, мокрый, озирался вокруг.

— Еще по бутылке вина, — сказал капитан. —

Выпить здесь — и по койкам. Двое — в кочегарку, помогите товарищам. Они в аду. Вахта по часу.

Все бросили инструменты. Один Салерно все стоял с топором. Он еще два раза тяпнул по бревну. Все на него оглянулись.

Капитан вышел на палубу. На трюме в пазах стена пошла пузырями. Они надувались и лопались. Смола прилипала к ногам. Черные следы шли по палубе.

Солнце зашло.

Яркими огнями вспыхнул салон; оттуда мирно мурлыкал пассажирский говор.

Гропани догнал капитана.

— Я доложу, — весело говорил Гропани, — очень здорово, то есть замечательные плоты, говорю я… а Салерно…

— Видел все, — сказал капитан. — Готовьте провизию, воду, флаги, ракеты. Фальшфейера не забудьте. Сейчас же…

— А Салерно чудак, ей-богу! — крикнул Гропани и побежал хлопотать.

XVI

Ночью капитан пошел мерить температуру. Он мерил каждый час. Температура медленно подходила к 89 градусам. Капитан осторожно

прислушивался, не гудит ли в трюме. Он приложил ухо к трюмному люку. Было горячо, но капитан терпел. Было не до того. Слушал: нет, ничего — это урчит машина. Ее слышно по всему пароходу. Капитану начинало казаться: вот сейчас, через минуту пароход не выдержит. Взорвется люк, полыхнет пламя — и конец: крики, вой, кровавая каша. Почем знать, дотерпит ли пароход до утра? И капитан снова щупал палубу. Попадал в жидкую горячую смолу в пазах. Снова мерил градусником уже каждые полчаса. Капитан нетерпеливыми шагами ходил по палубе. Глядел на часы. До рассвета было еще далеко. Внизу Гропани купорил в бочки сухари, консервы. Салерно возился тут же. Он слушал Гропани и со всех ног исполнял его приказы. Как мальчик, старик глядел на капитана, будто хотел сказать: «Ну, прикажи скорее, и я в воду брошусь!»

Около полуночи капитану доложили — двоих вынесли из кочегарки в обмороке. Но машина все вертелась, и пароход летел напрямик к торной дороге.

Капитан не мог присесть ни на миг. Он ходил по всему пароходу. Он спустился в кочегарку. Там в горячем пару звякали дверцы топок. Пламя выло под котлами. Распаренные люди изо всех

сил швыряли уголь. Не попадали и снова с ожесточением кидали. Ругались, как плакали.

Капитан схватил лопату и стал кидать. Он задыхался в пару.

— Валяй, валяй, сейчас конец, — говорил капитан.

Гайки закрыли. Капитан вылез наверх. Ему показалось холодно на палубе. А это что? Какие-то фигуры в темноте возятся у шлюпки.

Капитан опустил руку в карман, нащупал браунинг. Подошел. Три матроса и кочегар вываливали шлюпку за борт.

— Я не приказывал готовить шлюпок, — тихим голосом сказал капитан.

Они молчали и продолжали дело.

— На таком ходу шлюпки не спустить, — сказал капитан чуть громче. — Погибнете сами и загубите шлюпку.

Капитан сдерживал сердце: нельзя подымать тревогу.

Матросы вывалили шлюпку за борт. Оставалось спустить.

Двое сели в шлюпку. Двое других готовились спускать.

— А, дьявол! — вскрикнул один в шлюпке. — Нет весел. Они запрятали весла и паруса. Все.

Давай весла! — крикнул он в лицо капитану. — Давай!

— Не ори, — сказал тихо капитан, — выйдут люди, они убьют вас!

И капитан отошел в сторону. Он видел, как люди вылезли из шлюпки. До рассвета оставалось три часа. Капитан увидел еще фигуру: приглядел-ся — Салерно. Старик, полуголый, шел шатаясь.

Он шел прямо на капитана. Капитан стал.

— Салерно!

Старик подошел вплотную.

— Что мне теперь делать? Прикажите.

Салерно глядел сумасшедшими глазами.

— Оденьтесь, — сказал капитан, — причешитесь, умойтесь. Вы будете передавать детей на плоты.

Салерно с сердцем махнул кулаками в воздухе. Капитан зашагал на бак. По дороге он снова смерил: было почти 90 градусов.

Капитану хотелось подогнать солнце. Вывернуть его рычагом наверх. Еще 2 часа 45 минут до света. Он прошел в кубрик. Боцман не спал. Он сидел за столом и пил из кружки воду. Люди спали головой на столе, немногие в койках. Свесили руки, ноги, как покойники. Кто-то в углу копался в своем сундучке. Капитан поманил пальцем

боцмана. Боцман вскочил. Тревожно глядел на капитана.

— Вот порядок на утро, — тихо сказал капитан. И он стал шептать над ухом боцмана.

— Есть… есть… — приговаривал боцман.

Капитан быстро взбежал по трапу. Ему не терпелось еще смерить. Градусник с веревкой был у него в руке. Капитан спустил его вниз и тотчас вытянул. Глядел, не мог найти ртути. Что за черт! Он взял рукой за низ и отдернул руку: пеньковая кисть обварила пальцы. Капитан почти бегом поднялся в каюту. При электричестве увидал: ртуть уперлась в самый верх. Градусник лопнул. У капитана захватило дух. Дрогнули колени первый раз за все это время. И вдруг нос почувствовал запах гари. От волнения капитан не расчуял. Откуда? Озирался вокруг. Вдруг он увидел дымок. Легкий дымок шел из его рук. И тут капитан увидел: тлеет местами веревка. И сразу понял: труба раскалилась докрасна в трюме. Пожар дошел до нее.

Капитан приказал боцману поливать палубу. Пустить воду. Пусть все время идет из шланга. Тут под трюмом пар шел от палубы. Капитан зашел в каюту Салерно. Старик переодевал рубаху. Вынырнул из ворота, увидал капитана. Замер.

— Дайте химию, — сказал капитан сквозь зубы. — У вас есть химия.

Салерно схватил с полки книгу — одну, другую…

— Химии… химии… — бормотал старик.

Капитан взял книгу и вышел вон.

«Может ли взорвать?» — беспокойно думал капитан. У себя в каюте он листал книгу.

«Взрывает при ударе, — прочел капитан про бертолетову соль, — и при внезапном нагревании».

— А вдруг там попадет так… что внезапно… А, черт!

Капитан заерзал на стуле. Глянул на часы: до рассвета оставалось двадцать семь минут.

XVII

Остановить пароход в темноте — все пассажиры проснутся, и в темноте будет каша и бой. А в какую минуту взорвется? В какую из двадцати семи? Или соль выпускает кислород? Просто кислород, как в школе на уроке химии?

Капитан дернулся смерить, вспомнил и топнул с сердцем в палубу.

Теперь капитан как закаменел: шел твердо, крепким шагом. Как живая статуя. Он прошел

в кубрик.

— Буди! — сказал капитан боцману. — Двоих на лебедку! Плоты на палубу! Собирать!

Люди просыпались, серые и бледные. Всеми глазами глядели на капитана. Капитан вышел. С бака на него глядели бортовые огни: красный и зеленый. Яркие, напряженные. Капитан уже слышал сзади возню, гроханье брусьев. Тарахтела лебедка. Вспыхнула грузовая люстра.

— Гропани, к пассажирам! — сказал капитан на ходу. Он слышал голос Салерно.

— Салерно, ко мне! — крикнул капитан. — Вы распоряжайтесь спуском плотов. И ни одной ошибки!

Второй штурман с матросами вываливал шлюпки за борт. Одиннадцать шлюпок. Капитан глянул на часы. Оставалось семнадцать минут. Но восток глухо чернел справа.

— Всех наверх! — сказал капитан маленькому механику. — Одного человека оставить в машине.

Пароход несся, казалось, еще быстрей — напоследки — очертя голову.

Капитан вышел на мостик.

— Определитесь по звездам, — сказал он старшему штурману, — надо точно знать наше место

в океане.

Легкий ветер дул с востока. По океану ходила широкая плавная волна. Капитан стоял на мостике и смотрел на сборку плотов. Салерно точно, без окриков руководил, и руки людей работали дружно, в лад. Капитан шагнул вправо. Ветром дунул свет из-за моря.

— Стоп машина! — приказал капитан.

И сейчас же умер звук внутри. Пароход будто ослаб. Он с разгону еще несся вперед. Люди на миг бросили работу. Все глянули наверх, на капитана. Капитан серьезно кивнул головой, и люди вцепились в работу.

XVIII

Аббат проснулся.

— Мы, кажется, стоим, — сказал он испанцу и зажег электричество.

Испанец стал одеваться. Поднимались и в других каютах.

— Ах да! Именины! — кричал испанец.

Он высунулся в коридор и крикнул веселым голосом:

— Дамы и кавалеры! Пожалуйста! Прошу! Все в белом! Непременно!

Все собрались в салоне. Гропани был уже там.

— Но почему же так рано? — говорили нарядные пассажиры.

— Надо приготовить пикник, — громко говорил Гропани, — а потом, — шепотом, — возьмите с собой ценности. Знаете, все выйдут, прислуга ненадежна.

Пассажиры пошли рыться в чемоданах.

— Я боюсь, — говорила молодая дама, — в лодках по волнам…

— Со мной, сударыня, уверяю, не страшно и в аду, — сказал испанец. Он приложил руку к сердцу. — Идемте. Кажется, готово!

Гропани отпер двери.

Пароход стоял. Пять плотов гибко качались на волнах. Они были с мачтами. На мачтах флаги перетянуты узлом.

Команда стояла в два ряда. Между людьми — проход к трапу.

Пассажиры спустились на нижнюю палубу.

Капитан строго глядел на пассажиров.

Испанец вышел вперед под руку с дамой. Он улыбался, кланялся капитану.

— От лица пассажиров… — начал испанец и шикарно поклонился.

— Я объявляю, — перебил капитан крепким голосом, — мы должны покинуть пароход. Пер-

выми сойдут женщины и дети. Мужчины, не трогаться с места! Под страхом смерти.

Как будто стон дохнул над людьми. Все стояли оцепенелые.

— Женщины, вперед! — скомандовал капитан. — Кто с детьми?

Даму с девочкой подталкивал вперед Гропани. Вдруг испанец оттолкнул свою даму. Он растолкал народ, вскочил на борт. Он приготовился прыгнуть на плот. Хлопнул выстрел. Испанец рухнул за борт. Капитан оставил револьвер в руке. Бледные люди проходили между матросами. Салерно размещал пассажиров по плотам и шлюпкам.

— Все? — спросил капитан.

— Да. Двести три человека! — крикнул снизу Салерно.

Команда молча, по одному, сходила вниз.

Плоты отвалили от парохода, легкий ветер относил их в сторону. Женщины жались к мачте, крепко прижимали к себе детей. Десять шлюпок держались рядом. Одна под парусами и веслами пошла вперед. Капитан сказал Гропани:

— Дайте знать встречному пароходу. Ночью пускайте ракеты!

Все смотрели на пароход. Он стоял один среди

моря. Из трубы шел легкий дым.

Прошло два часа. Солнце уже высоко поднялось. Уже скрылась из глаз шлюпка Гропани. А пароход стоял один. Он уже не дышал. Мертвый, брошенный, он покачивался на зыби.

«Что же это?» — думал капитан.

— Зачем же мы уехали? — крикнул ребенок и заплакал.

Капитан со шлюпки оглядывался то на ребенка, то на пароход.

— Бедный, бедный… — шептал капитан. И сам не знал — про ребенка или про пароход.

И вдруг над пароходом взлетело белое облако, и вслед за ним рвануло вверх пламя.

Гомон, гул пошел над людьми. Многие встали в рост, глядели, затаив дыхание…

Капитан отвернулся, закрыл глаза рукой. Ему было больно: горит живой пароход. Но он снова взглянул сквозь слезы. Он крепко сжал кулаки и глядел, не отрывался.

Вечером виден был красный остов. Он рдел вдали. Потом потухло. Капитан долго еще глядел, но ничего уже не было видно.

Три дня болтались на плотах пассажиры.

На третьи сутки к вечеру пришел пароход. Гропани встретил на борту капитана.

Люди перешли на пароход. Недосчитались старика Салерно. Когда он пропал, — кто его знает.

1935

Морская прививка

Константин Паустовский
Рассказ

Автомобиль, гудя и встряхиваясь, метался по жарким дорогам. Их белая карта привела, наконец, к зеленой лагуне. Прохладная ее глубина казалась особенно яркой под днищами рыбачьих барок.

Лагуну, набережную, выметенную ветром, и дома с пустыми нишами для статуй окружали горы, покрытые ржавчиной многих веков.

Шофер замедлил ход, и за машиной помчались худые мальчишки. В их глазах сверкал восторг. Так умеют восторгаться люди очень теплых и древних стран.

Машина остановилась, и приехавшие с изумлением заметили сдержанную скупость природы, ветер и тишину. За горой, замыкавшей лагуну, шумел горизонт, — там было море.

Маленький мальчик вылез из автомобиля. Ему помогали шофер с пунцовым от солнца затылком и мать — светловолосая женщина с открытой улыбкой. Мальчик взглянул на отца, как смотрят

на преданного друга, и спросил:

— Па, что это шумит там?

Отец ответил:

— Море.

— А что оно делает, море?

Отец засмеялся. Море ничего не делало. Его великолепное безделье казалось непонятным. Оно шумело, намывало пляжи, меняло очертания берегов, выбрасывало медуз и водоросли.

— Па, зачем море? — снова спросил мальчик и прищурил глаза.

Шофер похлопал мальчика по ладони:

— Ну прощай, Мишук. Море — чтобы купаться.

Мишук смущенно улыбнулся. Загадка была решена.

Машина умчалась, оставив позади конус белого дыма.

Отец, худой, с молодым лицом и седыми висками, взял Мишука за руку и повел в дом, высеченный в скалах. В белых комнатах стоял плотный солнечный свет.

Мишук сел на пол: за окном было страшно. Там тучей лежал глубокий глухой воздух. Пол был горячий, море было непонятно, и Мишук заплакал.

Но любопытство преодолело страх. Через полчаса Мишук стоял на балконе и кричал в восторге:

по морю плыли большие лошади с белыми гривами. Гривы то окунались в воду, то вскипали пеной. Лошадей было много, — больше, чем во всей Москве.

В ресницах Мишука, еще черных от слез, запутался ветер. Мишук тер глаза и вскрикивал:

— Ма, смотри сколько лошадей! Ма!

— Это барашки, — ответила мать. На душе у нее было спокойно от света. — Это шторм на море, маленький. Это буря.

Мыс Айя — последняя ступень земли — краснел в пене и облачном дыму. За ним кончался мир, за ним плясали волны и дельфины и дул, припадая к воде, разгонистый ветер.

Отец сказал, помолчав:

— Помнишь, под Севастополем море открылось, как туча?

— Да, как туча, — ответила женщина и подошла сзади. Она хотела вспомнить прошлое: рождение мальчика, утрату чувства жизни, пугавшую ее по временам, внезапные перемены в муже, но ничего не вышло. Прошлое исчезло. Оно казалось прекрасным даже во всей своей тягости. Оно тонуло в этой синеве, брызгах, в детском хохоте.

Утром на следующий день Мишук поехал на пляж, Курносый Пашка лениво греб и щурился

на море. Там плыл белый пароход.

— «Зарница», — сказал Пашка.

На пляже Пашка лазил на бурые скалы и орал сверху, размахивая кепкой:

— Мишук, гляди, де я! Мишук!

Мишук волновался и хохотал. Невесомая влага подымалась и опускалась, но ни одна волна не плеснула о берег, — море дышало во сне.

Женщина вошла в воду и улыбнулась: в воде было растворено солнце. Перезревшее лето пахло йодом, хвоей и солью. Она закрыла глаза. В ресницах вспыхнули хрустальные шары — над морем всходил беззвучный полдень. Мыс Айя исполинским фортом чернел в море и терпеливо дожидался зноя.

Женщина прижала кончики пальцев к смуглым плечам, и несколько слез скатилось в море. Она плакала от простой мысли, что вот этот день нужнее для нее, чем многие годы их прошлой жизни, чем тяжесть познания, чем пестрые вереницы людей, проходившие через их жизнь, как через ресторан.

— Мишук, гляди, де я! — орал Пашка с неприступных вершин.

Мишук дрожал от страха и смеялся. Он стоял у моря так, что только кончики его пальцев бы-

ли в воде. Он был слишком маленький, а море было слишком большое. Мишук боялся шагнуть вперед и назад. Непонятность всего происходившего пугала Мишука. Громадные его глаза были готовы пролиться невыплаканными слезами. Впервые он ощутил величие стихий.

— Ма, зачем море большое? — шепотом спросил Мишук, но мать не слышала, она плыла далеко в море.

— Что ты шепчешь, маленький? — спросил отец.

— Па, зачем море большое? — повторил Мишук, и из глаз его закапали слезы.

Отец понял этот род потрясения, — несоизмеримость величин — Мишука и моря — была очевидна. Морскую прививку Мишук переносил долго: только через неделю он перестал говорить в присутствии моря шепотом. Но тогда море уже стало его другом.

Шхуну «Кудесник» изгрызли морские черви. Она долго плавала у кавказских берегов и стояла в Батуме, где, по свидетельству старинных лоций, множество червей, и поэтому судам с деревянным корпусом застаиваться нельзя.

Изъеденный червями, «Кудесник» снялся из Батума в Херсон. Вблизи Севастополя в трюме

открылась течь. Испуганный шкипер повернул в зеленую лагуну и выбросил судно на мель.

Проходили зимы с их штормами, и «Кудесник» погрузился в воду по палубу. В его трюмах серебряным рисом бродила камса, а на палубе Петро Дымченко сушил сети.

Из истлевших канатов еще не выветрился запах смолы. В трещинах мачт янтарными каплями каменела смола. Ржавчина цепей была цвета киновари — океанская ржавчина: твердый налет соли и ветра.

Отец Мишука переправился на «Кудесник», лег на палубу, открыл книгу и в ту же минуту услышал хриплое ворчанье за рассохшимся кубриком. Он встал и увидел внутри огромной сети-мережки гигантского седого краба, курившего трубку: это Петро Дымченко штопал сеть бамбуковой ниткой. Петро зорко посмотрел на книгу, на седые виски и загорелое лицо незнакомца, сплюнул и закричал:

— Чертов извозчик переехал мережку, будь он проклят, зараза, на мою голову! Теперь чини.

— Чем переехал?

— Арбой! Разогнал коня, а я сидел на набережной и чинил. Порвал все скрозь. Построй с ними социализм, с балбесами!

Из дальнейшего разговора, положившего начало молчаливой дружбе, выяснилось, что Петро — старейший рыбак на лагуне. Вдвоем с другим стариком он основал артель под названием «Вечерняя заря».

Отец Мишука каждый день переезжал на «Кудесник». Его привлекала тишина: голоса с берегов были едва слышны. Петро Дымченко встречал его у побелевшего от солнца планшира и кричал сердито:

— Что ж пацанчика не привезли?

Мишук боялся переезжать на шхуну. Пашка наврал ему, что по палубе «Кудесника» бегают огромные крабы, шипят и хватают пацанов клешнями за пятки.

Петро был бездетный бедняк. Нищету свою и одиночество он носил просто и с достоинством, как суровую одежду. В его представлении почти все лучшие люди были бедняками.

По утрам Петро приходил за Мишуком и брал его в свою шлюпку «Корсар» ставить сети в лагуне. Он нес Мишука на руках, как драгоценность. Мишук колол щеки о его щетину и смущенно улыбался. В лодке Мишук сидел на дне очень тихо, и глаза у него становились вдвое больше. На бесконечные его вопросы «зачем» Петро давал

точные и мудрые ответы.

— Па, — спрашивал Мишук Дымченко, — зачем рыба плавает?

— Тика́ет от сетей, — отвечал односложно Дымченко.

Мать видела из окна, как Мишук шел, болтая с Дымченко, и держался за его синие заплатанные штаны, и ей хотелось смеяться. Дымченко брел походкой, разбитой от многолетних плаваний, и придерживал Мишука за спину.

Расплавленный полдень то погружал их в синюю тень, то обливал красным золотом.

Над лагуной дрались чайки. Греки орали с яликов:

— Петро, откуда у тебя дите? Хорош пацанчик! Будет наследником на «Корсаре», — он уже к морю имеет привычку!

Под водопадом шуток и смеха, в солнце, ветре и запахе сухих садов Дымченко провожал Мишука и сдавал на руки матери.

Мать улыбалась. Так улыбаются люди, чья душа открыта для всех ветров и всех человеческих страданий. Улыбка эта напоминала внезапный блеск. Радость приобретала в ней телесную форму.

Бездетность, не замечаемая раньше, приобре-

ла для Петро характер несчастья. Она мучила. Жизнь мстила за себя: ни жажда покоя и сна, ни усталость от сорокалетней работы — ничто прошлое не было так сильно, как новые мысли о мальчике-внуке. Петро снилось, что он снимает пух с его ресниц, мальчик смеется, и в уголках его глаз дрожат слезинки.

— Эх, малый мой, — бормотал Петро и уже не мог заснуть.

Каждая новая мысль производит в старческом теле глубокое потрясение.

Только старикам знакомы тишина и тяжесть устоявшихся ночей, когда море теряет цвет и спит даже рыба. Не спят только старики, маячные сторожа и вахтенные на пароходах.

В одну такую памятную ночь Петро вышел на окраину рыбачьего городка встречать Мишука.

Мишук ездил с мамой в Севастополь провожать отца и вернулся сонный и теплый. Петро нес его домой. Мишук сладко посапывал у него на плече, а над морем разверзались страшные голубые бездны, — из Турции надвигалась гроза.

Женщина, задумавшись, слушала, как море волновалось перед грозой и глухо взрывалось в подводных пещерах. В комнате, уложив Мишука, она подошла к окну, взглянула в неизмеримую

темноту и сказала:

— Ну, вот мы и одни.

1935

Пегий пес, бегущий краем моря

Владимиру Санги

Чингиз Айтматов

В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи, на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря шла извечная, неукротимая борьба двух стихий — суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу.

Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, отражая удары моря, каменно твердая земля.

И вот так они в противоборстве от сотворения — с тех пор как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени.

Все дни и все ночи…

Еще одна ночь протекала. Ночь накануне выхода в море. Не спал он той ночью. Первый раз в жизни не спал, первый раз в жизни изведал бессонницу. Уж очень хотелось, чтобы день наступил поскорее, чтобы ринуться в море. И

слышал он, лежа на нерпичьей шкуре, как едва уловимо подрагивала под ним земля от ударов моря и как грохотали и маялись волны в заливе. Не спал он, вслушиваясь в ночь…

А ведь когда-то все было по-иному. Теперь такое невозможно даже представить себе, об этом теперь никто знать не знает, не догадывается даже, что, не будь в ту издавнюю пору утки Лувр, мир мог бы устроиться совсем по-другому — суша не противостояла бы воде, а вода не противостояла бы суше. Ведь в самом начале — в изначале начал — земли в природе вовсе не было, ни пылиночки даже. Кругом простиралась вода, только вода. Вода возникла сама из себя, в круговерти своей — в черных безднах, в безмерных пучинах. И катились волны по волнам, растекались волны во все стороны бестороннего тогда света: из ниоткуда в никуда.

А утка Лувр, да-да, та самая, обыкновенная кряква-широконоска, что по сей день проносится в стаях над нашими головами, летала в ту пору над миром одна-одинешенька, и негде ей было снести яйцо. В целом свете не было ничего, кроме воды, даже тростиночки не было, чтобы гнездо смастерить.

С криком летала утка Лувр — боялась, не удер-

жит, боялась, уронит яйцо в пучину бездонную. И куда бы ни отправлялась утка Лувр, куда бы ни долетала она — везде и повсюду плескались под крыльями волны, кругом лежала великая Вода — вода без берегов, без начала, без конца. Извелась утка Лувр, убедилась: в целом свете не было места, где бы устроить гнездо.

И тогда утка Лувр села на воду, надергала перьев из своей груди и свила гнездо. Вот с того-то гнезда плавучего и начала земля образовываться. Мало-помалу разрасталась земля, мало-помалу заселялась земля тварями разными. А человек всех превзошел среди них — приноровился по снегу ходить на лыжах, по воде плавать на лодке. Стал он зверя добывать, стал он рыбу ловить, тем кормился и род умножал свой.

Да только если бы знала утка Лувр, как трудно станет на белом свете с появлением тверди среди сплошного царства воды. Ведь с тех пор, как возникла земля, море не может успокоиться; с тех пор бьются море против суши, суша против моря. А человеку подчас приходится очень туго между ними — между сушей и морем, между морем и сушей. Не любит его море за то, что к земле он больше привязан…

Приближалось утро. Еще одна ночь уходила,

еще один день нарождался. В светлеющем, сероватом сумраке постепенно вырисовывалось, как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей мороси, и на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот прибоя.

Волны упорствовали на своем: волна за волной могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному и жесткому насту намытого песка, вверх через бурые, осклизлые завалы камней, вверх — сколько сил и размаха хватало, и волна за волной угасали, как выдох, на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый запах взболтанных водорослей.

Временами вместе с прибоем выметывались на берег обломки льдин, невесть откуда занесенных весенним движением океана. Шалые льдины, вышвырнутые на песок, сразу превращались в нелепые беспомощные куски смерзшегося моря. Последующие волны быстро возвращались и уносили их обратно, в свою стихию.

Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море.

Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами, но в глубине, в теряющейся дали море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая в той стороне тяжкой зыбью.

Расползались тучи с моря, передвигаясь ближе к береговым сопкам.

В этом месте, близ бухты Пегого пса, возвышалась на пригористом полуострове, наискось выступавшем в море, самая приметная сопка-утес, и вправду напоминавшая издали огромную пегую собаку, бегущую по своим делам краем моря. Поросшая с боков клочковатым кустарниковым разнолесьем и сохранявшая до самого жаркого лета белое пятно снега на голове, как большое свисающее ухо, и еще большое белое пятно в паху — в затененной впадине, сопка Пегий пес всегда далеко виднелась окрест — и с моря, и из лесу.

Отсюда, из бухты Пегого пса, поутру, когда солнце поднялось высотой на два тополя, отчалил в море нивхский каяк. В лодке было трое охотников и с ними мальчик. Двое мужчин, что помоложе и покрепче, гребли в четыре весла. На корме, правя рулем, сидел самый старший из них, степенно посасывая деревянную трубку, — ко-

ричневолицый, худой, кадыкастый старик, очень морщинистый — особенно шея, вся изрезанная глубокими складками, и руки были под стать — крупные, шишковатые в суставах, покрытые рубцами и трещинами. Седой уже. Почти белый. На коричневом лице очень выделялись седые брови. Старик привычно жмурился слезящимися, красноватыми глазами: всю жизнь ведь приходилось смотреть на водную гладь, отражающую солнечные лучи, — и, казалось, вслепую направлял ход лодки по заливу. А на другом конце каяка, примостившись, как кулик, на самом носу, то и дело мельком поглядывая на взрослых, с великим трудом удерживал себя на месте, чтобы поменьше крутиться, дабы не вызывать неудовольствие хмурого старейшины, черноглазый мальчик лет одиннадцати-двенадцати.

Мальчик был взволнован. От возбуждения ноздри его упруго раздувались, и на лице проступали скрытые веснушки. Это у него от матери — у нее тоже, когда она очень радовалась, появлялись на лице такие скрытые веснушки. Мальчику было от чего волноваться. Этот выход в море предназначался ему, его приобщению к охотничьему делу. И потому Кириск крутил головой по сторонам, как кулик, глядел повсюду с неубы-

вающим интересом и нетерпением. Впервые в жизни отправлялся Кириск в открытое море с настоящими охотниками, на настоящую, большую добычу, в большом родовом каяке. Мальчику очень хотелось привстать с места, поторопить гребцов, очень хотелось самому взяться за весла, подналечь изо всех сил, чтобы быстрей доплыть до островов, где предстояла большая охота на морского зверя. Но такие ребяческие желания могли показаться серьезным людям смешными. Опасаясь этого, он всеми силами пытался не выдать себя. Но это не совсем удавалось. Трудно было ему скрыть свое счастье — горячий румянец отчетливо проступал на смуглых крепких щеках. А главное, глаза, сияющие, чистые, одухотворенные глаза мальчишечьи не могли утаить радости и гордости, переполнявших его ликующую душу. Впереди море, впереди большая охота!!!

Старик Орган понимал его. Углядывая прищуром глаз направление по морю, он замечал и настроение мальчишки, ерзающего от нетерпения. Старик теплел глазами — эх, детство, детство, — но улыбку в углах запавшего рта вовремя подавлял усиленным посасыванием полуугасшей трубки. Нельзя было открывать улыбку. Мальчик находился с ними в лодке не

ради забавы. Ему предстояло начать жизнь морского охотника. Начать с тем, чтобы кончить ее когда-нибудь в море, — такова судьба морского добытчика, ибо нет на свете более трудного и опасного дела, нежели охота в море. А привыкать требуется сызмальства. Потому-то прежние люди говаривали: «Ум от неба, сноровка сызмальства». И еще говаривали: «Плохой добытчик — обуза рода». Вот и выходит: чтобы быть кормильцем, мужчина должен с ранних лет постигать свое ремесло. Пришел такой черед и Кириску, пора было натаскивать мальчишку, приучать его к морю.

Об этом все знали, все поселение клана Рыбы-женщины у сопки Пегого пса знало, что сегодняшний выход в плавание предпринимался ради него, Кириска, будущего добытчика и кормильца. Так заведено: каждый, кто рождается мужчиной, обязан побрататься с морем с малолетства, чтобы море знало его и чтобы он уважал море. Потому-то сам старейшина клана старик Орган и двое лучших охотников — отец мальчика Эмрайин и двоюродный брат отца Мылгун — шли в плавание, повинуясь заветному долгу старших перед младшими, в этот раз перед ним, мальчиком Кириском, которому предстояло отныне и навсегда познаться с морем, отныне и

навсегда — и в дни удач и неудач.

Пусть он, Кириск, сейчас мальчишка, пусть еще молоко материнское на губах, и неизвестно, выйдет ли толк из него, но кто возьмется сказать, может статься, когда они сами отойдут от дел, превратясь в немощных старцев, именно он, Кириск, будет кормильцем и опорой рода. Так оно и положено быть, так оно и идет в поколениях, из колена в колено. На том жизнь стоит.

Но об этом никто не скажет вслух. Человек думает об этом про себя, а говорит об этом редко. Оттого-то там, на побережье Пегого пса, никто из людей Рыбы-женщины не придал особого значения этому событию — первому выходу Кириска на добычу. Наоборот, соплеменники постарались даже не заметить, как он уходил в море вместе с большими охотниками. Вроде бы не принимали всерьез эту затею.

Провожала его только мать, и то, не сказав вслух ни слова о предстоящем плавании и не дойдя до бухты, попрощалась. «Ну, иди в лес! — нарочито внятно сказала она сыну, при этом не глядя на море, а глядя в сторону леса: — Смотри, чтобы дрова были сухие, и сам не заблудись в лесу!» Это она говорила для того, чтобы запутать следы, оберечь сына от кинров — от злых духов.

И об отце мать не проронила ни слова. Точно бы Эмрайин был не отец, точно не с отцом Кириск отправлялся в море, а со случайными людьми. Опять же умалчивала потому, чтобы не проведали кинры, что Эмрайин и Кириск — отец с сыном. Ненавидят злые духи отцов и сыновей, когда они вместе на охоте. Погубить могут одного из них, чтобы силу и волю отнять у другого, чтобы с горя поклялся один из них не ходить в море, не вступать в лес. Такие они, коварные кинры, только высматривают, только выжидают случай какой, чтобы вред учинить людям.

Сам-то он, Кириск, не боится злых кинров, не маленький уже. А мать боится, особенно за него страшится. Ты, говорит, еще мал. Сбить тебя с толку, погубить очень просто. И то правда! Ох, эти злые духи, сколько они бед приносят в малолетстве — болезни разные или вред какой нашлют, покалечат дитя, чтобы охотник из него не вышел. А кому тогда нужен такой человек! Поэтому очень важно остерегаться злых духов, особенно в малолетстве, пока не подрос. А когда человек поднимется на ноги, когда станет самим собой, тогда не страшны никакие кинры. Им тогда не совладать, боятся они сильных людей.

Так и попрощались мать с сыном. Мать по-

стояла молча, затаив в том молчании и страх, и мольбу, и надежду, да пошла назад, не оглянувшись ни разу в сторону моря, не обмолвившись ни словом об отце, вроде бы она и в самом деле ведать не ведала, куда отправлялись ее муж с сыном, а ведь сама накануне собирала их в путь, еду готовила с запасом — на три дня плавания, а теперь прикинулась ничего не знающей, так боялась она за сына. Так боялась, что ничем не выдала тревоги своей, чтобы не учуяли злые духи, как страшится она в душе.

Мать ушла, не доходя до бухты, а сын, петляя по кустам, запутывая след, скрываясь от незримых кинров, как и наказывала мать, — не хотелось огорчать ее в такой день, — пустился догонять ушедших далеко вперед мужчин.

Он быстро догнал их. Они шли не спеша, с ношей, с ружьями, со снастями на плечах. Впереди старейшина Орган, за ним, выделяясь своей фигурой и ростом, плечистый, бородатый Эмрайин, а за ним, косолапо ступая, коренастый, сбитый и круглый, как пень, Мылгун. Одежда на них была обношенная, для моря, вся из выделанных шкур и кож, чтобы тепло держала и не намокала. А Кириск по сравнению с ними выглядел нарядным. Мать постаралась, давно готовила она его

морскую одежду. И торбаса, и верхняя одежда порасшиты по краям. На море-то к чему это. Но мать есть мать.

— Ух ты, а мы думали, что ты остался. Думали, увели тебя за ручку домой! — насмешливо подивился Мылгун, когда Кириск поравнялся с ним.

— Это почему? Да никогда в жизни! Да я! — Кириск чуть не задохнулся от обиды.

— Ну, ну, шуток не понимаешь, — урезонил его тот, — ты это брось. На море-то с кем разговаривать, как не друг с другом. На вот, неси-ка лучше! — подал он ему свой винчестер. И мальчик благодарно зашагал рядом.

Предстояли погрузка и отплытие.

Вот таким образом уходили они в море. Но зато возвращение, если выпадет удача, если с добычей вернутся они домой, будет иным. Тогда-то по праву мальчику честь воздадут. Будет праздник встречи юного охотника, будут песни петься о щедрости моря, в необъятных глубинах которого умножаются рыбы и звери, предназначенные сильным и смелым ловцам. Величать будут в песнях Рыбу-женщину, прародительницу, от которой пошел их род на Земле. И тогда загудят бревна-барабаны под ударами кленовых палок, и среди пляшущих шаман — самый многоумный

человек — разговор заведет с Землей и Водой, разговор о нем, Кириске, новом охотнике. Да-да, о нем будет говорить шаман с Землей и Водой, заклинать станет и просить, чтобы всегда добры были к нему Земля и Вода, чтобы вырос он великим добытчиком, чтобы удача всегда сопутствовала ему на Земле и на Воде, чтобы всегда суждено было ему делить добычу среди старых и малых по всей справедливости. И еще заклинать и просить станет он, шаман многомудрый, чтобы дети народились у Кириска и все выжили, чтобы род Великой Рыбы-женщины умножался и потомки к потомкам прибавлялись:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Твое жаркое чрево – зачинает жизнь,

Твое жаркое чрево – нас породило у моря,

Твое жаркое чрево – лучшее место на свете.

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Твои белые груди, как нерпичьи головы,

Твои белые груди вскормили нас у моря.

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Самый сильный мужчина к тебе поплывет,

Чтобы чрево твое расцветало,

Чтобы род твой на земле умножался…

Вот такие песни будут петься на празднике среди плясок и гомона. И на празднике том для Кириска состоится еще одно важное действо. Судьбу его охотничью неистово пляшущий шаман поручит одной из звезд в небе. Ведь у каждого охотника есть своя звезда-охранительница. А какой звезде будет поручена его, Кириска, судьба, об этом никто никогда не узнает. Только сам шаман и та звезда, незримая охранительница, будут знать.

Ну, конечно, мать и сестренка возрадуются больше всех, будут петь громче всех и выплясывать. И отец, Эмрайин, во всеуслышание назовется отцом и тоже будет рад и горд. А покуда он не отец. В море нет отцов и сыновей, в море все равны и подчиняются старшему. Как скажет старший, так тому и быть. Отец не станет вмешиваться. Сын не станет жаловаться отцу. Так положено.

И еще, пожалуй, Музлук, девчонка, с которой они играли в детстве, обрадуется очень. Теперь они стали меньше играть. А отныне и вовсе: охотнику не до игр…

Лодка шла справно, слегка приныривая по волнам. Уже давно осталась позади бухта Пегого пса, минули мыс Длинный и, выйдя из залива в море, обнаружили, что на море волна не сильнее, чем в заливе. Волны всплескивались на одинаковую высоту с одинаковым промежутком времени. По таким устойчивым волнам можно плыть ходко.

Хорошо, сноровисто шла лодка, долбленная из ствола могучего тополя. Надежно держалась она и на прямой, и на боковой волне, легко повинуясь рулю.

Посасывая все ту же уже угасшую трубку, старик Орган испытывал удовольствие от прочного хода лодки и в душе чувствовал себя так, точно бы он сам был лодкой, идущей по студеному морю вполборта осадки на воде; будто то сам он плыл по раздолью морскому, под ровный скрип уключин и мерные взмахи весел; будто то он сам двигался, прорезая килем, как собственной грудью, упругость встречных волн, слегка покачиваясь от ударов и толчков воды. Это ощущение полной слитности с движением лодки вызывало

в нем странное раздумье. Доволен он был лодкой, очень даже, ведь сам стругал и долбил; тополь свалили сообща, одному, да и четверым, такое не под силу, а работал сам — три лета сушил и рубил и уже тогда знал: выйдет лучший каяк из всех сработанных им на своем веку. Но, думая об этом, огорчался невольно: а что, если это последний в его жизни? Еще бы пожить. Еще походить бы за добычей по морю, еще пару каяков состругать бы, пока зрение есть, пока чутье не утратил.

И, думая так, он разговаривал мысленно с лодкой. «Я люблю тебя и верю тебе, брат мой каяк, — говорил он лодке. — Ты знаешь язык моря, ты знаешь повадки волн, в том твоя сила. Ты достойный каяк, лучший среди всех, состругганных мною. Ты большой каяк — два лахтака и еще нерпа вмещаются в тебя. Ты приносишь удачу нам. Поэтому я уважаю тебя. Мы все тебя любим, когда тебе тяжко от добычи нашей, когда возвращаешься ты к берегу, проседая до краев и даже зачерпывая воду. Вот тогда все выбегают к берегу встречать тебя, брат мой каяк!

Если я умру, ходи долго, ходи далеко по богатым добычей местам. Если я умру, плавай по морю с молодыми и сильными охотниками. Если я умру, служи им, как служишь мне. И дождись, брат мой

каяк, чтобы и этот отпрыск наш, что вон сидит на носу, головой крутит, едва терпит, — была бы не вода, а твердь, побежал бы он сейчас на большую охоту, сам один управляться с делами, так ему кажется, — дождись, брат мой каяк, чтобы и этот подрос, чтобы и он плавал с тобой далеко и близко. А сегодня он с нами впервые в море. Так надо. Пусть привыкает. Мы уйдем, а ему еще оставаться долгие годы. Удастся в отца, в Эмрайина, значит, будет толковый человек. Не пустобрех какой-нибудь. Эмрайин, пожалуй, лучший охотник среди нынешних. Крепкий парень, дельный. Когда-то и я был таким. В самой силе. Женщины меня любили тогда. А я-то думал — век нескончаем. Только поздно узнаешь, что это не так. А молодые знать не хотят. Вот Эмрайин и Мылгун наверняка еще не думают. Ну да ладно. Узнают еще. А гребут они хорошо, ухватисто. Мылгун под стать Эмрайину. Надежная, выносливая пара. Лодка вроде сама по себе играючи плывет. Но это так кажется. По морю ведь на руках ходишь. А впереди — грести и грести! Сегодня, почитай, до самой темноты плыть, пока доберешься до Третьего сосца. И завтра весь день в обратный путь. С утра и весь день. Подменять буду то одного, то другого, однако тяжелое это дело — переболтать веслами целое

море. А вернемся с добычей, праздник устроим.

Ты слышишь, ты понимаешь меня, брат мой каяк? Ты доставишь нас на острова, к Трем сосцам, к месту большой охоты. Для того и плывем. Там, на лежбищах, на берегу, встретим нерпу. Скоро окот, нерпа в стада собирается на островах.

Ты меня понимаешь, брат мой каяк? Ты-то меня понимаешь. Я с тобой начал говорить, когда ты еще не знал моря, когда ты еще жил в чреве великого тополя в лесу. Я освободил тебя из чрева дерева, и теперь мы плывем.

А когда не станет меня, не забывай обо мне, брат мой каяк. Помни, когда будешь плавать по морю…»

Так думал Орган, держа курс от главного ориентира на побережье, от сопки Пегого пса, по прямой в море. Эта сопка-утес имела необычайное свойство, о чем говорили все ходившие в плавание, — в ясную погоду сопка как бы вырастала по мере удаления от нее. Точно бы Пегий пес сам увязывался следом, не желая отстать. Как ни оглянешься, Пегий пес все на виду. Очень долго видна эта сопка на удалении, а потом вдруг за какой-то крутизной воды сразу исчезает с глаз. Значит, ушел Пегий пес домой, значит, земля осталась далеко позади…

И тогда надо запомнить, хорошо запомнить, где, в какой стороне остался Пегий пес, надо запомнить направление ветра, стояние солнца по отношению к сопке, облака приметить, если в тихую погоду, и следовать в море, все время, до самых островов, держа в уме месторасположение Пегого пса, чтобы не сбиться с пути в морском пространстве.

Они направлялись к островам, находящимся на расстоянии почти дневного перехода. То были необитаемые, крохотные скальные островки — три клочка суши, выступавшие темными сосцами среди водного безбрежья. Поэтому островки прозывались Три сосца — Малый, Средний, Большой. А за ними, если плыть еще дальше, путь лежал в океан, меры которому не было, имя которого они не знали, — Великая, нехоженая, неведомая Вода вечности, возникающая сама из себя, пребывающая от Сотворения мира, еще с тех времен, когда утка Лувр с криком носилась в поисках маленького местечка для гнезда — кусочка тверди величиной с ладонь — и не находила его в целом свете. Вот там, на тех островах, на границе моря и океана, в эти весенние дни располагались нерпичьи лежбища. За тем и шли, за тем и путь держали в ту сторону…

Мальчик поражался, что море оказалось совсем иным, не таким, каким представлялось оно ему в его играх на кручах Пегого пса, и даже не таким, каким оно было при лодочных катаниях по лагуне. Особенно остро он ощутил это, когда они вышли из залива, когда море вдруг расступилось, заполняя собой все видимое пространство до самого неба, превратившись в безраздельную, неоглядную, единственную сущность мира.

Открытое море ошеломило Кириска. Такого зрелища он не ожидал. Только вода — зыбучая, тяжелая вода, только волны — скоротечно возникающие и немедленно умирающие, только глубина — темная, тревожная глубина, и только небо в кочующих белых облаках, легковесных и недоступных. И то был весь сущий мир — и ничего больше, ничего иного, кроме этого, кроме самого моря, — ни зимы, ни лета, ни бугра, ни оврага.

Вода застилала свет из края в край.

А лодка плыла, все так же приныривая по волнам. Все так же занятно и радостно было мальчику находиться в лодке в ожидании большой охоты. Но, однако, все, что он видел и замечал вокруг — в воде и над водой, — в этот раз он воспринимал мимолетно, по-праздничному

вполвнимания, поскольку душа его торопилась, всецело занятая ожиданием иных впечатлений. В другое время его привлекла бы и нескончаемая игра лучей на воде, причудливо скользящих по поверхности, преображая лик моря переливами оттенков от нежно-фиолетового и темно-зеленого до густой тьмы в тени за бортом; и очень обрадовался бы он тем странным, любопытным рыбам, нечаянно оказавшимся возле лодки, и посмеялся бы над горбушами, что столкнулись с ними плотным косяком и вместо того, чтобы разбежаться, с перепугу стеснились еще плотней и стали выпрыгивать из воды и смешно падать на спины, зависая в воздухе.

Всего этого он не удостоил особого внимания — пустяки какие-то. Он жаждал лишь одного — скорей бы добраться до островов! Скорей бы за дело!

Но вскоре настроение мальчика как-то странно, само по себе изменилось, хотя он и не подавал виду. По мере того как удалялись они от земли, особенно после того, как Пегий пес вдруг скрылся с глаз за взгорбившейся чернотой воды, он стал улавливать некую смутную опасность, исходящую от моря, и почувствовал всю свою зависимость от моря — свою бесконечную ма-

лость и бесконечную беззащитность пред лицом великой стихии.

Для него это было ново. И тут он понял, как дорог ему Пегий пес, о котором он прежде никогда не вспоминал, беззаботно и безбоязно резвясь на его склонах, любуясь с высоты сопки ничем не угрожающим морем. Теперь он понял, какой могучий и добрый был Пегий пес, несокрушимый и всесильный на своем месте.

Теперь он понял разницу между сушей и морем. На земле не думаешь о земле. А находясь в море, неотступно думаешь о море, даже если мысли твои о другом. Это открытие настораживало мальчика. В том, что море заставляло постоянно думать о себе, таилось нечто неведомое, настойчивое, властное…

А взрослые, однако, были спокойны. Эмрайин и Мылгун все так же гребли, взмах за взмахом, как один человек, в ровном, слаженном темпе: четыре весла разом соприкасались с водой, легко и свободно сообщая лодке постоянный ход. Но это стоило гребцам непрерывного напряжения. Кириск не видел их лиц. Гребцы сидели к нему спиной, но он видел, как бугрились и расправлялись их заплечья. Они лишь изредка обменивались словом. Отец, правда, иногда

успевал оглянуться, успевал улыбнуться сквозь бороду сыну: «Ну, как, мол?..»

Так они и плыли. Взрослые были спокойны и уверены в себе. Старик Орган, тот и вовсе был невозмутим. Все так же посасывая трубку, правил лодкой на своем месте. Так они и плыли, каждый занятый своим делом. Правда, раза два Кириск брался грести — то в паре с Мылгуном, то в паре с отцом. Гребцы ему охотно уступали одно из весел. Пусть, мол, поработает. И хотя он ворочал весло обеими руками, надолго его не хватало: слишком тяжела была для него лодка, да и весло великовато. Но никто его в том не упрекал и не жалел, всё больше работали молча.

А когда Пегий пес вдруг скрылся из виду, все разом оживились почему-то.

— Пегий пес ушел домой! — объявил отец.

— Да, ушел! — подтвердил Мылгун.

— Разве? Ушел, стало быть. — Глянул в ту сторону и старик Орган. — Ну, коли так, значит, дело идет. Эй, Кириск, — лукаво обратился он к мальчику, — а не покликать ли тебе Пегого пса, может, вернется?

Все засмеялись, и Кириск засмеялся. Потом он подумал и громко сказал:

— Тогда надо поворачивать назад — вот он и

вернется!

— Ишь ты какой скорый! — воскликнул Орган, усмехаясь. — Давай-ка лучше займемся делом. Перелезай ко мне. Хватит глазеть. Море не пересмотришь.

Кириск покинул свое место на носу, стал перебираться к корме, переступая вещи на дне лодки: пару винчестеров, завернутых в оленьи кожи, гарпун, моток веревки, бочонок с водой, мешок с провизией и еще какие-то узлы и одежды. Протискиваясь по борту мимо гребцов, переступая через весла, мальчик ощутил запах крепкого мужского пота и табака, исходящий от взмокших затылков и спин. Тот самый запах отцовской одежды, который мать любит вдыхать, когда отец в море, — возьмет его старый кожух и прижмется лицом.

Отец кивнул сыну, прибоднул его слегка плечом в бок, но весел не выпустил из рук. Кириск, однако, не задержался на невольную отцовскую ласку. Ишь чего! В море все равны. В море нет ни отцов, ни сыновей. В море есть только старший. И без его ведома пальцем не пошевельни…

— Садись, прилаживайся возле, — указал ему место Орган, притрагиваясь к плечу длинной, узловатой рукой. — Ты никак сробел малость, а?

Сначала вроде ничего, а потом…

Кириск смутился: значит, старик Орган догадался. Но все же протестующе возразил:

— Да нет, аткычх [31], вовсе не сробел! Чего мне бояться?

— Ну как же, первый раз в море.

— Ну и что — первый раз?! — не сдавался Кириск. — Да я ничего не боюсь.

— Ну, дело. А вот я, когда первый раз поплыл, а это было очень давно, честно признаюсь, перепугался. Смотрю: берега давно не видно и Пегий пес убежал куда-то. А кругом только волны. Домой захотелось. Да вон спроси у них — у Эмрайина и Мылгуна, каково им было?

Те в ответ понимающе заулыбались, закивали головами, налегая на весла.

— А я нет! — стоял на своем Кириск.

— Значит, молодец, коли так! — успокоил его старик. — А теперь скажи мне, в какой стороне остался Пегий пес?

Кириск призадумался от неожиданности и потом указал рукой:

— Вон там!

— Ты уверен? Что-то рука у тебя дрожит.

---

[31] Примечания: 31
Аткычх — дед, дедушка.

Унимая дрожь в руке, мальчик указал чуть-чуть, лишь слегка правее:

— Вон там!

— Вот теперь точно! — согласился Орган. — А если каяк повернется носом в эту сторону, тогда где будет Пегий пес?

— Вон там!

— А если ветер развернет нас в ту сторону?

— Вон там!

— А если налево поплывем?

— Вон там!

— Хорошо, а теперь скажи мне, как ты определяешь, — ведь вокруг глазам ничего не видно, кругом вода? — допытывался Орган. — Можешь объяснить?

— А у меня еще есть глаза, — ответил Кириск.

— Какие глаза?

— Не знаю какие. Они у меня в животе, наверно, и они видят не видя.

— В животе! — Все рассмеялись.

— И то верно, — отозвался Орган. — Есть такие глаза. Только они не в животе, а в голове.

— А у меня в животе, — отстаивал свое Кириск, хотя соглашался уже, что такое зрение может быть лишь в голове.

Спустя некоторое время старик снова при-

нялся испытывать Кириска и, убедившись в его способности запоминать стороны моря, остался доволен.

— Ну-ну, неплохие у тебя глаза в животе, — пробормотал он.

Польщенный похвалой, Кириск принялся сам задавать себе задачи и находить ответы. Пока что, при относительно спокойном море, это не представляло больших трудностей. Верный и великий Пегий пес всякий раз безотказно отзывался — без особых усилий памяти возникал перед внутренним взором Кириска именно там, в той стороне, где он оставался, возникал как бы воочию, всей своей громадой, с лохматыми лесами по кручам, с пятнами снега на «голове» и в «паху», с гремящим, неутомимым, вечным прибоем у подножия утеса. Представив себе Пегого пса, мальчик не мог не думать о других окружающих сопках и невольно начинал думать о доме. Виделась ему небольшая долина среди прибрежных сопок, а в той долине у опушки леса, на берегу речки, стойбище — срубы, лабазы, собаки, куры, вешала для сушки рыбы, дымы, голоса, и там мать и сестренка Псулк. Он живо представил их себе и то, что они сейчас делают, чем занимаются. Мать втайне думает, конечно,

о нем, и об отце, и обо всех них — охотниках в море. Да, вот сейчас она наверняка думает о них. Думает, а сама очень боится, чтобы злые духи не отгадали ее мысли, не проведали ее страха. И еще кто думает о нем, так это, наверно, Музлук. Музлук, пожалуй, прибегала уже вроде бы поиграть с Псулк. А ведь мать может отругать ее, если та ненароком скажет вслух или спросит что-нибудь о нем, ушедшем в море. Мать непременно отчитает ее: «Ты о чем это болтаешь: разве ты не знаешь, что он ушел в лес за дровами». Девочка спохватится, замолчит, пристыженная. Кириску при этом даже жаль стало ее. Он хотел, чтобы Музлук думала о нем, но ему очень не хотелось, чтобы ее укоряли из-за него.

А лодка все так же плыла, слегка принырывая по волнам. И кругом блистало в мелком кипении волн все то же сплошь бурунистое море. Нивхи рассчитывали пополудни, самое позднее к концу дня добраться до первого островка (то был близлежащий из Трех сосцов — Малый сосец) и при удаче начать там охоту. Затем им предстояло засветло доплыть до второго — Среднего сосца и там заночевать, благо у берега есть удобная затишь для лодки. А рано утром снова в море. Если с вечера повезет, если добудут сразу три туши

нерпы, утром могут не мешкая лечь в обратный путь. Но как бы то ни было, возвращаться предстояло в первой половине дня, не позднее высоты солнца в два тополя. Известно ведь, чем раньше покинешь море, тем лучше.

Все это было предусмотрено стариком Органом, на все он имел свой расчет. Да и подручные его — Эмрайин и Мылгун — не первый раз шли к Трем сосцам. Сами отлично знают, что к чему. Главное же — чтобы погода стояла и чтобы зверя вовремя обнаружить на лежбище. Это главное, а все остальное — как сумеешь справиться, тут уж каждый за себя в ответе.

Старик Орган ходил в плавание не только в силу необходимости, нужда нуждой, ясное дело — без прокорма с моря не проживешь, но еще и потому, что море влекло его. Морские дали располагали старика к его заветным раздумьям. Были у него сокровенные мысли свои. В море ничто не мешало предаваться им, ибо всему тому, о чем поразмыслить некогда на суше, среди повседневных забот, в море наступал черед — здесь ничто не отвлекало Органа от его великих дум. Здесь он чувствовал себя сродни и Морю и Небу.

Он понимал, что перед лицом бесконечности простора человек в лодке ничто. Но человек

мыслит и тем восходит к величию Моря и Неба, и тем утверждает себя перед вечными стихиями, и тем он соизмерен глубине и высоте миров. И потому, пока человек жив, духом он могуч, как море, и бесконечен, как небо, ибо нет предела его мысли. А когда он умрет, кто-то другой будет мыслить дальше, от него и дальше, а следующий еще дальше, и так без конца… Сознание этого доставляло старику горькую усладу непримиримого примирения.

Он понимал, что смерть неизбежна, что не так уж далек предел его жизни, понимал, что смерть всему конец, но при этом надеялся почему-то, что самое сокровенное и заветное в нем — его великие сны о Рыбе-женщине пребудут, останутся с ним и после смерти. Он не мог передать свои сны другому — сновидения непередаваемы, и потому, считал он, они не должны исчезнуть бесследно… Не должны. Великая Рыба-женщина бессмертна, стало быть, и сны о ней должны быть бессмертными.

Об этом он много и часто думал в плавании. Надолго умолкал, уходил в себя, не вступая ни в какие разговоры с попутчиками. Глядя на море, обращаясь неизвестно к кому, он просил лишь об одном: оставить ему его сны о Великой Рыбе-

женщине. Разве невозможно, чтобы сны уходили вместе с человеком в иной мир, чтобы они снились вечно, во веки веков? Не находя ответа, он мучительно размышлял, пытаясь убедить себя, что так оно и будет, что сны останутся при нем…

Когда-то очень и очень давно, в незапамятные времена, на побережье близ сопки Пегого пса жили три брата. Старший был скороход, легок на подъем, везде и повсюду поспевал: женился он на дочери оленного человека, стал хозяином оленьих стад, откочевал в тундру, с тем и ушел. Младший был следопыт и меткий стрелок. Он тоже женился, взял себе девушку из лесных людей, ушел в тайгу, стал охотником в таежных местах. А средний брат был хромоногий от рождения, не повезло человеку, рано вставал, поздно ложился, да что толку — за оленями ему не угнаться, зверя в лесу не выследить. Никто в округе не отдал ему дочери своей в жены, братья покинули его, и остался он один у самого синего моря. Перебивался тем, что рыбу удил. Известное дело — сколько ее наудишь…

Однажды сидел он, горемычный брат хромоногий, в лодке своей, закинув леску в море, только вдруг почувствовал, как удилище сильно задрожало в руках. Обрадовался — вот будет улов!

Начал он выводить рыбину, все ближе и ближе к лодке подтягивать.

Смотрит — что за диво! А то рыба в образе женщины! По воде колотит, извивается, уйти хочет. А красоты невиданной — тело гладкое, серебром отливает, как речной галечник в лунную ночь, груди белые с темными сосцами торчком, точно бы то еловые шишечки, а глаза зеленые огнем искрятся. Поднял он Рыбу-женщину из воды, подхватил под руки, тут она обняла его, и легли они в лодку. От счастья такого голова хромоногого брата кругом пошла. Сам не помнит, что с ним было, и казалось ему — до небес вскидывалась лодка. Раскачалось море до неба, небеса раскачались до моря. А потом все утихло разом, как после бури. Тут Рыба-женщина выпрыгнула из лодки и уплыла. Кинулся хромоногий брат, стал ее звать и умолять вернуться, но она не откликалась, исчезла в морской глубине.

Вот такой случай приключился с хромоногим средним братом, одиноким и покинутым всеми на краю моря. Уплыла Рыба-женщина и больше никогда не появлялась. А хромоногий брат с того дня затосковал, закручинился крепко. С того дня все дни и все ночи ходил он с плачем по берегу и все звал Рыбу-женщину, заклинал и просил ее

хотя бы издали показаться.

По приливу шел и пел:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

По отливу шел и пел:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Лунной ночью шел и пел:

Это море – тоска моя,

Эти воды – слезы мои.

А земля – голова моя одинокая!

Темной ночью шел и пел:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..

По приливу шел и пел, по отливу шел и пел…

А тем временем зима миновала, следом весна миновала, и однажды в летнюю пору шкандылял по берегу горемычный брат хромоногий, по волнам прибоя по колено брел и все в море смотрел — не покажется ли вдруг Рыба-женщина, и все

звал ее — не откликнется ли вдруг Рыба-женщина, только вдруг услышал он на отмели вроде бы детский плач. Вроде бы дитя малое плачет-надрывается. Побежал он туда и глазам не верит своим — младенец голышом сидит на отмели у самой воды, волна то накроет его, то уйдет, а он плачет да все приговаривает громко: «Кто мой отец? Где мой отец?» Еще больше диву дался хромоногий брат, и не знал он, бедняга, как тут быть. А младенец увидел его и говорит: «Это ты мой отец! Возьми меня к себе, я твой сын!»

Вот ведь какая история вышла! Взял человек сына своего, унес его к себе.

Быстро подрос мальчик. По морю стал ходить. Отважным и крепким добытчиком прослыл. Удачливым родился: сеть забросит — рыбы полно, стрелу выпустит — зверя морского насквозь прошьет. Слава пошла о нем далеко, за леса и горы. Тут и девушку со всем уважением выдали за него из лесного племени. Дети народились, и отсюда пошел умножаться род людей Рыбы-женщины.

И отсюда песня поется на праздниках:

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Твое жаркое чрево – зачинает жизнь,

Твое жаркое чрево – нас породило у моря,

Твое жаркое чрево – лучшее место на свете.

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..

Твои белые груди, как нерпичьи головы,

Твои белые груди вскормили нас у моря.

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?..

Самый сильный мужчина к тебе поплывет,

Чтобы чрево твое расцветало,

Чтобы род твой на земле умножался…

Этот сон наплывал исподволь, как неумолимо прибывающий прилив из глубин океана, погружающий на какое-то время прибрежные земли, травы, дюны в околдованную призрачность подводного сумрака.

Всякий раз этот сон оставлял ошеломляющее, долго не проходящее ощущение у Органа. Он верил в него настолько, что никому, ни одной душе на свете не рассказывал о своих свиданиях

с Рыбой-женщиной, как не стал бы рассказывать кому бы то ни было о подобных случаях в обычной жизни.

Да, то был сон-спутник, часто навещавший старика, доставляя ему и отраду, и печаль, и неземные страдания духа. Удивительное свойство этого сновидения состояло в том, что каждый раз оно поражало Органа нескончаемостью сути своей и многозначностью намеков, заключенных в невероятных превращениях и причудах сна. Размышляя об этом, пытаясь разгадать тайная тайных — ту вечно неуловимую, непрестанно изменяющуюся связь сновидений с живой жизнью, которая вечно мучает человека своей загадочностью и неведомыми предзнаменованиями, Орган ловил себя на мысли, что при всем смятении духа он всегда жаждет возвращения этих снов, с неизбывной тоскою всегда жаждет свидания с ней, с Великой Рыбой-женщиной…

Он встречался с ней в море. Ожидая ее появления, выходил к берегу и в ожидании шел по пустынным прибрежным пескам, на которых не задерживались следы ног, но сохранялись черные, неподвижные тени от угасших лучей ушедшего солнца. Эти тени лежали подобно черному снегу, по которому он шел, страдая, объ-

ятый пронзительной, нечеловеческой тоской. Боль любви, боль желаний и надежды переполняла его, а море оставалось пустынным и безучастным. Ни ветра, ни звуков, ни шороха не присутствовало в том напряженном безмолвном мире одиночества. А он ждал, неотрывно глядя на море, ждал чуда, ждал ее появления.

И тяжко становилось ему оттого, что бесшумные волны нагоняли вдоль его пути белую кипень бесшумного прибоя. Как огромные, мятущиеся хлопья снега, беззвучно витали над головой безголосые чайки. В этом оглохшем и онемевшем пространстве он не находил себе места, чувствуя, как ему делалось дурно, как по мере ожидания все больше, все острей и мучительней нарастала в нем неуемная, неумолимая тоска по ней, и даже во сне он понимал, что ему будет плохо, что он погибнет в пустоте одиночества, если не увидит ее, если она не появится. И тогда он принимался кричать, звать ее. Но голоса своего не различал, ибо голос отсутствовал, как отсутствовали все звуки в этом странном сне. А море молчало. Лишь собственное тяжкое дыхание, невероятно громкое и прерывистое, и неумолчный бой собственного сердца, бешено отдающийся в висках, преследовали его. Они раздражали его. Он не знал, куда

деваться, как избавиться от самого себя. Он ждал Рыбу-женщину так страстно и безумно, как ждет утопающий последней надежды на спасение. Он знал, что только она, Рыба-женщина, может дать ему счастье, знал и ждал из последних сил.

И когда наконец она стремительно выныривала на поверхность, когда она плыла к нему со взором, обращенным к нему, мелькая неясным ликом между волнами, немота мира сокрушалась, как обвал. Крича и ликуя, встречал он возвращение звуков: вновь пробудившийся рев прибоя, шум ветра и гомон чаек над головой. Крича и ликуя, он бросался к ней в море и плыл к ней, превратившись в быстроплавающее, как кит, существо.

А она, Рыба-женщина, ждала его, ходила бурными кругами, взмывая на миг над водой, и, вся трепеща, зависала в длинных бросках, ясно вырисовываясь в те мгновения живой телесной плотью, как самая обыкновенная женщина с хорошими бедрами, очутившаяся вдруг в море.

Он подплывал к ней, и они уходили в океан.

Плыли рядом, бок о бок, легко соприкасаясь в стремительном, все убыстряющемся движении. Это и было то, ради чего он томился в муках тоски и немоты одиночества.

Теперь они были вместе. С непостижимой силой и скоростью мчались они в мерцающую даль ночного океана, излучающего необыкновенное, из глубины идущее сияние на зыбкой черте горизонта, они неслись туда, к неуловимому горизонту, прошивая телами вспененные гребни беспрестанно бегущих навстречу волн, они мчались по нескончаемым перекатам, то возносясь вверх, то скользя вниз, захваченные восторгом ликующего полета — то вверх, то вниз, с гряды на гряду, от переката к перекату. А рядом с ними, сопровождая их, неотступно следовала скачущим зеркальным пятном вытянувшаяся в беге, поспешающая по волнам желтая луна. Только луна и только они — он и Рыба-женщина, только они царили в этом безбрежном океанском просторе, только они и океан! То была вершина их счастья, то было упоение свободой, то было торжеством их свидания…

Они мчались беспрерывно и мощно, во власти неодолимого желания поскорее достигнуть некоего места на свете, предназначенного им, где они, одержимые страстью, соединятся наконец, чтобы познать в одно молниеносное мгновение всю усладу и всю горечь начала и конца жизни…

Так они и плыли, стремглав, безудержно, в

надежде скорого достижения желанной цели.

И чем быстрее они плыли, тем отчаяннее разгоралось в нем яростное нетерпение плоти. Он плыл без устали, рвался вперед изо всех сил, как лосось, несущий к месту нереста всю свою жизненную энергию до единой, до наипоследней, наиисчерпывающей капли. Он плыл, готовый умереть от любви. А загадочная Рыба-женщина, увлекая его все дальше и дальше в глубь океана, продолжала лететь по волнам в туче брызг и сверкающей радуге, восхищая Органа жемчужной теплотой, стремительностью и гибкостью тела. Дыхание занималось от совершенства красоты ее, омываемой синевой и белизной завихряющихся струй.

Они ни о чем не говорили, они лишь неотрывно смотрели друг на друга, пытаясь вглядеться в потоках воды и брызгах в смутные очертания лиц, и безостановочно мчались по океану в нетерпеливом, все возрастающем ожидании места и часа, предназначенных им судьбой…

Но они никогда не достигали того места, и тот час никогда не наступал…

В большинстве случаев сны его кончались ничем — внезапно все обрывалось, исчезало, как дым. И тогда он оставался в недоумении. По-

настоящему огорчался и долго потом тосковал, испытывал чувство некой неудовлетворенности, незавершенности. Иной раз, спустя много времени, припоминал все с самого начала, задумывался всерьез — что бы все это значило и к чему это, ибо в душе он верил, что то, что ему снилось, было больше, чем сон. Ведь обычный сон если и вспомнишь, то вскоре забудешь навсегда. От такого зряшного дела голова не болела бы, мало ли чего приснится. А Рыбу-женщину Орган никогда не забывал, думал, размышлял о ней, как о чем-то таком, что действительно имело и имеет место в жизни. Поэтому, пожалуй, старик каждый раз искренне переживал, воспринимая свою встречу и неожиданную разлуку с Рыбой-женщиной во сне как подлинное событие.

Но, бывало, сильнее всего терзался он духом, когда сон завершался тяжким финалом. В таких случаях сокрушался он с великим отчаянием и прискорбием, не находя объяснения загадочному исходу сна.

Снилось ему, что вот-вот доплывут они до заветного места, что вот уже виден вдали какой-то берег. То был берег любви — к нему направлялись, поспешали они что есть мочи, охваченные неистовым желанием поскорее достигнуть этого

берега, где они смогут отдаться друг другу. Вот уже близко совсем до берега, и вдруг с ходу врезались в песчаное дно мелководья, где воды ниже колена и где плаванию конец. Орган спохватывался, оглядывался: Рыба-женщина бешено колотилась в мелкой воде, тщетно пытаясь вырваться из плена коварной отмели. Обливаясь холодным потом, Орган бросался к ней на помощь. Но проходила целая вечность, пока он, увязая в засасывающей, как болото, трясине дна, полз на коленях, волоча непослушные, обмякшие, чужие ноги. Рыба-женщина была совсем рядом, рукой дотянуться оставалось самую малость, но добираться до нее было мучительно, он задыхался, захлебывался, проваливаясь в илистом дне, запутывался в липнувших водорослях. Но еще более мучительно было видеть, как трепыхалась, билась застрявшая на мели его прекрасная Рыба-женщина. И когда наконец он добирался и, шатаясь от головокружения, шел к берегу, прижимая ее к груди, он явственно слышал, как панически стучало готовое разорваться на части сердце Рыбы-женщины, точно то была схваченная в погоне птица-подранок. И от этого, оттого, что он нес ее на руках, крепко прижимая к себе, оттого, что до боли, всем существом своим проникался

нежностью и жалостью к ней, как если бы он нес на руках беззащитное дитя, к горлу подкатывал тугой, горячий ком слез. Растроганный, стыдясь Рыбы-женщины, он сдерживал себя, чтобы не заплакать. Он нес ее, замирая сердцем, плавно передвигаясь, замирая и зависая на лету в воздухе, думая о ней на каждом шагу. А она, Рыба-женщина, умоляла его, в слезах заклинала, чтобы он отнес ее обратно в море, на волю. Она задыхалась, она умирала, она не могла любить его вне большого моря. Она плакала и молча смотрела на него такими просящими, пронзительными глазами, что он не выдерживал. Поворачивал назад, шел через отмель к морю, погружаясь все глубже и глубже в воду, и здесь осторожно выпускал ее из своих объятий.

Рыба-женщина уплывала в море, а он оставался, оглушенный и одинокий. Глядя ей вслед, Орган просыпался в рыданиях…

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Это море – тоска моя,

Эти воды – слезы мои.

А земля – голова моя одинокая.

Где ты плаваешь, Великая Рыба-жен-

щина?..

Тяжко и невыносимо было ему вспоминать об этом, будто бы и в самом деле держал он Рыбу-женщину в руках и сам же отпустил ее на волю. Отчего так случалось? Разве невозможно, чтобы во сне сбывались любые желания человека? От кого зависит это? Кто стоит и что стоит за этим, в чем смысл, какой тут сказ и к чему он? Теряясь в догадках, отмахивался Орган от таких мыслей, пытался забыть, не думать о Рыбе-женщине.

Но, очутившись на промысле, сам не замечал, как начинал думать о ней и обо всем, что было с этим связано. В море он как бы заново переживал всю историю необыкновенного сновидения и, размышляя трезво, удивлялся, спрашивал себя: зачем он думает об этом, разве его стариковское дело тосковать о несуществующей Рыбе-женщине? Укорял себя и себе же признавался: не будь ее, сам бы себе был уже в тягость — вот постарел уже, и силы не те, и глаза не те, и краса ушла, и зубов не хватает. Все, чем славен был, все уходит, разрушается, и смерть не за горами, и лишь грудь не сдается, желания в груди живут по-прежнему, как в молодости, беда — не стареет душа. Потому-то и думы думаются такие, и сны видятся такие, — потому как только во сне и в мыслях

человек для себя бессмертен и свободен. Мечтой восходит в небо он и опускается в глубины морей. Тем и велик он, что до самого смертного часа думает обо всем, что есть в жизни. Но смерть не считается с этим, дела ей нет, что жил человек, какого величия в мыслях достиг и какие сны он видел, каким он был, насколько и на что ума у него хватало, — все ей нипочем. Почему так? Зачем так устроено на свете? Пусть Рыба-женщина — сон, но пусть оставался бы этот сон навечно и там, в ином мире…

Так же, как он верил в Рыбу-женщину, верил Орган и в то, что море внемлет ему. Здесь ему и дышалось и думалось вольготно. Тут изливал он душу свою. Погруженный в свои мысли, порой он даже спрашивал себя: «А не здесь ли мы проплывали с ней?»

В такие минуты заново набивал трубку. Упивался табачным дымом: «И где она растет, трава эдакая — вроде злая, а на душе легчает… В Маньчжурии, говорят купцы. Оттуда они ее привозят. Далеко она, эта Маньчжурия, ох, далеко, никогда никто из наших людей там не бывал… Неужто табак растет там, как трава в лесу? Вот чудеса, чего только не бывает на свете…»

Солнце уже перевалило за полдень. Несколько

раз за это время оно скрывалось за облаками, набегавшими вдруг откуда-то из-за горизонта, точно бы там таилось гнездовье непогоды, — и тогда море моментально меркло, темнело ликом, сумрачно, неуютно становилось вокруг. То вновь выглядывало, светило из-за туч по-весеннему щедро и ясно, и тогда море играло мириадами живых, купающихся отблесков, сверкавших до боли в глазах, и опять становилось веселей на душе.

Кириск хотя и привык к морю и даже заскучал немного, но все еще не покидало его чувство удивления огромностью, неоглядностью морского простора. Сколько плывут — все конца-краю не видно. На земле, какая бы она ни была обширная, он никогда не удивлялся бы этому, как в море.

А взрослые ничуть ничему не удивлялись. Им было все привычно. Эмрайин и Мылгун продолжали грести все так же ровно, без замашистости зацепляя веслами верх воды. Они работали неутомимо, не позволили даже Органу подменить их для передышки, сказали, что лучше на обратном пути, когда с грузом будут, тогда поможет, а сейчас, мол, пусть правит себе. Старый Орган, кадыкастый и длинношеий, сидел на корме, ссутулившись, как орлан, выжидающий добычу. Больше молчал, думал о чем-то своем.

А лодка плыла, все так же слегка принаривая по волнам. И волна стояла все та же — умеренной силы. Ветер шел низовой, устойчивый.

Так они плыли…

— Аткычх! Аткычх! Вон остров! Малый сосец! — радостно воскликнул вдруг Кириск, дернув Органа за рукав.

— Где остров? — не поверил Орган, приставляя ладонь к глазам. И гребцы удивленно оглянулись туда, куда указывал мальчик.

— Не должно быть, — пробормотал старик, ибо мальчик показывал совсем в другую сторону, неожиданную для них сторону.

Мальчик не врал. Там, вдали, очень далеко, действительно неподвижно темнела в море застывшая неровная полоса грязно-бурого оттенка, точно то был выступ тверди среди воды. Орган долго всматривался.

— Нет, то не остров, — убежденно сказал он наконец. — Нам до Малого сосца еще плыть по прямой, на закат, туда, куда мы плывем. А это совсем в стороне. И то не остров, — продолжал он. — Сдается мне, то не остров.

— Такого острова в этих водах никогда не было, никогда не видели мы такого острова, — сказал Мылгун. — Малый сосец будет слева, а это не

знаю, что такое.

— А не туман ли это или облако какое? — промолвил Эмрайин. — Или волна так бурунит, тогда почему она не движется?

— Вот то-то, что оно есть? Туман или облако, кто его знает. Далеко отсюда. Но то не остров, — рассуждал Орган. — Но если это туман такой, то радости мало.

— Ничего, лишь бы ветер не изменился, — приналегая на весла, высказал свое мнение Эмрайин. — Стоит оно на месте, не движется. А нам в той стороне делать нечего, пусть себе что есть, то есть…

Кириск вначале разочаровался было, что обнаруженное им оказалось чем-то неопределенным, но потом быстро забыл об этом.

А охотники не ошиблись. Островок Малый сосец вскоре завиднелся из воды по левую руку. Тут уж никаких сомнений не было. То оказался совсем небольшой, сплошь каменистый, бугристый выступ суши, и в самом деле напоминавший сосок.

Завидев остров, все оживились, особенно Кириск, — значит, не бесконечно море. И тут началось самое интересное в плавании.

— Ну вот. — Орган потрепал башлык на голове

мальчишки. — Пегий пес довел нас до острова, хотя сам остался дома. Ведь, побеги он следом за нами, утонул бы?

— Еще бы! — подтвердил Кириск, улавливая смысл игры.

— А Пегий пес затем нам и нужен, чтобы оставался дом стеречь, а мы, помня его, добрались бы, не сбиваясь с пути, к месту охоты. Как ты думаешь, нужен будет нам еще Пегий пес или нет?

— Нет, не нужен, — опять же совершенно уверенно отвечал Кириск. — Теперь мы сами видим, куда плыть.

— А ты подумал бы, а! — укорил Орган. — А то ведь ты такой шустрый, ты бы подумал.

Кириск не сообразил, зачем еще нужен будет этот Пегий пес в море у далекого острова.

— А зачем тут наш Пегий пес?

— А домой возвращаться как будешь? Куда поплывешь, в какую сторону? Ну-ка, подумай? Догадался? Запомни, с какой стороны подплываем, какой стороной остров смотрит на Пегого пса — тогда будешь знать, куда путь держать, когда возвращаться.

Кириск молча согласился, но все же самолюбие его было уязвлено, и, возможно, поэтому он спросил несколько запальчиво:

— А если будет темно, а? Если ночью окажемся в море и ничего не видно, а? Так как?! А! Тогда как узнать, где Пегий пес, в какой стороне? А!

— Ну что ж, и тогда можно узнать, — спокойно отвечал ему на это Орган. — Для этого есть звезды на небе. Звезды не подведут, всегда точно укажут. Только бы сам знал, где какая звезда. Дай срок, научишься еще. Ты созвездие утки Лувр знаешь?

— Знаю, кажется, — неуверенно произнес Кириск, глянув на отца.

Эмрайин понял затруднение сына:

— Знает чуть-чуть, я ему как-то показывал. Но этого мало. Надо еще поучиться…

Так они плыли, постепенно приближаясь к острову. А когда стали различимы отдельные камни и скалы на берегу, пошли обходом вокруг острова, пристально вглядываясь в прибрежные места, с тем чтобы обнаружить лежбище нерпы. Кириск смотрел очень усердно, ему хотелось первому увидеть стадо. Но его предупредили — если заметит зверей, не производить лишнего шума. Орган сказал, что нерпы лежат где-то среди прибрежных камней у воды, — они выползают на сушу погреться на солнце. Надо приметить, где они расположились, а затем, высадившись скрытно на берег, подкрасться к ним незаметно,

чтобы не вспугнуть. Но Кириск так ничего и не разглядел. Берега были пустынны и унылы. Сплошной дикий камень, разрушенный от времени, бесформенный, глыбистый. Вокруг острова белопенным кипящим кольцом шумел прибой, норовя все время перехлестнуть через завалы обледенелых камней. Нет, ничего не углядел на острове Кириск. Только камни на камнях и никаких живых тварей.

Зато Мылгун первым заметил. И пока Кириск крутил головой, пытаясь различить, где именно затаились нерпы, лодка отплыла подальше от того места, чтобы не оказаться увиденной с лежбища.

А старый Орган понял, что Кириск ничего не разглядел.

— Ну, ты видел? — спросил он у него.

Мальчик не посмел соврать.

— Не увидел, — признался он.

— Подплывем еще раз, — велел Орган. — Учись различать среди камней. А иначе ты не сможешь стать охотником.

Гребцы повиновались, подвели лодку на прежнее место, хотя это было рискованно. Стоило одной нерпе поднять тревогу, как все стадо немедленно кинулось бы в море. Но, к счастью,

звери не замечали охотников. Они лежали за каменной грядой, среди корявых, беспорядочно разбросанных каменьев почти у самой воды.

— Вон видишь острый камень, как обломанный клык, и неподалеку красноватый такой, обледенелый бугорок, — смотри между ними, — сказал Кириску Мылгун.

Кириск вглядывался. Мылгун и Эмрайин тем временем, нагребая веслами, старались устойчиво держать лодку на месте. И тут Кириск увидел спины морских зверей — мощные хвостатые тулова. Сероватые, пятнистые, лоснящиеся спины были неподвижны. Издали для неопытного глаза они были неразличимы между камнями.

И с этой минуты мальчика охватило волнение. Начинается: вот они, настоящие морские звери! Вот она, большая охота!

Когда они затем высаживались на берег, он был возбужден, он был переполнен отвагой и восхищением. Отвагой, ибо он чувствовал себя в этот момент сильным и значительным. И восхищением — он видел, как здорово и слаженно действовали охотники: как они подвели лодку к берегу, как Эмрайин и старик Орган держали на веслах лодку у прибоя, а Мылгун изловчился, выпрыгнул на край галечника, как затем он

подтянул лодку за брошенный конец, перекинув его через плечо, и как, подхватив винчестеры, выпрыгнул на берег отец. За ним, не без помощи старика Органа, выпрыгнул и он сам, хотя и намочил при этом ноги в прибрежной волне и выслушал негромкий выговор отца.

В лодке оставался Орган, чтобы держать ее на волне у берега, а они втроем — Эмрайин, Мылгун и Кириск — поспешили к лежбищу. Шли берегом, инстинктивно пригибаясь, быстрыми перебежками от укрытия к укрытию. Кириск не отставал и только чувствовал, как бешено колотится сердце в груди и как временми кружится голова от возносящего чувства гордости и волнения.

Если бы только люди Рыбы-женщины могли видеть его сейчас, быстро идущего с большими охотниками на морского зверя! Если бы видела его сейчас мать, как она гордилась бы им, будущим великим добытчиком и кормильцем рода! Если бы видела его сейчас Музлук, с которой он часто играл, а теперь никогда не будет играть, ибо отныне имя его — охотник, и если бы она видела, как он сейчас вдали от родного Пегого пса пробирается незнакомым бушующим берегом, среди диких скал и камней, к лежбищу нерпы. И не беда, что винчестеры находились у Мылгуна

и Эмрайина: отец обещал дать ему в руки ружье, когда наступит время стрелять.

Так они шли, подкрадываясь к месту лежбища, а потом поползли по земле, и Кириск пополз. По жестким камням и щербатому льду ползти было тяжко, неловко, но Кириск понимал, что это необходимо.

Они ползли, тяжело дыша, обливаясь потом, то и дело затаиваясь, то и дело выглядывая, осматриваясь по сторонам. И замерли, затихли, когда оставалось приладиться и стрелять.

На всю жизнь запомнил Кириск этот час, этот весенний день, этот холодный каменистый островок среди бесконечно огромного моря и на нем — эти дикие темно-рыжие камни, вывороченные и раскиданные повсюду некой безумной силой, эту голую смерзшуюся землю, на которой он лежал ничком, еще не оттаявшую ото льда, жесткую и безжизненную, а рядом с собой отца и Мылгуна, изготовлявшихся к стрельбе, а впереди, в ложбинке у самого края моря, среди скальных развалин, замшелых, корявых, разрушенных ветрами и штормами, — небольшое нерпичье стадо, пока еще ничего не подозревавшее и спокойно возлежащее на своем месте. А над ними, над лежбищем, над островом, над морем — слегка

мглистое, застывшее небо, как показалось ему тогда, напряженно ожидающее первого выстрела.

«Только бы попасть!» — думал он, придвигаясь плечом к прикладу винчестера, переданного ему отцом.

В то короткое долгожданное мгновение, когда, гордясь собой, он уже видел себя прославленным, отважным охотником, его вдруг поразило, что живые спины, живые бока этих неуклюжих, тучных животных, затесавшихся в каменную лощину в ожидании скупого солнечного тепла, так беззащитны и уязвимы. Но то была лишь минутная заминка. Вспомнил, что он охотник и что люди ждут от него добычи, что без мяса и жира нерпы жизнь голодна и скудна, и где-то мелькнула еще мысль, что надо первым выстрелить и показать себя. Он окреп духом, твердо целясь, как советовал отец, под левый ласт и чуть выше и чуть правее — в самое сердце крупного, пятнистого лахтака. А лахтак, будто предчувствуя что-то недоброе, вдруг насторожился, хотя он не видел охотников и учуять их не мог — ветер дул с моря. Надо было еще слегка пододвинуться в сторону — для лучшего прицела, что-то мешало впереди, какая-то тень, — надо было пододвинуться очень осторожно, и тут камень из-под

локтя Кириска резко отскочил и покатился вниз по уклону, зацепляя случайные камни по пути. Пятнистый лахтак издал короткий лающий звук — стадо встрепенулось и с ревом быстро поползло, покатилось к воде. Но в эту секунду, упреждая их отход к морю, прогремел выстрел, сразивший большую нерпу с края стада — то Мылгун спасал положение. Кириск растерялся.

— Стреляй! — приказал ему Эмрайин.

В плечо сильно садануло, выстрел ударил в уши, и все потонуло в глухоте. Кириску стало невыносимо стыдно, что промазал и что по его вине охота срывалась. Но отец совал ему патрон:

— Заряжай, стреляй быстрей!

То, что казалось не таким уж трудным делом — зарядить и выстрелить (сколько раз он это проделывал запросто, когда учился стрелять), теперь не получалось. Затвор винчестера не сразу поддался. Мылгун тем временем дал с колена еще два выстрела вдогонку кинувшимся в воду нерпам. Одну ранил, и она закрутилась у самого края берега. Охотники побежали туда. Стадо уже скрывалось в море, а раненое животное, оставшееся на берегу, всеми силами пыталось уползти в воду. Когда люди подбежали к тому месту, нерпе удалось добраться до воды, и она,

увлекая за собой кроваво колыхающееся пятно, поплыла, работая лапами-ластами, медленно погружаясь в прозрачную глубину моря. Ясно были видны ее испуганно вытаращенные глаза и светло-сиреневая полоса по хребту, от затылка до самого кончика хвоста. Мылгун опустил вскинутый винчестер — добивать нерпу теперь не было смысла.

— Оставь, все равно утонет, — проговорил Эмрайин.

А Кириск стоял, запыхавшись, удрученный, недовольный собой. Он-то ожидал гораздо большего. Вот тебе и великий охотник!

И замолчал мальчишка, все силы собрал, чтобы не заплакать вдруг от обиды. Так было ему горько.

— Ничего, у тебя еще будет удача, — успокоил его потом Мылгун, когда они принялись потрошить убитую нерпу. — Вот сейчас поплывем на Средний сосец, там зверья побольше водится.

— Да я просто поспешил, — начал было Кириск, но отец прервал его:

— Не оправдывайся. С первого выстрела никто не становится охотником. Будь здоров, стрелять умеешь, добыча от тебя никуда не уйдет.

Кириск промолчал, но в душе был благодарен,

что взрослые не упрекали его. И теперь он дал себе слово — не спешить на охоте и не думать ни о чем другом, стрелять наверняка, когда глаз и дыхание, как учил отец, «переселятся в прицел». Вот тогда посылать пулю!

Нерпа оказалась большой, тяжеловесной, совсем еще теплой, как живая. Мылгун удовлетворенно потирал руки, освежевывая тушу с брюшной части: «Жира-то, видишь, на четыре пальца. Хороша!» Забыв уже о своем огорчении, Кириск с увлечением помогал ему. А Эмрайин тем временем пошел к старику Органу причалить поблизости лодку.

Вскоре он вернулся, озабоченно торопливый.

— Время не ждет, давайте быстрей! — И, поглядев на небо, добавил, ни к кому не обращаясь: — Не нравится мне погода…

Наскоро выпотрошив тушу, оставив из внутренностей только печень и сердце, охотники потащили нерпу на связанных жердях к лодке. Кириск шел следом, нес ружья, оба винчестера.

На берегу, возле лодки, их ждал Орган. Старик был обрадован.

— Пусть Курнг[32] услышит, как мы довольны!

---

[32] Примечания: 32
Курнг — высшее божество.

Для начала и это неплохо! — приговаривал он, готовя свой охотничий нож для трапезы. Предстояло самое главное после охоты — поедание на месте сырой нерпичьей печенки. Орган присел над распологосованной тушей, нарезал печень дольками. Слегка присыпав солью, охотники глотали нежные куски печени, причмокивая от удовольствия. Печень была очень вкусна — нежная, теплая, сытная. Во рту она таяла, обволакивая язык жирным соком. Сбылась мечта Кириска — как настоящий мужчина, ел сырую печень на охоте!

— Глотай, глотай побольше! — советовал Орган мальчику. — Ночь будет холодной, промерзнешь. А печень — самый лучший согрев. И от всех болезней первое средство.

Да, здорово это было. Наелись отменно, и сразу пить захотелось. Но вода была в бочонке, в лодке.

— Разделывать тушу сейчас не стоит, — сказал Эмрайин, когда все насытились, и опять беспокойно посмотрел на небо.

— Успеется, — согласился Орган. — Чай согреем на ночь, когда устроимся на Среднем сосце, — добавил он. — А пока обойдемся. Будем грузиться.

Перед самым отплытием охотники не забыли

покормить землю. Мелко нарезанное сердце нерпы разбросали с приговором для хозяина острова, чтобы тот не отказывал им в удаче в следующий раз. С тем они снова вышли в море.

Малый сосец оставался позади. Одинокий сиротливый островок среди хмурой воды вызывал чувство жалости и неприкаянности. Путь держали к Среднему. День уже клонился к вечеру. Гребцы приналегали на весла, торопились засветло попасть к Среднему сосцу, где предстояло зачалить лодку в укрытие и заночевать. Малый сосец вскоре исчез из виду, как бы опустился в море, но Средний еще не появлялся. Снова кругом обступала вода.

Пока они промышляли нерпу, море заметно изменилось. Волна стала плотней. Тверже. Масса воды еще продолжала катиться в прежнем направлении, ветер же успел уже перемениться. Лодку встряхивало и качало теперь гораздо жестче. Но охотников больше беспокоило небо. Что оно предвещало? Что-то непонятное и неожиданное в это время года! Невесть откуда летящая муть в воздухе покрывала небо белесой текучей завесой, как марью, гонимой верховым ветром от далеких лесных пожаров, бушующих где-то в черных дебрях. И хотя дымка эта всего лишь

затягивала небо и ничем никому не мешала, охотники хмурились.

— Откуда ее прет? — бормотал Орган, недовольно оглядываясь вокруг.

Теперь они плыли в напряжении, ожидая с каждым взмахом весел, что вот-вот покажется впереди земля — Средний сосец, самый удобный и надежный из Трех сосцов.

Тем временем небо даже прояснилось, и даже солнце вновь проглянуло с края моря, а может быть, с самого края света — настолько далеко и неправдоподобно это было. На солнце можно было запросто смотреть, не отворачиваясь. Четко очерченное и налившееся багровостью, солнце уже угасало, смутно рдея, в той далекой багрово-дымной стороне. Приоткрылось небо, и снова свет и спокойствие воцарились в мире. И этого оказалось достаточно — сразу спало напряжение. Люди в море уже предвкушали приют и отдых на острове.

— Потерпи еще немного, и Средний сосец подымется впереди, — сказал Орган сидящему возле Кириску, ободряя его похлопыванием по спине.

Мальчику давно хотелось пить, но он пока воздерживался, по детской наивности своей неукоснительно соблюдая запрет отца. Тот нака-

нуне еще сказал ему, что в плавании питьевой воды всегда в обрез, нельзя пить попусту, как дома. Даже на островах, на всех трех, нет ни капли пресной воды. А в лодку лишний груз брать тоже невозможно. Пить можно лишь тогда, когда будут все пить.

В тот светлый промежуток, когда вдруг в прояснившейся дали выглянуло солнце, мальчик почувствовал доброту старика Органа.

— Аткычх! Пить хочется очень! — сказал он, мужественно улыбаясь и поглядывая на отца.

— Во-он как! — понимающе усмехнулся Орган. — После такой печенки-то немудрено! Ясное дело! Да ведь мы все пить хотим, а?

Эмрайин и Мылгун одобрительно закивали в ответ со своих мест. И это обрадовало Кириска, — значит, все пить хотят, не только он один.

— Ну что ж, коли так, побалуем себя водицей, а потом и закурим! — С этими словами старик Орган заклинил рулевое весло, поднял со дна лодки бочонок с водой, поставил его сподручней и стал нацеживать воду через желобок в луженный изнутри медный ковш. Вода была холодная, светлая — в роднике набирали, как раз на обратном от моря склоне Пегого пса. Там самая любимая вода, всегда чистая, вкусная. Летом травами наполос-

кавшимися пахнет и сырой землей.

Ковшик держал под струйкой Кириск. Очень хотелось побыстрей напиться. И когда ковш наполнился наполовину, старик Орган прикрыл струю затычкой.

— Ну, пей! — предложил он Кириску. — А потом напоишь и других. Не расплескивай, — предупредил он.

Кириск пил вначале жадно, а под конец помедленней и тогда ощутил, что вода уже припахивает набухшим деревом.

— Напился? — спросил Орган.

— Да.

— По глазам вижу — не совсем. Ну так и быть уж. Еще малость дам. Печенка — штука сильная, были бы на земле, пей хоть целое ведро, — приговаривал старик, нацеживая Кириску на дно ковша.

И тогда он напился вдоволь и почувствовал справедливость слов, которые взрослые говаривали в таких случаях: ох, мол, с души отлегло!

Потом по три четверти ковша налили гребцам. Кириск сам подавал каждому из них ковш с водой. Напившись досыта, он ничего не имел против, чтобы отец и Мылгун тоже пили столько, сколько захотят. Старейшина Орган, однако, счел

нужным объяснить ему, почему он налил им по три четверти ковша:

— Ты еще мал телом, а они вон какие! И работа у них тяжелая. Когда гребешь, пить очень хочется.

Эти двое и в самом деле сразу осушили свои ковши, и еще пришлось им налить. В этот раз старейшина Орган счел нужным пожурить самих гребцов:

— Вы, братцы, не очень-то. Не на берегу реки сидите!

Эмрайин и Мылгун в ответ только заулыбались. Понимаем, мол, но ничего не могли поделать — пить хотелось.

Но и сам Орган, выпив свою долю воды, покачал с усмешкой головой:

— Да-а, неплохо бы и у реки посидеть. Вот ведь какая сила — печень сырая…

Потом он набил трубку, закурил, задымил, блаженствуя, не подозревая, что уж больше никогда не испытает такой отрады…

Первым увидел беду Кириск!..

Перед этим была удивительная минута покоя, когда все, утолив жажду, почувствовали себя довольными, счастливыми.

Первая нерпа была добыта, вскоре предстоял отдых на острове, а с утра снова большая охота на

морского зверя. И сразу после охоты возвращение домой, без промедления. Все было в порядке.

Лодка все так же плыла, привычно приныривая по волнам. Старик Орган правил на корме, посасывая свою трубку, и, быть может, думал о своей Рыбе-женщине. Эмрайин и Мылгун знай себе гребли, махали веслами, казалось бы, без усилий, легко, точно, красиво. Кириск невольно залюбовался охотниками. По какому-то мальчишечьему наитию в ту минуту он разглядывал каждого из них в отдельности, думая о каждом из них. Он любил их неосознанно, гордился тем, что находился в этот час вместе с ними в плавании.

Кириск не мог представить себе этих людей иными. Старик Орган, должно быть, всегда, во все времена был стариком Органом, вот таким кадыкастым, длинношеим, с узловатыми, как корневища, длинными руками и привычно слезящимися, все понимающими глазами. А разве могло быть иначе? Разве могла быть жизнь без старейшины, без этого всеми уважаемого человека?

Мать говорит, что он, Кириск, очень похож на отца и что, когда он вырастет, будет вылитый Эмрайин. И глаза, говорит, точно такие, карие, как желуди, и зубы крепкие и точно такие, — два

передних немного выпирают вперед. И борода, говорит она, будет у него, как у отца, черная, сильная и густая. Недаром же отца зовут Бородатым Эмрайином. А когда Кириск был еще поменьше, когда он еще купался голышом в ручье, мать подталкивала сестру свою под бок: смотри, смотри, ну в точности как сам. И, потешаясь над чем-то, они до упаду смеялись, озорно перешептывались, и мать говорила, что, если Кириску, когда он вырастет, попадется жена такая же, как она сама, та будет не в обиде — ей будет хорошо, это она знает. Странно, думалось ему, кому и как это будет хорошо? И почему жене его должно стать хорошо, если он будет похож на отца?

Вот он сидит впереди, нагребает. Чернобородый, белозубый. А сам плечистый, уверенный в себе, всегда ровный характером. Не помнил Кириск, чтобы отец громко накричал на него или пожалел, оберегал, как другие. А глаза и в самом деле как зрелые желуди — чистые, налитые блеском.

За ним, у второй пары весел, сидит его двоюродный брат Мылгун, младше отца года на два. Даром что брат — бороды у него почти нет. А что есть, так топорщится, как у моржа усы. И сам он похож на моржа. Этот и поговорить и поспорить

любит, если что не так. Обиды никому не спустит — подрался раз с каким-то заезжим купцом. Пришлось всем родом извиняться да задабривать купца. А Мылгун ни в какую: несмотря что короткий ростом и круглый, как пень, рвется, я, говорит, докажу ему правду. Напился пьяный. До этого дела он охочий. Несколько человек, и Эмрайин в том числе, хотели его скрутить, так туго пришлось. Силен оказался, как медведь. Кириску он аки-Мылгун[33]. С отцом они дружны, всегда в паре ходят на охоту, потому что они никогда не подведут друг друга и оба одинаково надежные охотники. У Мылгуна сын еще совсем маленький — только-только бегать стал, и две девочки постарше. Кириск их никому в обиду не дает, пусть попробует кто-нибудь тронет. А мать Кириска души не чает в девчушках Мылгуна, часто прибегают они поиграть к Псулк.

Но красивее всех среди всех девочек Музлук! Жаль, говорят, когда она вырастет, ее отдадут на сторону — замуж соседним людям. Вдруг бы взять и не отдать…

Там, на побережье, редко когда думал Кириск о таких вещах, а теперь, на отдалении, все обычное

---

[33] Примечания: 33

Аки — употребляется по отношению к старшему родственнику.

обрело для него ранее неведомый трогательный смысл.

Ему вдруг очень сильно захотелось домой, туда, где за сопкой Пегого пса, в долине реки, у опушки леса, расположилось старинное становище прибрежных нивхов — людей Рыбы-женщины. Так ему захотелось в тот час к матери, что сердце заныло. Но так далеко находились они от родного побережья, от родного Пегого пса, вечно бегущего по делам своим краем вечного моря. Кириск невольно обернулся даже, как бы желая удостовериться в том, и, озираясь по сторонам, увидел совершенно неожиданное.

По морю, застилая почти полгоризонта, двумя широкими, смыкающимися языками надвигалась на них серая стена густого тумана. Туман подступал зримо, могуче клубясь по черной поверхности воды, неуклонно заполняя собой все окружающее пространство. Он приближался, как живое существо, как чудовище, имеющее непременной целью захватить, поглотить их вместе с лодкой, вместе со всем видимым и невидимым миром. Туман шел именно с той стороны, в какой ранее, приняв издали за остров, Кириск видел нечто неопределенное, какую-то застывшую средь моря серую массу. Теперь вся эта масса,

набухая и разрастаясь на глазах, бесшумно и безостановочно катилась, гонимая ветром, к ним.

— Смотрите! Смотрите! — испуганно вскричал Кириск.

Все оторопели. Лодка, оставшаяся на миг без управления, заплясала на волнах. И в ту же минуту донесся грозный шум великой волны, выбегающей из-под плотной завесы тумана. Волна шла накатом, со все возрастающим грохотом взбунтовавшейся воды, вспучиваясь, вырастая и разрушаясь одновременно.

— Разворачивай! — отчаянно закричал Орган. — Разворачивай носом!

Едва гребцы успели развернуть лодку навстречу волне, как первый удар шторма чуть не опрокинул органовский каяк. Волна пронеслась, вызывая следом возмущение моря, и тут уже подступил туман. Когда оставалось до наползающего края тумана совсем близко, стало отчетливо видно, с каким мрачным торжеством, с какой зловещей непреклонностью и неотвратимостью двигалась эта клубящаяся, живая тьма.

— Запоминайте ветер! Запоминайте ветер! — успел прокричать Орган. И сразу все потонуло в беспросветной мгле. Туман обрушился, как обвал, погребая их в пучину безмерного мрака. Сразу,

в мгновение ока, они попали из одного мира в другой. Все исчезло. С этой минуты не стало ни неба, ни моря, ни лодки. Они не различали даже лиц друг друга. И с этой минуты они уже не знали покоя — море бушевало. Лодку кидало то вверх, то вниз, то разом вскидывая, то низвергая разом в расступающуюся пропасть между волнами. От брызг и всплесков одежда намокала, тяжелела. Но самая большая беда заключалась в том, что люди в сплошном тумане ничего не различали вокруг, ровным счетом ничего не видели и не могли определить, что происходит в море, что следует предпринять. Оставалось единственное — бороться наугад, вслепую, только бы удержать каким-либо способом лодку на плаву, не дать ей перевернуться. Теперь уже не могло быть и речи, чтобы направлять лодку к какой-то цели. Волны несли ее по своей необузданной прихоти неизвестно куда, и неизвестно, как долго могло так продолжаться.

Кириск и прежде слышал, бывали случаи, охотники в море попадали в непогоду, случалось, исчезали навсегда, тогда при всеобщем трауре женщины и дети много дней жгли костры на склонах Пегого пса в безнадежной надежде: а вдруг! Но и тогда даже приблизительно не

мог предполагать он, насколько это страшно и дико — погибать в открытом море. И тем более не предполагал он, что безобидные туманы, эти безмолвные пришельцы зимней поры, появление которых он так любил, когда весь мир, околдованный молочной тишиной, покрывался ровным белым маревом, когда земные предметы как бы воспаряли, призрачно цепенея в воздухе, когда душа переполнялась необъяснимой жутью и истомой в ожидании некоего сказочного видения, что эти туманы могут обернуться в такого грозного вездесущего врага. Скручиваясь, скользя, растекаясь и снова сжимаясь, темные клубы тумана, плывущие над разыгравшимся морем, напоминали змеиное движение…

Вцепившись в сиденье, Кириск судорожно жался в страхе к ноге старика Органа.

— Ты держись за меня! Крепко держись! — прокричал ему на ухо Орган, и больше он уже не мог что-либо сказать или сделать для мальчика.

И никто из них не мог облегчить его участи, ибо все они были равны перед лицом яростной стихии. Если бы даже Кириск закричал, заплакал и стал бы звать отца, то и тогда Эмрайин не сдвинулся бы с места, ибо лодка только тем и держалась на плаву, что он и Мылгун отчаянно

балансировали веслами, предугадывая разрывы и взрывы волн.

Волны же безостановочно уносили лодку во тьму непроглядного тумана. Орган еще пытался как-то управлять рулем, чтобы сохранить устойчивость, но чем дальше, тем больше усиливался шторм.

Возможно, стояла уже полночь. Трудно было определить в тумане течение суток. О наступлении ночи они могли лишь догадываться по сгустившейся кромешной тьме. И в этой тьме уже много времени шла эта беспрерывная, изматывающая, неравная борьба с почти безнадежным исходом. И все-таки нивхи пока держались, все-таки не покидала их отчаянная надежда, что, быть может, шторм так же внезапно утихнет, как и начался, что туман рассеется, тогда они могли бы подумать, как им быть дальше. И один раз эта надежда начала почти сбываться. В какое-то время шторм вроде пошел на убыль, болтанка стала угасать, успокаивались всплески и брызги. Но тьма окружала все та же — плотная, аспидно-черная. Первым, пересиливая шум моря, подал голос Орган:

— Это я! Кириск со мной! Вы слышите меня?

— Слышим! Мы на местах! — прохрипел Эмрай-

ин.

— Кто запомнил ветер? — прокричал Орган.

— А что толку? — со злостью выкрикнул Мылгун.

Старик замолчал. В самом деле, направление ветра теперь было им ни к чему. Куда занесло их, где они, далеко или близко от островов, могущих послужить ориентиром, угадать было трудно. А возможно, их унесет так далеко, что они никогда не найдут свои Сосцы. И он замолчал, угнетенный мраком и качкой. Великий Орган замолчал в тяжком раздумье. Единственное, что можно было посчитать везением, это то, что, минуя по воле судьбы острова, они избежали участи быть разбитыми о прибрежные скалы. Но без островов и без звезд средь ночи и тумана никакого способа определиться теперь не существовало. Орган был бессилен что-либо сказать. И все-таки через некоторое время он прокричал:

— Ветер был Тлангила[34], когда мы развернулись носом!

Ему никто ничего не ответил. Гребцам было не до ответов. И опять Орган замолчал. Кириск дрожал всем телом, приткнувшись у его ног. Тогда

---

[34] Примечания: 34

Тлангила — юго-восточный морской ветер, сильный и холодный.

Орган предупредил гребцов:

— Мы с Кириском будем вычерпывать воду, а вы держитесь!

Он склонился к Кириску, ощупал его в темноте и сказал ему, убедившись, что мальчик невредим:

— Кириск, ты не бойся. Давай вычерпывать воду. Иначе нам будет плохо. Черпак у нас один, вот он, я его нашел, а ты на вот, возьми ковшик, все же лучше… Ты держишь? Возьми ковш, говорю…

— Да, аткычх, я держу. А долго так будет? Мне страшно.

— Мне тоже страшно, — проговорил старейшина Орган. — Но мы мужчины, и нам положено такое.

— А мы не утонем, аткычх?

— Не утонем. А если утонем, значит, так должно быть. А теперь давай, держись за меня одной рукой, а другой вычерпывай, выплескивай воду.

Хорошо, что Орган вовремя спохватился, и, пользуясь небольшой передышкой, они смогли отлить накопившуюся воду из лодки. И именно тогда, когда они, действуя ощупью, вычерпывали воду, Орган обратил внимание Кириска на небольшой бочонок, из которого они днем пили.

— Кириск, — сказал он ему, беря его за руку. —

Вот бочонок наш с водой. Нащупал? Запомни, что бы то ни случилось, береги бочонок. Держись за него, вцепись, но не разлучайся. Если что, лучше нам погибнуть, чем остаться без него. Ты понял меня? Ни на кого не надейся… Слышишь?

Хорошо, что он сказал об этом, хорошо, что он вовремя предупредил об этом мальчика. Очень скоро это ему пригодилось.

После короткой передышки шторм налетел с еще большей силой и свирепостью, точно бы пользуясь прикрытием ночи и беспомощностью людей, ничего не видящих во тьме и в тумане. В этот раз волны обрушились с новым приступом ярости, поистине как в отместку за доставленное короткое послабление. И закрутился, завертелся органовский каяк между невидимыми волнами, нещадно швыряемый их ударами во все стороны. Всплески захлестывали лодку. Лодка оседала, зачерпывая воду. Как ни метался Орган с черпаком, ползая на коленях, успеть вычерпать набегающую воду было немыслимо. И тогда закричали гребцы зло и отчаянно:

— Выбрасывай все! То-онем. Выбрасывай!

Кириск громко заплакал от страха, но его никто не слышал, и никому не стало дела до него. Мальчик забился в углу у кормы, крепко держа

бочонок под собой. Он навалился на него боком, судорожно скрючившись, содрогаясь от плача. Он помнил, что это главное дело, которое он должен был делать, что бы то ни случилось. Он понимал, они тонут, но и тогда он делал то, что было сказано старейшиной Органом, — сохранял бочонок с водой.

Полузатонувшую лодку надо было срочно спасать. Мылгун продолжал пока сумасшедше работать веслами, стараясь изо всех сил действовать так, чтобы лодка не перевернулась, а Орган и Эмрайин выбрасывали за борт все, что находилось в лодке. Другого выхода не было. В море полетели оба винчестера, гарпун, мотки веревок и все прочие вещи, и даже жестяной чайник Органа. Труднее всего им пришлось с тушей нерпы. Намокшая, отяжелевшая, осклизлая туша не поддавалась. Ее надо было поднять со дна лодки и перевалить за борт. То, ради чего они шли в плавание на необитаемые острова — добычу, — предстояло выкинуть прочь. Хрипло рыча, выкрикивая ругательства и проклятия, они с большим трудом выталкивали в тесноте тушу к краю борта и наконец опрокинули ее в море. Даже в этой сумятице и дикой схватке с морем было ощутимо, как облегченно качнулась лодка,

освободившись от груза нерпы. И, возможно, это-то и спасло положение…

Орган очнулся первым. В белой безжизненной пустоте он не сразу мог взять в толк, где он и что значит эта мутная, непроглядная неподвижность вокруг. То был туман.

То был Великий туман, безмолвно, безраздельно и незыблемо покоившийся в ту пору над всем пространством океана. Великий туман переживал свое великое оцепенение…

Когда глаза немного присмотрелись, старик Орган различил во мгле контуры лодки, потом и людей. Эмрайин и Мылгун валялись на своих местах возле весел. Вусмерть истерзанные, измотанные ночным шквалом, они лежали в странных позах, точно бы они были сражены наповал, и только сиплый, прерывистый храп свидетельствовал об их жизни. Кириск лежал, скорчившись у его ног, привалившись к бочонку. Он продрог во сне от сырости и холода. Орган пожалел его, но ничем не мог помочь.

Оглушенный пережитой ночью, он сидел на корме, опустив седую голову. Все тело старика болело и ныло. Его длинные узловатые руки свисали, как плети. Много разных бед и испытаний довелось пережить Органу на своем веку, но

такого жестокого случая не знавал даже он. Он не представлял себе, где они сейчас находились, куда угнал их шторм, как далеко они от земли, в море ли они или в самом океане. Он не представлял себе даже, какое время протекало в тот час. В сплошном, беспросветно застывшем стоянии тумана невозможно было отличить день от ночи. Но, по всей вероятности, если учесть, что штормы обычно утихают к утру, стоял день. Возможно, вторая половина дня.

Как бы то ни было, даже радуясь, что чудом остались в живых, Органу было от чего повесить голову. Лишившись всего, что имелось с ними в плавании, вплоть до ружей, выменянных у заезжих купцов за сотни соболей, они оставались теперь в лодке с двумя парами весел и початым бочонком пресной воды. Что их ждало впереди?

Конечно, как только гребцы придут в себя, они вместе обдумают, как им быть и что делать дальше. Но кто скажет, в какую сторону им двигаться? Это прежде всего. Во-вторых, если дождаться ночи и если небо не будет в облаках, можно попытаться определиться по звездам. Но как долго придется им плыть? Сколько потребуется сил и времени? Дотянут ли, выдержат ли?

А туман, что за туман? Так густо и неподвижно

лежит он над морем. Точно бы он встал здесь навечно. Неужто повсюду так, неужто весь мир погрузился в такой туман?..

Хотелось курить и пить. О куреве, однако, не приходилось беспокоиться — тот табак, что оставался при нем, весь вымок. И трубка куда-то подевалась. А вода? А пища? Орган побоялся думать об этом. Пока еще можно терпеть и пока еще можно было не думать…

На море стояла мертвая зыбь, полный покой, штиль. Лодка лишь слегка покачивалась на месте. Никуда ее не влекло, и никуда она не двигалась. Весла, брошенные в воду, безвольно лежали на поверхности. Можно было понять Эмрайина и Мылгуна — они достигли такого предела усталости, что не могли поднять весла на борта: свалились в мертвецком сне.

При полном безветрии все замерло во мгле и неподвижности. Море стояло, туман стоял, лодка стояла, спешить было некуда… плыть было некуда…

Печально прикорнув, старик незаметно уснул и проснулся, когда его разбудил Кириск.

— Аткычх, аткычх! — толкал его мальчик. — Мы хотим пить.

Орган встрепенулся и понял, что трое соплемен-

ников ждут от него действий, ибо он старейшина, и понял, что начинается самое страшное — распределение воды…

Туман стоял все так же густо и неподвижно. Море находилось в полном затишье.

Весь остаток дня они неспешно плыли в тумане. Бесцельно и неизвестно куда.

После того как люди пришли в себя и осознали свое положение, стоять на месте было уже невозможно.

И они плыли. Быть может, приближаясь к земле, а возможно, напротив, удаляясь от нее.

Но все-таки в этом имелась какая-то иллюзия движения.

Вся надежда была на то, что туман рассеется и тогда станет ясней, что делать.

Во всяком случае, ночью можно будет увидеть звезды, если рассеется туман. Перво-наперво необходимо было ухватиться за звезды.

И еще была надежда, что натолкнутся на какой-нибудь остров. А там будет легче сориентироваться.

Так они и плыли пока в никуда — все время в туман.

Но и при этом Орган велел навести некоторый порядок в лодке. Вычерпали начисто остатки во-

ды со дна, чтобы под ногами не хлюпало. Кириска он посадил рядом с собой на корму, чтобы теплее было мальчику под боком и чтобы он обсыхал побыстрей. Воды выдал всем поровну. На первый раз всем по неполному на одну четверть ковшу. После штормовой ночи необходимо было напиться хотя бы раз досыта. Но Орган предупредил, что отныне пить будут только тогда, когда он найдет нужным, и лишь столько, сколько он нальет. И при этом для пущей убедительности покачал воду в бочонке — он был уже наполовину пуст.

Была и нечаянная радость: когда приступали разливать воду, за бочонком, в самом углу кормы, под сиденьем, обнаружили кожаную, из нерпичьей шкуры торбу с вяленой юколой. Большую торбу с пищей выбросили за борт вместе с другими вещами, а этот мешочек, собранный в дорогу женой Мылгуна, остался ненароком на месте, потому что лежал под сиденьем, за бочонком, который Кириску поручили сохранить во что бы то ни стало. Правда, в той торбе было полно морской воды и юколу невозможно было взять в рот: настолько она пропиталась солью, и без того соленая. И все же то была пища. И если бы имелось вдосталь воды питьевой, то и такая юкола вполне сгодилась бы.

Но пока что юколу никто не ел, опасаясь жажды…

Все ждали одного: когда исчезнет туман…

В полном безмолвии и неподвижности тумана лишь уныло скрипели уключины весел. Скрип тот среди великой тишины походил на усталые мольбы и стенания заблудившегося человека: где я, где я? Куда мне, куда мне податься теперь?

Все ждали одного: когда исчезнет туман…

Но он не исчез и не собирался исчезать. Туман не шевелился. Казалось, что нечто невообразимо чудовищное, какая-то иная сущность, неземная, дышащая промозглой влажностью, поглотила весь белый свет — и Землю, и Небо, и Море…

Снова наступила ночь в чреве тумана. Об этом можно было судить по налившейся черноте вокруг. И никаких звезд, никакого неба наверху.

Плыть куда-то для того лишь, чтобы только куда-то плыть, уже не имело смысла.

Ждали, уповали, надеялись, не покажутся ли звезды на небе. Ждали с часу на час. Ждали появления ветра, который угнал бы этот ненавистный, трижды проклятый туман. Не спали. Обращались с мольбой к духу неба, чтобы раскрыл он звездный небосвод, вызывали мольбой хозяина ветров, чтобы проснулся он за морем

— гривастый и косматый зверь.

Но все тщетно. Никто не слышал их обращений, и туман не развеивался.

Кириск тоже ждал появления звезд. Эти звезды, обычно, как игрушечки, блиставшие в небе, теперь были ему нужнее всего. Все то, что довелось пережить с прошлого вечера, потрясло, устрашило мальчика. Ведь ничего не стоило детской душе отчаяться, надломиться, сокрушиться навсегда. Но то, что трое взрослых, находясь в одной лодке с ним, при общей смертельной опасности, когда, казалось, уже наступал конец их плаванию, выстояли, преодолели разъяренную стихию, вселяло в него надежду, что и в этот раз путь к спасению будет найден. Он очень верил, что стоит только показаться звездам в небе, как придет конец их страданиям.

Только бы побыстрее это совершилось, быстрее бы вернуться назад, к земле, туда, к Пегому псу, быстрее, быстрее, быстрее потому, что очень хотелось пить и есть, невыносимо хочется пить и есть, и чем дальше, тем острее хочется пить и есть, очень хочется домой, к матери, к сородственникам, к жилищам, к дымам, к ручьям и травам…

Всю ночь бедствующие томились в ожидании,

но ничто не изменилось — туман не тронулся с места, звезды не высыпали в небе, море продолжало оставаться во мгле.

И всю ночь очень хотелось пить, было сыро и зябко, но прежде всего очень хотелось пить. Кириск мог полагать, что не только он так тяжко хотел воды, но и другие так же страдали от неутоленной жажды. Но ему хотелось пить больше всех. И это его терзало, что ему хотелось пить больше всех.

А старейшина Орган не дал воды, когда Кириск все же попросил немного.

— Нет, — твердо сказал он, — сейчас не будем. Терпи.

Если бы знал он, старик Орган, как хотелось пить после юколы, которую они втроем, с отцом и Мылгуном, — все же не утерпели к концу дня, — начали грызть от голода. И хотя запили юколу водой, но этого было совсем недостаточно, а через некоторое время пить захотелось еще сильней. А старик Орган не притронулся к юколе, перетерпел, но и воды не пил, сберег, не позволил себе ни глотка. В тот день два раза пили воду — утром и вечером, за исключением Органа. Вечером совсем немного, всего лишь на донышке ковша. А воды в бочонке оставалось все меньше и меньше.

Когда хотелось пить, пить и пить, ожидание перемен вдвойне становилось пыткой.

Так длилось всю ночь… И всю ночь недвижно лежал стылый туман. И море не шелохнулось.

И наутро никаких перемен. Лишь чуть светлее стало в серо-бурых недрах тумана, чуть попросторнее. Теперь можно было различить лица и глаза. И на несколько сажен вокруг лодки тускло серебрилась тяжелая, неподвижная, как ртуть, мертвая зыбь. Такой стоячей воды Кириск никогда не видел.

И никакого ветерка, и никаких перемен.

Но в то утро мальчика очень поразило, как сильно изменились лица взрослых. Осунулись здорово, позарастали жесткой щетиной, глаза померкли, провалились темными кругами, точно бы схватила их смертная болезнь. Даже отец, на что сильный и уверенный, и тот крепко переменился. Только и осталось — борода. Губы искусаны до черноты. И на Кириска смотрит с жалостью, хотя и молчит, ничего не скажет. Особенно сдал старик Орган. Ссутулился старик, еще белее стал, и кадыкастая шея его вытянулась еще длиннее, а глаза слезились больше прежнего. И только во взгляде осталось то, чем был Орган. Мудрый, строгий взгляд старейшины все так

же таил в себе нечто значительное, известное и доступное только ему.

День начали с самого тяжкого — с того, что распределили между собой по нескольку глотков воды. Орган сам наливал. Зажав бочонок под мышку, тоненькой струйкой цедил он влагу на дно ковша, и руки его при этом крупно дрожали. Первым он подал Кириску. Кириск едва дождался этого. Застучал зубами о край ковша и, проглатывая воду, почувствовал лишь на мгновение, как увлажнился, опал жар внутри и как от волнения зашумело в голове. Но, пока он возвращал ковш, жар снова восстановился, как прежде, и даже больше, точно бы там, внутри, раздразнили зверя. Потом пил Мылгун. Потом Эмрайин. Страшно было смотреть, как они пили. Хватали ковш дрожащими руками и возвращали, не глядя в лицо Органа. Будто бы то он был виноват, что так мало оказалось питья. А сам Орган, когда наступил его черед, не налил себе ни капли. Молча приткнул затычку. Это казалось Кириску невероятным. Был бы бочонок в его руках, он готов был сейчас налить себе полный ковш, потом еще и еще и пить, пить, пока не упал бы. А потом будь что будет. Лишь бы один раз досыта напиться. А старик Орган отказывал себе даже в том, что полагалось

ему. Отказывался от воды на донышке.

— Зачем так, аткычх. Наливай, как всем! — не вытерпел наконец Эмрайин, хрипя, пересиливая себя. — И вчера не пил. Погибать, так вместе погибать!

— Я обойдусь! — невозмутимо ответил Орган.

— Нет, это неправильно! — повысил голос Эмрайин и добавил с раздражением: — Тогда и я не буду пить!

— Пить-то тут нечего. О чем разговор! — Орган усмехнулся, мол, какие вы неразумные, тихо покачал головой, снова откупоривая бочонок и нацедив воды на донышко, сказал: — Пусть Кириск выпьет за меня.

Мальчик растерялся, и все замолчали. А Орган протягивал ему ковш:

— На, Кириск, пей. Не думай ни о чем.

Кириск молчал.

— Пей, — сказал ему Мылгун.

— Пей, — сказал ему Эмрайин.

— Пей, — сказал старик Орган.

Кириск колебался. Умирая от жажды, хотел разом опрокинуть в себя эти несколько глотков воды, но не посмел.

— Нет, — сказал он, перебарывая пожирающее изнутри желание, — нет, аткычх, сам пей, — и

почувствовал, как закружилась голова.

Рука Органа дрогнула от этих слов, он тяжело вздохнул. Взгляд его смягчился, благодарно лаская мальчика.

— Я ведь на веку своем, знаешь, ой как много выпил воды. А тебе надо еще долго жить, чтобы… — И он не договорил. — Ты понял меня, Кириск? Пей, так надо, ты должен выпить, а за меня не беспокойся. На!

И опять, проглатывая воду, лишь на мгновение почувствовал мальчик, как увлажнился, опал жар внутри, и снова, вслед за облегчением, тут же захотелось пить. В этот раз он ощутил, что во рту остался привкус протухающей воды. Но это не имело значения. Лишь бы была вода, пусть какая угодно, лишь бы питьевая. А ее оставалось все меньше и меньше…

— Ну, как быть, что будем делать? — проговорил Орган, обращаясь тем временем к соплеменникам. — Будем плыть?

Наступило долгое молчание. Все оглянулись вокруг. Но, кроме непроницаемого тумана в двух саженях от лодки, в мире ничего не существовало.

— Куда плыть? — со вздохом нарушил молчание Эмрайин.

— Что значит — куда? — неожиданно вспылил почему-то Мылгун. — Будем плыть, лучше плыть, чем подыхать на месте!

— Ну а какая разница — что мы плывем, что не плывем? — урезонил его Эмрайин. — При таком тумане плыть в никуда, какая разница?

— А мне плевать на туман! — с еще большим вызовом возразил Мылгун. — Мне плевать на твой туман! Ясно? Будем плыть, а нет, я переверну сейчас этот проклятый каяк вверх дном, и все пойдем кормить рыб! Ты понял меня, Эмрайин Бородатый, будем плыть! Ты понял?..

Кириску стало не по себе. Ему стало стыдно за аки-Мылгуна. Тот поступал не так, как следовало, все же он был младше отца. Значит, что-то стронулось, что-то нарушилось в нем или в том, что они из себя теперь представляли, эти четверо нивхов в лодке. Все молчали, подавленные и горестные. Умолк, шумно дыша, и сам Мылгун. Эмрайин опустил голову. А старик Орган смотрел куда-то в сторону, и лицо его было непроницаемо, как тот туман, что окружал их со всех сторон глухой пеленой.

— Успокойся, Мылгун, — промолвил наконец Эмрайин. — Ведь я так, к слову сказал, конечно, лучше плыть, чем стоять на месте. Ты прав. Да-

вай, поплыли.

И они двинулись. Снова заскрипели уключины, снова со всплеском поднимались и опускались весла, беззвучно разбегалась и тут же снова смыкалась за лодкой тихая бесследная вода. Но впечатление было такое, что они не плыли, а стояли на месте. Сколько бы они ни продвигались, кругом стоял туман, получалось, как в заколдованном кругу. Это-то, наверное, и вывело опять Мылгуна из себя.

— А мне плевать на твой туман, ты слышишь, Бородатый Эмрайин! — заговорил он, раздражаясь. — И я хочу, чтобы мы плыли быстрее! Пошевеливайся, Борода, греби, не спи, ты слышишь! Мне плевать на твой туман!

И при этом Мылгун стал резко налегать на весла.

— А ну, нагребай! Нагребай! — требовал он.

Эмрайин не стал озлоблять его, но, задетый им, тоже включился в эту безумную игру.

Лодка набирала все большую и большую скорость. Она напропалую неслась рывками сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем. А Мылгун и Эмрайин, не уступая друг другу, продолжали зверски грести, в каком-то диком, остервенелом, яростном ожесточении, точно они

могли обогнать туман, вырваться из его беспредельных пределов.

Мелькали лопасти весел, взвеивая косо летящие брызги, шумела вода за бортами, наклонялись и вскидывались залитые потом, ощеренные лица гребцов, то падающих, сгибаясь, выбрасывая весла, то с силой разгибающихся, упираясь веслами в воду…

То вдох, то выдох, то вдох, то выдох… Вдох, выдох, вдох, выдох…

Туман — впереди, туман — позади, туман — кругом.

— Хана, хана![35] — как бы выхаркивая, зло подзадоривал, выкрикивал Мылгун.

Вначале Кириск оживился, поддался обману движения, но потом понял, как это бесплодно и страшно. Мальчик испуганно смотрел на старейшину Органа, ожидая, что тот прекратит эту бессмысленную гонку. Но тот как бы отсутствовал — задумчивый взгляд его блуждал где-то в стороне, на лице застыло отрешенное выражение. И то ли старик плакал, то ли привычно слезились глаза — лицо его было мокрое. Он неподвижно сидел на корме, будто не ведая, что происходит.

---

[35] Примечания: 35
Хана — давай, а ну-ка!

Лодка же шла, гонимая напропалую сквозь туман, неизвестно куда и неизвестно зачем…

— Хана, хана! — отчаянно разносилось в тумане. — Хана, хана!

Так продолжалось довольно долго. Но постепенно гребцы стали выдыхаться, постепенно убывала скорость, и вскоре они опустили весла, шумно дыша, задыхаясь от удушья. Мылгун не поднимал головы.

Так наступило горькое отрезвление. Туман они не обогнали, за пределы его не выскочили, все осталось по-прежнему: мертвая зыбь, полная неизвестность, сплошная непроницаемая мгла. Лишь лодка продолжала еще некоторое время плыть и кружиться с разбегу сама по себе…

Зачем это было делать? К чему? А что выиграли бы они, если бы стояли на месте? Тоже ничего.

Каждый, пожалуй, думал об этом. И тогда Орган сказал:

— Послушайте теперь меня. — Слова свои он выкладывал неторопливо, возможно сберегая тем свои силы, — ведь он уже не пил, не ел второй день. — Может статься, — рассуждал он, — туман продержится еще много дней. Бывают такие годы. Случаи такие бывают. Сами знаете. Семь, восемь, а то и десять дней лежит туман над морем, как

мор над краем, как болезнь, которая не уйдет, пока не выйдет срок. А каков ее срок, об этом никто не знает. Если туман этот из тех, значит, судьба наша тяжкая. Юколы осталось совсем малость, да и к чему она, когда нет воды. А вода наша, вот она! — И он поболтал содержимое бочонка. Вода свободно плескалась где-то на ладонь-полторы лишь выше дна.

Все молчали. И старик замолчал. Ясно было всем, о чем он хотел сказать: пить воду только раз в день, на самом донышке ковшика, чтобы протянуть подольше, если удастся, превозмочь, переждать напасть тумана. А откроется море, появятся звезды или солнце — тогда видно станет, а вдруг и повезет — дотянут до земли.

Да, так оно получалось. И иного выхода не могло быть! Но легко сказать — перетерпеть, и то, что человек умом приемлет, далеко не всегда приемлет его плоть. Им, страждущим, сейчас хотелось пить, немедленно и не на донышке, а много, очень много хотелось воды.

Орган понимал безвыходность положения, и тяжелее всех было ему самому. Старик высыхал на глазах. Изборожденное складками и морщинами, темно-коричневое лицо его становилось с каждым часом чернее и жестче от боли, идущей

изнутри. В слезящихся глазах появился напряженный, лихорадочный оттенок — нелегко было старику заставить себя выносить такие страдания. Но пока, сохраняя в себе присутствие духа, он держался, как держится на корню умирающее дерево. Однако так не могло долго продолжаться. Необходимо было высказать все, что могло иметь хоть малейшее значение для их спасения.

— Думал я о том, — продолжал он, — что надо все время присматриваться и прислушиваться к воздуху — не пролетит ли вдруг агукук[36]. Агукук — единственная птица, что летает над морем в такую пору. Если мы находимся между каким-нибудь островом и землей, то полет агукук может указать нам путь. Любая птица в открытом море летит только по прямой дороге. Никуда не сворачивая, только прямо. И агукук тоже.

— А если мы не находимся между островом и землей? — мрачно спросил Мылгун, все так же не поднимая головы.

— И тогда не видать нам ее, — опять же спокойно ответил Орган.

Кириск хотел уточнить, а зачем, мол, агукук станет летать над морем, по какой нужде такой,

---

[36] Примечания: 36
Агукук — полярная сова.

но Мылгун опередил его.

— А если агукук забудет летать над нами, а, аткычх, — мрачно насмехался Мылгун, — а вздумает пролететь стороной, вон там где-нибудь, тогда как?

— И тогда не видать нам ее, — опять же спокойно ответил Орган.

— Значит, не видать? — удивляясь, озлоблялся Мылгун. — Стало быть, и так и эдак, но агукук нам не видать? Так чего же, спрашивается, мы торчим здесь? — озлобляясь все больше, бормотал Мылгун, потом громко захохотал, потом умолк. Всем было не по себе. Все молчали, не зная, как быть.

Мылгун тем временем что-то надумал. Выбил ударом ладони из-под низу весло из уключины, затем взобрался зачем-то на нос лодки и стал там во весь рост, балансируя веслом. Никто ничего не сказал ему. И он ни на кого не обращал внимания.

— Э-эй, ты, сука! — закричал он во гневе. — Э-эй, ты, Шаман ветров! — угрожая веслом, кричал он что есть мочи в туманную мглу. — Если ты хозяин ветров, а не падаль собачья, то где твои ветры? Или ты подох в берлоге своей, сука, или обложили тебя кобели со всего света, и не знаешь, которому подставить, или склещаешься со всеми

подряд, сука, и некогда тебе ветры поднять, или забыл ты, что мы здесь, в тумане гиблом, как в яме, сидим? Или не знаешь ты, что с нами малый, как же так?! Он хочет пить, он хочет воды! Воды, понимаешь?! Я же тебе говорю, с нами малый, он первый раз в море! А ты так с нами поступил?! Разве это честно? Отвечай, если ты хозяин ветров, а не тюленье дерьмо вонючее! Посылай свои ветры! Слышишь? Убирай туманы себе под хвост. Ты слышишь меня? Посылай бурю, собака, самую страшную бурю — Тлангила посылай, сука, опрокидывай нас в море, пусть волны погребут нас, сука паршивая! Ты слышишь? Ты слышишь меня?! Плевать мне, плюю и мочусь я в твою морду косматую! Если ты хозяин ветров, посылай нам свою бурю, потопи нас в море, а нет — ты сука последняя, а я кобель, еще один кобель, только я тебя не стану, на-ка, вот, на тебе, на, на, на, выкуси, выкуси!

Вот так, последними словами поносил Мылгун Шамана ветров, неведомо где существующего и неведомо где укрывающего подвластные ему ветры. Долго еще, до хрипоты, до изнеможения кричал и выходил из себя Мылгун, издеваясь, оскорбляя и одновременно выпрашивая ветра у хозяина ветров.

Потом он с силой отшвырнул весло в море и, усаживаясь на свое гребное место, громко и страшно зарыдал вдруг, уткнувшись лицом в руки. Все беспомощно молчали, а он захлебывался в рыданиях, выкрикивая имена своих малых детей, а Кириск, никогда не видевший мужчину в плаче, задрожал от страха и со слезами на глазах обратился к Органу:

— Аткычх! Аткычх! Зачем он так, зачем он плачет?

— Не бойся, — успокаивал старик, сжимая руку мальчика. — Это пройдет! Скоро он перестанет. А ты не думай об этом. Это тебя не касается. Это пройдет.

И вправду, Мылгун стал утихать понемногу, но лица не отнимал от рук и, всхлипывая, судорожно вздергивал плечами. Эмрайин медленно подводил лодку к плавающему на воде веслу. Он подбил весло к лодке, поднял его и установил на место, в уключину.

— Успокойся, Мылгун, — сочувственно говорил ему Эмрайин. — Ты прав, лучше в бурю попасть, чем томиться в тумане. Ну подождем еще, а вдруг да откроется море. Что ж делать…

Мылгун ничего не отвечал. Он все ниже и ниже ник головой и сидел согнувшись, как помешан-

ный, боящийся взглянуть перед собой.

А туман все так же бесстрастно и мертво висел над океаном, скрывая мир в великой оцепеневшей мгле. И никакого ветра, никаких перемен. Как ни донимал, как ни бранил, ни поносил Мылгун Шамана ветров, тот остался ко всему тому и глух и безучастен. Он даже не разгневался, не шевельнулся, не обрушил на них бурю…

Эмрайин тихо нагребал своей парой весел, чтобы не стоять на месте, лодка скользила по воде едва-едва заметно. Орган молчал, ушел в свои мысли, быть может, опять и, быть может, в последний раз в жизни думал он о своей Рыбе-женщине.

От невеселых стариковских размышлений отвлек его Кириск.

— Аткычх, аткычх, а зачем агукук летает на острова? — тихо спросил он.

— А, я и забыл тебе сказать. В таком большом тумане только агукук может летать над морем. Агукук летает на острова охотиться, а иной раз малых детенышей нерпичьих схватывает. У агукук глаза такие — и в тумане, и темной ночью видит, как днем. На то она сова. Самая большая и самая сильная сова.

— Вот бы и мне такие глаза, — прошептал сухи-

ми губами Кириск. — Я бы сейчас разглядел бы, в какую сторону нам плыть, и мы быстро доплыли бы к земле и стали бы пить, пить много и долго… Вот бы и мне такие глаза…

— Эх, — вздохнул Орган. — Каждому даны свои глаза.

Они замолчали. И спустя много времени, как бы возвращаясь к этому разговору, Орган сказал, глядя в лицо мальчику:

— Тебе очень тяжко? Ты потерпи. Если выдержишь, будешь великим охотником. Потерпи, родной, не думай о воде, думай о чем-нибудь другом. Не думай о воде.

Кириск послушно старался не думать о воде. Но ничего не получалось. Чем больше пытался он не думать, тем сильней хотелось пить. И очень хотелось есть, даже дурно становилось. И от этого хотелось орать, как Мылгун, на весь мир.

Вот так протекал тот день. Все время ждали, все время надеялись, что вдруг послышится издали шум волны, и ударит свежий ветер, и угонит туман на другой конец света, а им откроет путь к спасению. Но на море царила тишина, такая неподвижная, гиблая тишина, что становилось больно в голове и ушах. И все время, беспрерывно, бесконечно хотелось пить. Это было чудовищно:

находясь среди безбрежного океана, они погибали от жажды.

К вечеру Мылгуну стало плохо. Он совсем не разговаривал, и глаза его были бессмысленны. Пришлось налить ему немного воды, чтобы промочил горло. Но, глядя на Кириска, который при этом не мог оторвать взгляда от ковша, Орган не удержался, налил и ему на донышке, а потом и Эмрайину. А сам так и не взял в рот ни капли. В этот раз, поставив бочонок с остатком воды под скамью, он долго сидел неподвижно, по-особому сосредоточенный и ясный, занятый какими-то иными, высокими мыслями, точно бы вовсе не испытывал никакой жажды и никаких мучений плоти. Он сидел на корме молчаливый, несуетный, как одинокий сокол на вершине скалы. Он уже знал, что предстоит ему, и потому, собираясь с духом, сохранял в себе остатки сил перед последним делом своей жизни. Очень не хватало трубки в такой час. Закурить, подымить хотелось старику напоследок, думая думу о ней — о своей Рыбе-женщине…

Где ты плаваешь, Великая Рыба-женщина?

Он знал себя, знал, на сколько хватит еще сил

и достоинства на пороге Предела. Единственное, что пока воздерживало его от задуманного, — Кириск, так привязавшийся за эти дни и все время льнущий под бок в поисках защиты и тепла. Мальчишку было жалко. Но ради него надо было идти на это…

Так завершался тот долгий, безрадостный, последний день старейшины Органа.

Уже вечерело. Еще одна ночь наступала.

Но и в эту ночь погода оставалась по-прежнему без изменений. Туман на море пребывал все в том же состоянии невозмутимого оцепенения. И опять надвигалась глухая вечерняя тьма, а за ней предстояла невозможно долгая, невыносимая, жуткая ночь. Но если бы вдруг среди ночи ударил ветер, пусть шторм, пусть что угодно, только бы открылось небо и увидеть бы звезды! Однако ночь ничего не предвещала, не заметно было никакой волны на воде, никакого дуновения в воздухе — все замерло в нескончаемой тишине и в нескончаемой тьме. Одинокая, заблудшая во мраке лодка с измученными, умирающими от жажды и голода людьми медленно кружилась в тумане, в полной безвестности и обреченности…

Кириск не помнил точно, когда он уснул. Но засыпал долго, томясь, изнывая от нестерпимой

жажды. Казалось, во веки веков не будет конца этим снедающим его заживо мукам. Нужна была только вода! Только вода — и ничего другого! Чувство голода постепенно притуплялось, как глухая, ушедшая внутрь боль, а жажда разгоралась чем дальше, тем с большей силой. И ничем нельзя было унять ее.

Вспомнилось Кириску, что в детстве, когда он однажды тяжко заболел и лежал в горячем поту, ему было так же плохо и очень хотелось пить. Мать не отходила от его изголовья ни на шаг, все прикладывала мокрую тряпку к его пылающему лбу, плакала украдкой и что-то пришептывала. В полутьме, при свете жировника, в зыбком, мерцающем мареве склонялось над ним озабоченное лицо матери, отца не было — он находился в море, — а Кириску хотелось, чтобы дали пить и чтобы быстрее вернулся отец. Но ни то, ни другое желание его не исполнялось. Отец был далеко, а пить мать ему не давала. Она сказала, что пить ему нельзя ни в коем случае. Она смачивала тряпицей его спекшиеся губы, но это облегчало его страдания лишь на мгновение. И снова хотелось пить и становилось невыносимо.

Мать уговаривала его, упрашивала не пить воды, говорила, что надо перетерпеть и тогда

болезнь отойдет.

— Потерпи, родной! — говорила она. — И к утру тебе станет лучше. Ты повторяй про себя: «Синяя мышка, дай воды». Вот посмотришь, легче будет. Попроси, родной, синюю мышку, пусть прибежит и пусть принесет тебе воды… Только ты хорошенько попроси…

В ту ночь, борясь с жаждой, он шептал это заклинание, ожидая, что синяя мышка и вправду прибежит и принесет ему пить. Он все повторял и умолял синюю мышку: «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» Потом он бредил, метался в жару. И все просил: «Синяя мышка, дай воды!» Она не появлялась очень долго, а он все шептал, звал ее, плакал и просил: «Синяя мышка, дай воды!» И наконец она прибежала. Синяя мышка была прохладная, неуловимая, как ветерок над полуденным ручьем в лесу. Разглядеть ее было трудно, она оказалась вся голубая, воздушная и порхала, как бабочка. Мышка прикасалась, порхая, мягкой шерсткой к лицу, к шее, к телу и тем приносила облегчение. Кажется, она дала ему испить воды, и он долго и ненасытно пил, а вода прибывала, бурлила вокруг, захлестывала его с головой…

Утром он проснулся со светлым, легким ощу-

щением на душе, выздоровевший, хотя и сильно ослабевший. И долго потом не выходила из памяти мальчика эта синяя мышка-водонос, прибегавшая той ночью, когда ему было очень худо, чтобы напоить и излечить его…

Теперь он вспомнил об этом, иссыхая, сгорая от жажды в лодке. Вот бы опять появилась синяя мышка! И с пронзительной тоской и горестью подумал в тот час о матери, заронившей в душу его надежду на синюю мышку-поилицу. Он с жалостью вспоминал, как мать склонялась над ним, когда ему дышалось так тяжко и так хотелось пить. Каким печальным и до слез преданным было ее лицо, с какой тревогой, с какой готовностью сделать для него все, что только сумеет, смотрела она на него с мольбою и с затаенным страхом. Что теперь с ней, как там она сейчас? Убивается, плачет, ждет-пождет у моря… А море ничего не скажет. И никто не в силах помочь ей в такой беде. Только женщины и дети, наверно, палят еще костры на кручах Пегого пса и тем еще обнадеживают ее, а вдруг да и грянет счастье — вдруг да и объявятся у берегов пропавшие в море.

А они тем временем медленно кружили на лодке в безжизненном, аспидно-черном пространстве, медленно утрачивая во мгле ночного

тумана последние надежды на спасение. Нет, слишком неравны были силы — мрак вечности, существующий еще до появления Солнца во Вселенной, и четверо обреченных в утлой ладье… Без воды, без пропитания, без путеводных звезд среди океана…

Никогда не видел Кириск такой черной черноты на свете и никогда не предполагал за свою короткую жизнь, что так жестоки страдания неутоленной жажды. Чтобы как-то совладать с собой, Кириск стал думать о той синей мышке-поилице, которая когда-то вызволила его, напоив и исцелив…

«Синяя мышка, дай воды!» — Он принялся без устали нашептывать про себя это удивительное заклинание, которому научила его мать: «Синяя мышка, дай воды! Синяя мышка, дай воды!» И хотя чуда не происходило, он продолжал истово молить и звать синюю мышку. Теперь она стала его надеждой и заговором против жажды…

Синяя мышка, дай воды!

Заговаривая себя, пытаясь таким способом отвлечься, мальчик то задремывал, то просыпался, невольно прислушиваясь урывками среди сна к разговору Органа и Эмрайина. Они о чем-то

тихо и долго разговаривали. То был странный, непонятный разговор, с долгими паузами молчания, с недосказанными и порой невнятными словами. Кириск отчетливей разбирал слова Органа, приткнувшись у него под боком, — старик говорил с трудом, тяжело дыша, но с упорством преодолевая хрипы и клокотание в горле, а отца слышал хуже — тот находился подальше, на своих веслах.

— Не мне тебя учить, но подумай, аткычх, — горячо шептал Эмрайин, точно бы кто-то мог их услышать здесь. — Ты же умный человек.

— Думал, крепко думал, так будет лучше, — отвечал Орган, оставаясь, по-видимому, все-таки при своем мнении.

Они ненадолго умолкли, и потом Эмрайин произнес:

— Мы все в одной лодке — всем нам должна выйти одна судьба.

— Судьба, судьба, — с горечью пробормотал старик. — От судьбы не уйдешь, известно, — говорил он с хриплым придыханием в голосе, — но на то она судьба — хочешь покорись, хочешь нет. Раз нам конец — кому-то можно и самому поторопить судьбу, чтобы другие повременили. Сам подумай, а вдруг пути откроются, пустишься

из последних сил, и земля будет уже на виду, и не хватит нескольких глотков воды душу дотянуть, разве разумно, разве не обидно будет?!

Эмрайин что-то ответил невнятное, и они замолчали.

Кириск пытался уснуть и все звал свою синюю мышку. Ему казалось, что она появится, когда он будет спать… Но сон не шел.

Синяя мышка, дай воды!

— Ну, как там Мылгун? — спросил Орган.

— Да все так же — лежит, — ответил ему Эмрайин.

— Лежит, говоришь. — И, повременив, старик промолвил, напоминая: — Придет в себя — передай ему.

— Хорошо, аткычх. — Голос Эмрайина при этом дрогнул, он с усилием прокашлялся. — Все передам, как было сказано.

— Скажи ему, что я уважал его. Он большой охотник. И человек недурной. Я всегда уважал его.

Опять они замолчали.

Синяя мышка, дай воды!

Эмрайин потом что-то сказал, Кириск не совсем расслышал его слова, а Орган ответил тому:

— Нет, не смогу ждать. Разве не видишь? Сил не хватит. Хорошая собака подыхает в стороне от глаз. Я сам. Я был великим человеком! Это я знаю. Мне всегда снилась Рыба-женщина. Тебе этого не понять… Я хочу туда…

Они еще о чем-то говорили. Кириск засыпал, призывая мышку-поилицу:

Синяя мышка, дай воды!

Последнее, что он слышал, как отец, придвинувшись поближе к Органу, сказал:

— Помнишь, аткычх, как-то купцы приезжали на оленях, топоры меняли и разные вещи. Вот тот, Рыжий большой, говорил, что был в какой-то далекой стране великий человек, который пешком прошел по морю. Ведь были такие люди…

— Значит, он очень великий человек, самый великий из всех великих, — ответил на то Орган. — А у нас самая великая — Рыба-женщина.

Кириск уже спал, но какие-то слова еще смутно доходили до его сознания:

— Подожди. Подумай немного…

— Пора. Я свое пожил… Не удерживай. Сил нет, не вынесу…

— Такая тьма…

— А какая разница…

— У меня еще не все слова кончились к тебе…

— Слова не кончаются. Не кончатся и после нас.

— Такая тьма…

— Не удерживай. Не вынесу, силы уходят. А я хочу сам…

— Такая тьма…

— Вы еще подержитесь, там еще есть немного воды…

Чья-то большая, жесткая и широкая ладонь, ощупью притрагиваясь, осторожно легла на голову мальчика. Он понял спросонья: то была рука Органа. Теплая, увесистая рука некоторое время покоилась на его голове, как бы желая защитить и запомнить ее, голову Кириска…

Снилось Кириску, что он шел пешком по морю. Шел туда, где должна быть земля, чтобы напиться воды. Шагал, не проваливаясь, не утопая. Дивное и странное было видение вокруг. Чистое, сияющее море простиралось повсюду, куда только достигали глаза. Кроме моря, кроме морской воды, ничего на свете не существовало. Только море и только вода. И он шел по той воде, как по твердой земле. Волны плавно катились под

солнцем, отовсюду, со всех сторон. Не угадать, откуда появлялись волны и куда они уходили.

Он ступал по морю в полном одиночестве. Вначале ему показалось, что он побежал впереди Органа, Эмрайина и Мылгуна, чтобы поскорее найти воду и поскорее позвать их. Но потом он понял, что оказался здесь в совершенном одиночестве. Он кричал, звал их, но никто не откликался. Ни души, ни звука, ни тени… Он не знал, куда они исчезли. И от этого ему стало страшно. Докричаться не мог. И земли не видно было нигде, ни в какой стороне. Он побежал по морю, тяжело дыша, истрачивая силы, но никуда не приближался, оставался на месте, пить хотелось все сильней и нестерпимей. И тут он увидел летающую над ним птицу. То была утка Лувр. Она с криком носилась над морем в поисках места для гнезда. Но нигде не находила ни клочка суши. Кругом плескались бесконечные волны. Утка Лувр жалобно стонала и металась.

— Утка Лувр! — обратился к ней Кириск. — Где земля, в какой стороне, мне хочется пить!

— Земли еще нет на свете, нигде нет! — отвечала утка Лувр. — Кругом только волны.

— А где остальные? — спросил мальчик об исчезнувших людях.

— Их нет, не ищи их, их нигде нет, — отвечала утка Лувр.

Непередаваемое словами жуткое чувство одиночества и тоски охватило Кириска. Ему хотелось бежать отсюда куда глаза глядят, но бежать было некуда, только вода и волны обступали со всех сторон. Утка Лувр исчезала вдали, превращаясь в черную точку.

— Утка Лувр, возьми меня с собой, не оставляй меня! Я хочу пить! — взмолился мальчик.

Но она не отзывалась и вскоре скрылась над морем, в поисках не существующей еще земли. А солнце слепило глаза.

Он проснулся в слезах, все еще всхлипывая и испытывая тяжесть безысходной тоски и страха. Медленно открыл заплаканные глаза, понял, что видел сон. Лодка слегка покачивалась на воде. Сереющая туманная мгла нависала и обступала со всех сторон. Значит, ночь минула, приближалось утро. Он шевельнулся.

— Аткычх, я хочу пить, я видел сон, — пробормотал он, протягивая руку к старику Органу. Рука его никого не обнаружила. Место Органа на корме было пусто.

— Аткычх! — позвал Кириск. Никто не отозвался. Мальчик поднял голову и встрепенулся: — Ат-

кычх, аткычх, где ты?

— Не кричи! — разом придвинулся к нему Эмрайин. Он обнял сына, крепко прижал его к груди. — Не кричи, аткычха нет! Не зови его! Он ушел к Рыбе-женщине.

Но Кириск не слушался:

— Где мой аткычх? Где? Где мой аткычх?

— Да послушай же! Не плачь! Успокойся, Кириск, его уже нет, — пытался уговорить отец. — Ты только не плачь. Он сказал, чтобы я тебе дал воды. У нас еще есть немного. Вот ты перестанешь, и я дам тебе попить. Ты только не плачь. Скоро туман уйдет, и тогда вот посмотришь…

Кириск не унимался, отчаянно вырываясь из рук отца. От резких движений лодка закачалась. Эмрайин не знал, как быть.

— Вот мы сейчас поплывем! Смотри, мы сейчас поплывем! Эй, Мылгун, поднимись, поднимись, говорю! Поплыли!

Мылгун стал нагребать. Лодка тихо заскользила по воде. И опять поплыли они неизвестно куда и неизвестно зачем в сплошном, молочном тумане, по-прежнему наглухо затмившем весь белый свет.

Так они встретили новый день. Теперь их оставалось трое в лодке.

Синяя мышка, дай воды!

Потом, когда Кириск немного успокоился, Эмрайин пересел к веслам, и они поплыли в четыре весла чуть быстрее, опять же неведомо куда и неведомо зачем. А Кириск, потрясенный исчезновением старика Органа, все еще горько всхлипывал, сиротливо сидя на корме. Отец и Мылгун тоже были подавлены и ничем и никак не могли помочь ни себе, ни ему, Кириску. Только и нашлись — взяться за весла. Плыли, лишь бы плыть. Лица их были черны в белом тумане. И над всеми ними висела общая, неотвратимая, безжалостная беда — жажда и голод.

Они молчали, ни о чем не говорили. Боялись говорить. Лишь через некоторое время Мылгун бросил весла.

— Дели воду! — мрачно сказал он Эмрайину.

Эмрайин нацеживал из бочонка на донышко ковша каждому по нескольку глотков. Вода была затхлая, с неприятным запахом и гнилым вкусом. Но и той оставалась теперь самая малость. Еще поделить раза три-четыре — не больше. Никто не напился, и никому не стало легче от выпитого.

И опять наступило тягостное, отупляющее ожидание: изменится погода или нет? Уже никто не

высказывал никаких обнадеживающих предположений. Ослабшие и изнуренные, они невольно впадали в безразличие — смиренно ждали своей участи, бесцельно кружа на лодке в гиблом тумане. Оставалось только это — примириться с участью. Туман все больше угнетал и подавлял их волю. Лишь раз, крепко выругавшись, Мылгун проговорил с дрожью и ненавистью в голосе:

— Пусть бы исчез туман, и я готов умереть! Сам выброшусь из лодки. Только бы увидели глаза мои край света!

Эмрайин промолчал, даже головы не повернул. Что было сказать? Теперь он оставался в лодке за старейшину. Но ничего иного предложить он не мог. Некуда было плыть!

Время шло. Лодка теперь дрейфовала сама по себе, то замирая на месте, то снова трогаясь.

И с каждым часом возрастала угроза их жизни — к неутихающей жажде прибавлялся жестокий, разрушительный голод. Силы угасали, уходили из тел.

Кириск лежал на корме с полуприкрытыми глазами. Голова отяжелела, кружилась, дышать было трудно — то и дело схватывали спазмы пустого желудка. И все время хотелось пить. Страсть как хотелось пить.

Синяя мышка, дай воды!

Заклиная и призывая синюю мышку-поилицу, мальчик пытался теперь забыться, теперь он искал спасение в воспоминаниях о той жизни, которая осталась у подножия Пегого пса и которая была теперь недоступной и сказочной.

«Синяя мышка, дай воды!» — шептали его губы, и оттого, что кружилась голова, он представлял себе, как они играли, скатываясь с травянистого буфа, наподобие бревен. О, это была забавная, отличная игра! Кириск был самый ловкий и выносливый в этой игре. Надо было взбежать на крутой бугорок и оттуда катиться с горки, перевертываясь вокруг себя, точно ты ошкуренное бревно, пущенное вниз по склону. Надо плотно прижать руки вдоль тела. Вначале приходится помогать себе, чтобы стронуться с места. Перевернешься раз, два, три, и дальше пойдет — не удержишься. А сам смеешься, хохочешь от удовольствия, а небо накреняется то одним, то другим краем, облака кружатся и мельтешат в глазах, кружатся и валятся деревья, все летит вверх тормашками, а солнце в небе надрывается от смеха. А кругом крики и визг ребят! Катишься, катишься вниз, перевертываясь все быстрей и

быстрей, и в это время до того чудно мелькают то вытянутые лица, то искривленные ноги скачущих следом ребят, и наконец остановка. Ух! Только шум в ушах! И тут самый ответственный момент. До счета — раз, два, три — надо успеть вскочить на ноги и не упасть от головокружения. Обычно все с первой попытки падают. Вот смехуто! Все смеются, и сам смеешься! Хочешь устоять, а земля плывет под ногами. А Кириск не падал. Удерживался на ногах. Старался. Музлук ведь была всегда рядом. Не хотелось при ней валиться с ног, как какому-то слабаку.

Но самое лучшее и самое смешное было, когда они вместе с Музлук наперегонки катились с бугра. Девочки тоже могут скатываться. Только они трусихи, и, бывает, косицами зацепятся за что-нибудь. Но это не в счет. Без синяков не обходится в таком веселом деле.

А когда они вместе с Музлук скатывались, то Кириск нарочно растопыривал незаметно локти, тормозил, чтобы не обгонять ее. Они одновременно докатывались вниз под крики и хохот окружающих, одновременно вскакивали до счета «три» на ноги, и никто не догадывался, какое наслаждение было удерживать Музлук, помогать ей устоять на земле. Они невольно обнимались,

вроде бы поддерживая друг друга. Музлук так весело смеялась, губы ее были такие заразительные, и все время она делала так, чтобы Кириск удерживал ее, она все время изображала, что падает, а он должен был помогать ей устоять на ногах, подхватывая, обнимая ее. И никто не догадывался, какие минуты неведомого счастья и пугающей любви переживали они при этом. Под тонким платьицем бешено колотилось сердце девочки, то и дело соприкасались их тела, и Кириск улавливал, как под руку попадались крохотные, еще только возникающие, тугие грудки и как вздрагивала и быстро льнула она при этом к нему, какие загадочные, сияющие были глаза ее, опьяненные от головокружения. И весь мир — все, что имелось на земле и в небе, — плыл, кружился вместе с ними, купаясь в их несмолкающем смехе и счастье. Никто не догадывался, какое это было удивительное счастье!

И лишь однажды один соплеменник чуть постарше Кириска, ненавистный и презренный, догадался — стал валиться, как дурак, на Музлук — вроде не в силах устоять от головокружения на месте. Музлук отстранялась, убегала от него, а он делал вид, что падает от кружения, догонял ее и валился на нее. Кириск подрался с ним. Тот был

побольше его и несколько раз сбивал его с ног. И все-таки выходила ничья — Кириск не сдавался и не позволил Музлук вступаться за него. Но это случилось лишь однажды…

И еще были отрадные мгновения, когда, наигравшись, потные и разгоряченные, они бежали пить воду из ручья.

Синяя мышка, дай воды!

Ах, синяя мышка, дай воды!

Ручей протекал неподалеку. Из лесу шел он и выходил на то место, где они играли. Вода в нем журчала по камням, сохраняя в беге лесной сумрак и лесную прохладу. Травы, теснясь вокруг, обступали ручей вплотную, до самой проточной воды. Те, что росли с самого края, полоскались в ручье, сопротивляясь вытянутыми стеблями напору радостного течения. И бежал себе ручей бесшабашно в сторону моря, то юрко поблескивая на солнце, то ныряя под крутой, нависающий берег, то скрываясь в зарослях трав и лозняка.

Они разом добегали до ручья и разом припадали к воде, раздвигая травы по сторонам. Некогда там мыть руки и черпать воду пригоршнями, пили по-оленьи, свесив головы к воде, окуная лица в булькающий, ласково щекочущий поток.

Эх, какое это было наслаждение!

Синяя мышка, дай воды!

Синяя мышка, дай воды!

Ах, синяя мышка, дай воды!..

Они лежали у ручья, опустив головы к воде. Их плечи соприкасались вплотную, и руки, опущенные в быструю струю, сливались, точно бы у них была общая пара рук. Они пили, ловя воду губами, с передышками, с упоением насыщаясь и дурачась, булькая ртами в воде. Им не хотелось уходить отсюда, им не хотелось поднимать опущенные головы от чистого потока, в котором они разглядывали свои быстротекущие, неуловимые отражения, улыбались им, смешно искаженным отражениям, и улыбались друг другу.

Синяя мышка, дай воды!

Синяя мышка, дай воды!

Синяя мышка, дай воды!

Ах, синяя мышка, дай воды!..

А Музлук, не поднимая лица от ручья, смотрела на него, лукаво скосив продолговатые глаза, и он смотрел на нее таким же манером и так же лукаво улыбался ей в ответ. Она толкала его пле-

чом, как бы отстраняя его от себя, а он не уступал. Тогда она набирала в рот воды и брызгала ему в лицо. Он делал то же самое: набирал воды еще побольше и с силой выдувал струю ей в лицо. И с этого начиналась безудержная возня и беготня. Они гонялись по воде, забрызгивали друг друга, как могли и сколько могли, и, мокрые с головы до ног, с криком и хохотом носились взад-вперед по ручью…

Синяя мышка, дай воды!

Тяжело было Кириску сознавать, что это больше никогда не повторится. Дышать становилось все труднее, все чаще сводило судорогой желудок. Он тихо плакал и тихо корчился от боли, обращаясь все к той же синей мышке:

Синяя мышка, дай воды!

Так он лежал, пытаясь забыться в грезах. И ничто не изменилось вокруг. Белая пелена тумана все так же неподвижно нависала над ними. Они бессильно валялись в лодке каждый на своем месте. И неизвестно было по-прежнему, что их ждало впереди, когда вдруг лодка сильно вздрогнула, и он услышал испуганный возглас отца:

— Мылгун! Мылгун! Что ты делаешь? Перестань!

Кириск поднял голову и поразился. Мылгун, перевалившись за борт, зачерпывал ковшом морскую воду и пил ее.

— Перестань! — кинулся к нему Эмрайин, собираясь вырвать ковш.

Но Мылгун угрожающе изготовился:

— Не приближайся, Борода! Убью!

Эту горько-соленую воду, которую немыслимо было взять в рот, он пил, обливая одежду, вода лилась на грудь и рукава, пил, давясь, принуждая себя, опрокидывая на себя ковш дрожащими руками. Лицо его при этом звероподобно ощерилось.

Потом он швырнул ковш на дно лодки и откинулся навзничь, заваливаясь, хрипя и задыхаясь. Так он лежал, и помочь ему ничем невозможно было. Кириск от страха сжался в комок, испытывая еще большую жажду и острые рези в животе. А поникший Эмрайин снова взялся за весла и тихо повел лодку куда-то в тумане. Ничего иного предпринять он не мог.

Мылгун то утихал, то снова судорожно вздрагивал, хрипел, погибал от приступа жажды. Через некоторое время он, однако, поднял голову:

— Горит, внутри все горит! — И стал раздирать одежду на груди.

— Ну скажи, что сделать? Как тебе помочь? Там еще есть, — кивнул Эмрайин на бочонок. — Налить немного?

— Нет, — отказался Мылгун. — Теперь уже нет. Хотел дотянуть до ночи и потом, как наш покойный аткычх, но не дотянул. Пусть так. А не то сделал бы что-нибудь не то, выпил бы всю воду. А теперь мне конец, и я уйду. Теперь мне конец… Я сам, я еще в силах…

Среди пустынного моря, в тумане, которому не было ни конца, ни края, ни погибели, страшно и невыносимо было слушать слова человека, обрекшего себя на медленную смерть. Эмрайин пытался как-то успокоить друга и брата своего Мылгуна, что-то сказать ему, но тот не желал его слушать, он торопился, он решил пресечь свои муки одним ударом.

— Ты не говори мне, Эмрайин, ничего, уже поздно! — бормотал Мылгун, как безумный. — Я сам. Я сам уйду. А вы, отец с сыном, вы сами решайте. Так будет лучше. Вы меня простите, что так получается. Вы отец с сыном, вы оставайтесь, еще есть немного воды… А я сейчас перешагну. — И с этими словами Мылгун встал, пригибаясь, держась

за борт лодки. Пошатываясь, собрав в себе силы, Мылгун сказал Эмрайину, глядя исподлобья:

— Ты мне не мешай, Борода! Так надо. Ты мне не мешай. Прощайте. Может быть, дотянете. А я сейчас… А ты сразу гони прочь… Сразу и не жди… Если приблизишься, опрокину. А теперь греби, Борода, греби сильнее. Слышишь, опрокину…

Эмрайину ничего не оставалось, как подчиниться угрозам и мольбам Мылгуна. Лодка пошла по прямой, рассекая бесшумный туман и бесшумную воду. Кириск жалобно заплакал:

— Аки-Мылгун! Аки-Мылгун! Не надо!

И именно в эту минуту Мылгун решительно перевалился за борт лодки. Лодка сильно накренилась и снова выправилась.

— Прочь! Прочь уплывайте! — закричал Мылгун, барахтаясь в ледяной воде.

Туман сразу скрыл его с глаз. Все затихло, и потом в звенящей тишине еще раз раздался голос, последний выкрик утопающего! И тут Эмрайин не выдержал:

— Мылгун! Мылгун! — откликнулся он и, рыдая, развернул лодку назад.

Они быстро вернулись, но Мылгуна уже не было. Поверхность воды была пуста и спокойна, будто бы ничего и не произошло. И уже трудно

было определить то место, где затонул человек.

Весь остаток дня кружили они здесь, никуда не уплывая. Опустошенные и убитые горем, они оба плакали. Первый раз в жизни видел Кириск, как плакал отец. До этого никогда не случалось с ним такого.

— Вот теперь мы одни, — бормотал Эмрайин, утирая слезы с бороды, и никак не мог унять себя. — Мылгун, верный мой Мылгун! — шептал он, всхлипывая…

А день уже клонился к концу. Так оно казалось. Если существовало где-то солнце, если ходило по небу над морями, над туманами, то, должно быть, уже закатывалось спокойно на свое место. А здесь, под плотным покровом тумана, постепенно темнеющего, насыщаясь сумрачной мглой, кружила по морю затерявшаяся без вести одинокая лодка, в которой оставались теперь только двое — отец и сын.

Перед этим, перед тем, как сказать себе, что приближается вечер, Эмрайин наконец решил, что пора им испить воды. Он видел, как тяжко дожидался этого Кириск, и понимал, чего стоило сыну терпеть жажду и голод, пересиливая себя, не проронив ни звука. Гибель Мылгуна на долгое время как бы приглушила мысль о воде. Но

постепенно жажда брала свое и теперь уже разгоралась с удвоенной силой, жестоко возмещая невольную отсрочку мучений.

С чрезвычайной осторожностью, чтобы не пролить напрасно ни единой капли, нацедил он протухшей воды сначала Кириску. Мальчик схватил ковш и тут же проглотил свою долю воды, как одержимый. Затем Эмрайин налил для себя, обнаружив, что воды в бочонке после этого осталось, собственно, на дне. Кириск тоже понял это, судя по наклону бочонка в руках отца. Эмрайин помертвел, пораженный этим, хотя и предполагал, что так оно и должно было быть. Теперь Эмрайин не спешил выпить свою воду. Он задумчиво держал в руке ковш, потрясенный грянувшей вдруг мыслью, с появлением которой утоление жажды уже ничего не значило.

— На, подержи, — передал он ковш сыну, хотя не следовало этого делать. Для мальчика это было равносильно пытке — держать ковш с водой и не сметь выпить. Освободив руки, Эмрайин плотно вогнал пробку и поставил опустевший почти до дна бочонок на свое место.

— Выпей, — предложил он сыну.

— А ты? — удивился Кириск.

— А я потом. Ты не думай ничего, выпей, — спо-

койно сказал отец.

И Кириск снова без промедления проглотил и эту порцию вонючей воды. Жажда не утолилась, как хотелось бы, но все же он почувствовал какое-то небольшое облегчение.

— Ну как? — спросил отец.

— Немножко лучше, — благодарно прошептал мальчик.

— Ты не бойся. И запомни, даже совсем без капли воды во рту человек может протянуть два-три дня. И что бы то ни было, ничего не бойся…

— Потому ты не выпил? — перебил его Кириск.

Эмрайин растерялся, застигнутый врасплох этим вопросом. И, подумав, сказал коротко:

— Да.

— А без еды сколько? Мы уже не едим давно.

— Лишь бы вода была. Но ты не думай об этом. Давай-ка мы лучше поплывем немного. Я хочу с тобой поговорить.

Эмрайин заскрипел веслами, и они медленно потащились в тумане по морю, точно не могли поговорить на том месте, где они находились. Отцу предстояло собраться с духом. Ему казалось, что так будет легче сосредоточиться, подготовить себя к тому разговору, при одной мысли о котором тягостно холодело внутри. Не только

сам нагребал, но и сыну велел сесть за весла. Необходимости в этом никакой не было, так же как не было необходимости куда-то плыть. Мальчик с трудом ворочал непомерно большими для него морскими веслами. С одним он бы еще мог управиться, а для пары пока не подрос. К тому же чувствовалось, мальчишка заметно ослаб, как и сам он слабел час от часу. Это-то и вынуждало отца торопить события. Время уходило, время истекало.

Кириск молчал и не оглядывался, невпопад проворачивая тяжелые весла. Но не это терзало Эмрайина. Глядя на сына со спины, на эту согбенную и, как теперь он заметил, все еще по-детски щуплую, беззащитную фигурку, он кусал себе губы, и сердце его, он это явственно ощутил, обливалось кровью — горячим, пульсирующим потоком боли. Но начать разговор он не смел, хотя и не было иного выхода…

Постепенно видимость в недрах тумана снижалась, а Эмрайин все плыл в тяжком раздумье, и времени у него оставалось действительно мало. Как ни крепился он, каким бы ни был могучим от природы, жажда и голод быстро одолевали, быстро съедали его силы. Надо было успеть подготовить сына к тому, что он обдумывал в тот час,

надо было сделать это, пока сам был в состоянии держаться и проявлять волю.

Он понимал, что и ему предстоит вслед за Органом и Мылгуном покинуть лодку, что это единственная возможность если не сохранить, то хотя бы продлить жизнь сына настолько, насколько оставалось на дне бочонка той немногой воды. Он не мог сказать себе, развеется ли туман этой ночью или следующим днем, и уж вовсе не мог сказать себе, что предстоит сыну впереди, если даже наладится рано или поздно погода, как, каким образом, оставшись один в море, смог бы он выжить и спастись. На это ответа не существовало. Единственная надежда, маловероятная, а то и вовсе несбыточная, в которой он пытался уверить самого себя, состояла в том, что, если откроется море, быть может, случайно встретится большая лодка белых людей. По слухам, он знал, что белые люди иной раз появлялись в этих водах — проплывали океаном, вдалеке от их берегов, плыли по каким-то своим делам, из каких-то далеких стран в какие-то другие далекие страны. Сам он никогда не встречался с ними, но рассказывали об этом купцы, которые все на свете знают, а иные из них сами якобы плавали на этих огромных, как горы, лодках белых людей.

Только такое чудо, если разгуляется погода, если совпадут пути, если заметят белые люди маленький каяк-долбленку в океане, только это могло быть надеждой, слабой, невероятной, почти невозможной, но все-таки какой-то надеждой.

Об этом и собирался поведать Эмрайин сыну перед тем, как покинуть его. Необходимо было еще убедить Кириска, строго-настрого наказать ему, чтобы он оставался в лодке до самого последнего дыхания, пока сознание будет при нем. И если суждено ему умереть, когда кончится вода, то умереть он должен в лодке, а не выбрасываться в море, как вынуждены были поступить старик Орган, Мылгун и как поступит он, его отец. Никакого иного выхода не было. Требовалось повиноваться, примириться с жестокостью судьбы… Однако при мысли, что одиннадцатилетний мальчик останется в лодке один на один со всем светом, в беспроглядном тумане, в безбрежном море, медленно умирая от жажды и голода, Эмрайина охватывала оторопь. С этим невозможно было примириться, то было выше всяких сил. И тогда он ловил себя на мысли, что не сможет оставить сына одного, лучше умереть вместе с ним…

Вскоре стало совсем темно. Опять воцарилась в море черная чернота туманной ночи. Если бес-

смысленно плыть куда-либо днем по туману, то тем более бессмысленно это ночью. Лодка тихо покачивалась на месте. И опять никаких признаков того, что погода изменится. Море лежало бездыханное.

Отец с сыном примостились на ночь на дне лодки, тесно прижавшись друг к другу. Не спали ни тот, ни другой. Каждый думал, мучимый жаждой и голодом, что ожидает их впереди…

Лежа рядом с отцом, Кириск остро ощутил, как здорово исхудал и извелся отец за эти дни, как уменьшился телом и обессилел. Только и осталась борода — по-прежнему жесткая и упругая. Прижимаясь к отцу, тихо сглатывая слезы от жалости к нему, мальчик постиг той ночью неведомые прежде чувства изначальной сыновней привязанности. Он не смог бы выразить эти чувства словами — они таились в душе, в крови, в сердцебиении его. Прежде он всегда гордился, что похож на отца, подражал ему и мечтал быть таким, как отец, а теперь он приходил к пониманию, что отец — это он сам, это его начало, а он продолжение отца. И потому ему было больно и жалко отца, как самого себя. Он воистину заклинал синюю мышку, чтобы она принесла им воды — и ему и отцу:

Синяя мышка, дай нам воды!
Синяя мышка, дай нам воды!

Отец же о воде для себя уже не думал, хотя с каждым часом все тяжелей переносил страдания неутоленной, все возрастающей, уже физически невыносимой жажды. Внутри все горело, пересыхало и сжималось железной, необратимой спазмой. В голове поднимался гул. Теперь он понимал последние муки Мылгуна. И однако, не о том была его дума. Думать о воде, желать напиться досыта теперь для него уже не имело смысла. И уже давно бы прервал он эти безысходные мучения, если бы не сын, если бы он мог принудить себя оставить сына, примостившегося у него под боком этой темной последней ночью. Ради сына, пусть не имеющего никаких надежд на спасение и все-таки и вопреки этому оберегаемого им до наипоследней возможности, ради того, чтобы сколько-нибудь продлить ему жизнь, и в том теперь заключалась безотчетная борьба и надежда отца, в том теперь он видел свою последнюю волю и деяние, ради всего этого он должен был поскорее покинуть лодку. Но именно из-за него, из-за сына, он не мог на то решиться, не смея бросить его на произвол судьбы. Но и мед-

лить, тянуть дальше тоже становилось опасно — уходили последние силы, необходимые, чтобы собраться с духом…

Время жить у отца истекало…

Как, какими словами было объяснить это сыну? Как сказать ему, что он оставит его ради него?..

Время жить у отца истекало…

— Отец! — прошептал вдруг Кириск, будто бы отгадывая его мысли, и еще крепче прижался к отцу, заклиная свою синюю мышку:

Синяя мышка, дай нам воды!

Синяя мышка, дай нам воды!

Эмрайин, стискивая зубы, застонал от горя и не посмел ничего сказать. Мысленно он прощался с сыном, и чем дольше прощался, тем труднее, тем мучительнее было подняться на последний шаг. Этой ночью он понял, что, оказывается, вся его предыдущая жизнь была предтечей нынешней его ночи. Для того он и родился и для того он умирал, чтобы из последних сил продлить себя в сыне. Об этом он думал в тот час, молча прощаясь с сыном. Эмрайин совершал для себя открытие — всю жизнь он был тем, кто он есть, чтобы до последнего вздоха продлить себя в сыне. И если он не думал об этом раньше, то лишь потому, что

не было на то причин.

И тут он вспомнил, что были и прежде случаи, когда мысль эта проскальзывала в сознании, как молния по небу. Он вспомнил и понял теперь то, что произошло с ним однажды, когда они с покойным Мылгуном и другими соплеменниками рубили великое дерево в лесу. Дерево стало валиться, а он по чистой случайности оказался в тот момент на той стороне, куда заваливалось, сокрушая все вокруг, это поверженное дерево-гигант. Все закричали в голос:

— Берегись!

Эмрайин оцепенел от неожиданности, и было уже поздно: треща, громыхая рвущейся кроной, обрушивая и опрокидывая само небо, вырывая кусок зеленого лесного потолка вверху, дерево медленно и неумолимо падало на него. И он подумал в то мгновение лишь об одном, что Кириск — тогда он был малышом и единственным ребенком, Псулк еще не родилась, — он подумал тогда, в те считаные секунды, на пороге неминуемой смерти, подумал только об этом, и ни о чем другом он не успел подумать, что сын — это то, что будет им после него. Дерево рухнуло рядом с грозным гулом, обдав его волной листьев и пыли. И тут все облегченно вскричали. Жив остался,

жив и невредим Эмрайин!

Теперь, вспомнив об этом случае, он понял, что именно появление сына сделало его таким, какой он есть, и что ничего лучшего и более сильного он не испытывал в жизни, нежели отцовские чувства. За это он был благодарен детям, и прежде всего сыну, Кириску. Эмрайину хотелось рассказать Кириску об этом, но он не стал его тревожить. Мальчику и без того было худо…

Время жить у отца истекало…

Синяя мышка, дай нам воды!

Синяя мышка, дай нам воды!

Время жить у отца истекало…

Осталось еще два-три дорогих воспоминания, с которыми трудно было ему расставаться. И он не хотел уходить туда, не подумав об этом, хотя время уже поджимало. Теперь он прощался с воспоминаниями, постоянно помня, что пора покидать лодку…

Он любил жену с первых дней. Удивительное было в том, что, находясь в море, он думал, оказывается, о том же, о чем думала она дома. Так было с первых дней. Она знала, о чем он думал, находясь в плавании, так же, как он знал о ее мыслях… Это узнавание на расстоянии было их тайной и

никому не ведомым счастьем близости.

Когда Кириск еще не родился, но появились первые признаки, которые могли подтвердиться и не подтвердиться, он сразу сказал, вернувшись, жене:

— У нас будет мальчик?

— Тише, кинры услышат! — перепугалась она, и глаза ее налились радостью. — Откуда ты знаешь?

— Ты думала об этом сегодня. Ты этого очень хочешь.

— А ты?

— Ты же знаешь, что я знаю, о чем ты думала, и я думал об этом же.

— А я думала потому, что ты думал об этом и очень хотел этого…

Так оно и случилось. Сбылось их предчувствие. Кириска еще не было, но он должен был вскоре появиться. И тот срок постепенно приближался. В те дни жена ходила в его старых кожаных штанах, видавших виды, латаных-перелатаных. Это для того, объясняла она, чтобы присутствовал его мужской дух, когда он уходит на промысел, а не то плохо будет расти тот, кто должен появиться. В те дни жена в его старых кожаных штанах была самой красивой и желанной. Самой красивой и

самой желанной!

Славные, тревожные и радостные были те дни, когда они думали о том, кто должен был сделать их отцом и матерью…

То был Кириск…

С ним и со всем, что было связано с ним, предстояло теперь разлучиться навеки.

И еще, когда Кириск уже подрос, мать как-то, рассерженная им, сказала, что, когда его не было, ей было гораздо лучше без него.

Мальчика это очень обидело.

— А где я был, когда меня не было? — пристал он к отцу, когда тот вернулся с моря.

Вот смеху-то… Смеялись они с женой молча, лишь глазами. Особенно ей доставляло удовольствие, что он никак не мог ответить и не знал, как ему быть, как объяснить мальчику, где он был, когда его не было.

Теперь бы отец ему сказал, что он был в нем, когда его не было на свете, что он был в его крови, в его пояснице, откуда он истек в чрево матери и возник, повторяя его, и что теперь, когда он сам исчезнет, он останется в сыне, чтобы повторяться в детях его детей…

Да, так бы ему и сказал и был бы счастлив сказать перед смертью именно так, но теперь всему

приходил конец. Его роду приходил конец. Самое большее, жизнь Кириска могла продлиться еще на день, два, но не дольше, отец это хорошо понимал. И в том заключалась для него непримиримая беда и несчастье, а не в том, что приходилось покидать лодку ради сына…

И еще хотелось Эмрайину внушить напоследок сыну, чтобы он с благодарностью думал в оставшееся для него время о старике Органе и аки-Мылгуне. Людей этих уже нет, им все равно, вспоминает ли о них кто или не вспоминает, но думать так следует для самого себя. Даже за мгновение перед смертью надо думать об этом для самого себя. Умирать надо, думая для себя о таких людях.

Но потом он решил, что, быть может, сын сам догадается об этом…

Когда Кириск проснулся, он удивился, что спалось ему теплее, чем в предыдущие ночи. Он был укрыт отцовской кухлянкой. Мальчик открыл глаза, поднял голову — отца в лодке не было. Он рванулся, шаря по лодке, и закричал жутким воплем, горестно огласившим безмолвную пустыню туманного моря. И долго не смолкал его одинокий, полный отчаяния и боли вопль. Он плакал страшно, до изнеможения, а потом упал на дно

лодки, хрипя, и бился головой о борт. То была его плата отцам, его любовь, его горе и причитание по ним…

Мальчик лежал на дне лодки, не поднимая головы, не открывая глаз. Ему некуда было смотреть и некуда было деваться. Кругом все так же расстилался белесый туман, и лишь море в этот раз нерешительно пошевеливалось, покачивая и кружа лодку на месте.

Кириск плакал, сокрушаясь и упрекая себя в том, что уснул, что если бы он не уснул, то никогда и ни за что не пустил бы отца, вцепился бы руками и зубами и не отпустил бы его, пусть бы они погибли вместе, пусть бы скорее умерли от жажды и голода, но только бы не оставаться одному в полном и страшном одиночестве. Ругал и упрекал себя, плача, что не проснулся, не вскочил и не закричал, когда ночью вдруг он почувствовал, как сильно дернулась и закачалась лодка от резкого толчка. Разве он допустил бы, чтоб отец выбросился в море! Разве он не кинулся бы с ним вместе в эту черную пучину!

Потом он забылся постепенно, плача и трясясь всем телом. И через некоторое время с новой силой, как бы возмещая свое отступление перед горем, начался приступ жажды. Он даже во сне

чувствовал, как изнывал и страдал от безводья. Жажда одолевала, жажда терзала и душила его. Тогда он почти вслепую дополз до бочонка и обнаружил, что пробка слегка приослаблена, чтобы легче было ее вытащить, и ковш был рядом. Он налил себе воды и, ни о чем не думая, напился, разнимая тем слипшиеся губы и спазмы глотки. Хотел еще налить и еще выпить, но раздумал, сумел остановить себя. Водицы оставалось еще раза на два попить…

Потом он сидел уныло и думал о том, почему отец ушел, не сказав ничего. Ведь вместе с отцом ему было бы легче утонуть, чем теперь, когда одиночество и страх сковали его руки и ноги и когда он так страшится переступить за борт лодки. Он решил, что сделает это, как только соберется с силами…

Был уже полдень, а может быть, чуть больше полдня. Так казалось Кириску, судя по светлеющим тонам тумана. Значит, солнце сияло где-то в зените. Однако солнечные лучи не пробивали пока толщу Великого тумана в его великом оцепенении над океаном. Туман становился жиже, голубоватым, как дым от усохших дров. И все равно далее двадцати-тридцати саженей ничего не различить было, кроме темной, колышущейся

воды вокруг.

Плыть было некуда, да он и не справился бы теперь с веслами. Он с грустью посмотрел на отцовские и мылгуновские весла, аккуратно заставленные по бортам. Лодка дрейфовала теперь сама по себе, двигаясь в тумане в неизвестном направлении. И со всех сторон обступало мальчика одиночество, и кругом царил безысходный страх, холодящий душу.

Позднее, к вечеру, ему опять нестерпимо захотелось пить. И голова шла кругом от голода и слабости. Ему не хотелось ни двигаться, ни глядеть по сторонам. Да и некуда и не на что было смотреть. И даже трудно стало добраться до бочонка. Он пополз на коленях и остановился от усталости. Кириск понимал, что скоро не сможет и двигаться. Он поднес к лицу руку и ужаснулся: рука его утончилась, уменьшилась, как ссохшаяся шкурка бурундучка.

В этот раз он напился больше, чем следовало бы. Теперь воды осталось на самом дне, еще на один раз, и на том питью наступал конец. Ни капли. Но ему теперь все стало безразлично. Все равно хотелось пить, ненасытно хотелось пить. Острота голода притупилась, и в желудке засела неутихающая, тяжкая, ноющая боль.

Он несколько раз впадал в беспамятство, потом снова приходил в себя. А лодка дрейфовала сама по себе, плыла в тумане, увлекаемая ожившими течениями.

В какой-то момент он всерьез решил броситься в море. Но сил не хватило. Поднявшись на колени, повис на краю борта. И так висел, выпростав руки за борт, но не в силах выкинуть тело свое из лодки. Потом он обессилел настолько, что даже не пытался допить остаток воды в бочонке.

Он лежал на дне лодки и тихо плакал, призывая свою мышку-поилицу:

Синяя мышка, дай мне воды!..

Но синяя мышка не появлялась, и только еще больше хотелось пить. И опять припоминалось ему то лето, когда он голышом купался в ручье. Ведь было ему тогда лет семь, не больше. Лето стояло в тот год жаркое. На опушке леса здорово припекало. Там они собирали ягоду. А потом купались. Мать и сестра ее тоже купались. Они не очень-то стыдились его. Разделись обе и, смугло поблескивая бедрами, прижимая ладони к грудям, боязливо вошли в ручей. И странно вскрикивали, визжали, плескаясь в воде. А когда он бегал вдоль ручья и прыгал с бережка в воду,

они потешались над ним до упаду, особенно мать. «Посмотри, посмотри, — говорила она сестре, — как он похож на него, в точности как сам!» И еще что-то они говорили, озорно перешептываясь и задорно смеясь… А вода текла в ручье нескончаемым потоком, и ее можно было пить досыта и купаться в ней сколько угодно…

Синяя мышка, дай мне воды!..

Чудилось ему, что снова он у того ручья. И вроде бы снова жарким летом купается в нем голышом. Вот он бежит берегом, прыгает в поток, но не ощущает прохлады струи. То какая-то неуловимая, невещественная вода, то туман. Он купается в тумане. Ему зябко в такой воде. А мать не смеется, а плачет. «Посмотри, посмотри, как он похож на него!» — говорит она кому-то и плачет, горько плачет… Слезы ее солоны, они стекают по лицу…

Ночью Кириск проснулся от качки и шума волн за бортом лодки. Мальчик тихо вскрикнул — он увидел над собой звезды! Первый раз за все эти дни. Они высоко блистали в темном небе, в разрывах туч, проносящихся над морем. И даже луна несколько раз показывалась, быстро ныряя в облаках.

Мальчик был ошеломлен — звезды, луна, ветер, волны — жизнь, движение! И хотя туман еще держался скоплениями, и, когда лодка попадала в такие места, все снова погружалось в мутную мглу, продолжалось это недолго. Тронулся Великий туман, вышел из оцепенения, расползался по свету, гонимый ветром и волнами.

Мальчик смотрел на звезды со слезами на глазах. У него не было сил взяться за весла, он не знал, как находить дорогу по звездам, он не знал, куда ему плыть, он не знал, где он и что ожидало его впереди, и все равно он был рад, что слышит шум бегущих волн, что ветер ожил, что лодка плыла по волнам.

Он плакал от радости и горя, оттого, что мир прояснился, оттого, что море пришло в движение и что, будь у него вода для питья и какая-то еда, он бы еще мог любить эту жизнь. Но он понимал, что не удастся теперь подняться с места, что дни его сочтены, что он умрет скоро от жажды…

А лодка плыла по волнам все резвей и резвей. Плыла по течению, без руля и без весел. Уже смутно угадывался над морем горизонт, все ясней раздвигалось ночное пространство, все реже встречались на пути скопления тумана. И мгла, что встречалась, была уже не та, не такая глухая

и всеподавляющая. Теперь в тумане чудились бесшумно мчащиеся фантастические существа. Они возникали и исчезали на ветру сами по себе, растворяя и расталкивая туман по сторонам.

Как только появлялась луна из-за облаков, поверхность моря живо рябилась, живо поблескивала, и снова угасала, и снова оживала. Мальчик смотрел на молчаливо светящиеся звезды и думал: «Которые из них звезды-охранительницы? Которая звезда аткычха Органа, которая аки-Мылгуна, а которая отца моего — Эмрайина? Вас не видно было все эти дни. И вы, звезды, не могли нас видеть в тумане. А теперь я один, и я не знаю, куда я плыву. Но мне теперь не страшно, потому что я вижу всех вас в небе. Только я не знаю, которая звезда чья. Но вы не виноваты, что так случилось. Вы же не видели нас в море. Великий туман скрывал нас. И теперь я один. А они уплыли, все трое уплыли. Они очень любили вас, звезды. Они очень ждали, очень хотели увидеть вас, чтобы найти дорогу к земле. Аткычх Орган говорил, что звезды никогда не подведут. Он хотел научить меня… Но вы не виноваты, что так случилось. Я тоже скоро умру. У меня нет воды, и я уже совсем без сил, и я не знаю, куда я плыву… У меня осталось немного воды, совсем немного, я ее

выпью сейчас, больше не могу терпеть, мочи нет. Я сегодня сжевал кусок торбы из-под юколы, она из нерпичьей шкуры. Но я больше не могу, меня тошнит, выворачивает от этого… Я выпью сейчас последнюю воду. И если мы не увидимся больше, я хочу сказать вам, звезды, — аткычх Орган, аки-Мылгун и отец мой Эмрайин очень любили вас… Если я буду до утра, я потом попрощаюсь…»

Вскоре лодка снова попала в обширную полосу тумана. И все скрылось, снова исчезла видимость. Но лодка по-прежнему плыла, гонимая ветром и волнами. Кириску теперь было безразлично. Выпив остаток окончательно прогнившей, затхлой воды, он остался лежать там, у пустого бочонка, на корме, на том месте, где обычно сидел старик Орган. Он приготовился умирать, и туман теперь ему был не страшен. Он лишь сожалел о том, что не видно стало звезд и что, возможно, он не успеет с ними попрощаться… Ему становилось все хуже и хуже…

Так он лежал в полубреду и полусне, и неизвестно, сколько прошло времени. Быть может, было уже за полночь, а быть может, ночь приближалась к концу. Трудно сказать. Легкая мгла стелилась над морем, как дым по ветру.

Есть судьба, и есть судьба. Мальчик мог услы-

шать, а мог и не услышать. Но он услышал. Он услышал, как над головой вдруг со свистом прошумели крылья и что-то низко пролетело во мгле над лодкой. Он встрепенулся и в мгновение ока успел увидеть, что то была птица, большая, сильная птица, широко машущая крыльями.

— Агукук! — прокричал он. — Агукук! — И успел проследить направление полета полярной совы и успел запомнить ветер. Ветер был слева, слева в затылок, чуть позади левого уха!

— Агукук! — прокричал он вслед птице и уже держал в руках органовский руль, направляя лодку туда, куда улетала агукук.

Кириск весь напрягся, вцепившись в рулевое весло, он поднял в себе все силы, которые еще сохранились в нем, и ни о чем другом не думал, он помнил только ветер и только направление полета.

Неизвестно было, куда и откуда летела полярная сова. С острова на материк или с материка на какой-нибудь остров. Но Кириск не забыл, как рассказывал старик Орган, — эта птица летит над морем только по прямой. Это самая сильная птица, летающая по ночам и в тумане. Теперь он следовал за ней.

Лодка же плыла с волны на волну. Ветер был

устойчивый. Мгла редела, развеивалась, и уже слегка светлели края неба. Впереди же, прямо перед ним, на плотном темно-синем небосклоне ярко высвечивалась одинокая лучистая звезда. Кириск заметил, что звезда стоит как раз в той стороне, куда направлял он нос лодки. Он догадался, что должен держаться ее, должен следить за ней и идти к ней, ибо туда, в ту сторону, пролетела агукук. Он не знал этой звезды, но теперь он не спускал с нее глаз и затылком помнил ветер: его направленность, его силу, его струю.

«Ты держись, ветер, не уходи. Я не знаю, как тебя звать, это мог бы сказать мне аткычх Орган. Но будь моим братом. Не уходи, не уклоняйся, ветер, в другую сторону. Ведь ты можешь долго держаться так, как тебе нужно. Помоги мне, ветер, не уходи. И я узнаю твое имя и буду звать тебя по имени. А хочешь, я буду звать тебя ветер Орган? По имени моего аткычха Органа. И буду всегда тебя так называть — ветер Орган. И ты будешь меня знать…»

Так заговаривал он попутный ему ветер, убеждал его держаться, вселяя в него свою волю и душу. А глаза не спускал с путеводной звезды, по которой он плыл. «Я люблю тебя, звезда моя, — говорил он звезде. — Ты так высоко и далеко стоишь

впереди. Ты самая большая и красивая. Я прошу тебя, не уходи, стой на месте, не угасай. Я плыву к тебе. В твою сторону пролетела агукук. Я не знаю, куда она полетела — на остров или на землю. Если даже на остров, пусть я умру на острове. Не уходи, не угасай, звезда. Я не знаю, как тебя звать, ты не гневись на меня. Я не успел узнать твоего имени. Твое имя мог бы сказать мне отец Эмрайин. Если хочешь, я буду звать тебя по имени отца, я буду называть тебя звездой Эмрайина. И когда ты будешь появляться на небе, я буду здороваться с тобой и шептать твое имя. А ты помоги мне, звезда Эмрайина, не уходи прежде времени, не угасай, не спрячься вдруг за тучей…»

Так заговаривал он свою путеводную звезду. И еще заговаривал он волны: «Волны, вы сейчас погоняете мой каяк, вы сейчас хороши. Я буду звать вас — волны акимылгуны. Вы идете туда, куда полетела агукук. Ведь вы можете долго катиться туда, куда вам нужно. Не уходите, волны акимылгуны, не сбивайтесь с пути. Я бы поплыл на веслах, но я совсем обессилел. Вы же видите, я плыву по вашей воле. Если я останусь жить, я всегда буду знать: вы идете по ветру Органа и звезде Эмрайина. И я всем передам: акимылгуны в море к добру! Помогите мне, акимылгуны. Не

уходите, не оставляйте меня…»

Среди всех звезд дольше всех светилась звезда Эмрайина. К рассвету она осталась одна на всем небосклоне. К рассвету она запылала сильным чистым сиянием, и потом постепенно угасала в сереющем воздухе утра, и еще долго проступала в небе нежным белым пятном.

Так наступило утро. Потом взошло солнце над морем. Кириск обрадовался и испугался. Обрадовался солнцу и испугался неоглядности моря. Переливаясь зыбкой синевой под солнцем, море было почти черным и необозримо пустынным. Мальчик судорожно держался за рулевое весло, пытаясь плыть по памяти, не сбиваясь с ветра. Это было утомительно…

Он помнил, как у него закружилась голова и все поплыло перед глазами…

Лодка шла теперь своим ходом…

Солнце уже передвинулось на другой край неба, когда мальчик пришел в себя. Подтягиваясь и опираясь на трясущиеся руки, он с трудом вылез на корму и замер с закрытыми глазами, пережидая головокружение. Потом он открыл глаза. Лодка плыла по волнам. И море все так же рябилось, насколько хватало глаз, бесчисленными бликами живой, колышущейся воды. Кириск

глянул перед собой, протер глаза и обомлел. Прямо на него из-за темно-зеленой горбины моря выплывал Пегий пес. Пегий пес бежал навстречу! Великий Пегий пес!

Берег был уже виден на краю моря серо-голубой гористой полосой. Но Пегий пес, белоухий и белопахий, вздымался выше всех сопок, и уже различима была кипящая кайма вечного прибоя у подножия Пегого пса. Уже слышны были в воздухе голоса прибрежных чаек. Чайки первыми приметили его. А над сопкой витал голубой дымок угасающего на круче сигнального костра…

Пегий пес, бегущий краем моря,
Я к тебе возвращаюсь один —
Без аткычха Органа,
Без отца Эмрайина,
Без аки-Мылгуна.
Где они, ты спроси у меня,
Но сначала дай мне напиться воды…

Кириск понял, что это и есть начальные слова его именной песни, с которой ему жить до конца его дней…

…Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухала, отражая

удары моря, каменно твердая земля.

И вот так они в противоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому, все дни и все ночи, пока пребудут земля и вода в нескончаемом времени…

Все дни и все ночи…

…Еще одна ночь протекала…

Шумел над морем ветер Орган, катились по морю волны акимылгуны, и сияла на краю светлеющего небосклона лучистая звезда Эмрайина.

…Еще один день наступал…

Рассказ о море

Фазиль Искандер
Рассказ

Я не помню, когда научился ходить, зато помню, когда научился плавать. Плавать я научился почти так же давно, как и ходить, но научился сам, а кто учил меня ходить — неизвестно. Воспитывали коллективно. Дом наш всегда был полон всякими двоюродными братьями и сестрами. Они спускались с гор, приезжали из окрестных деревень поступать в школы и техникумы и, поступая, проходили сквозь наш довольно тусклый дом, как сквозь тоннель. Среди них было немало забавных и интересных людей, некоторых я любил, но море мне все-таки нравилось больше, и поэтому я удирал к нему, когда только мог.

Летом море было ежедневным праздником. Бывало, только выйдем с ребятами со двора, а уж какое-то радостное волнение окрыляет шаги — быстрей, быстрей! Через весь город бежали на свидание с морем.

Конец улицы упирался в серую крепостную стену. За стеной — море. Крепость как бы пытается

закрыть от города море, но это ей плохо удается. Запах моря, всегда мощный и свежий, спокойно и даже насмешливо проходит сквозь каменную преграду.

Мне кажется, если к старинной стене подвести человека, никогда не видевшего моря, он догадается даже в полный штиль: за стеной живет что-то могучее и прекрасное, и не успокоится, пока не прикоснется к нему.

До революции крепость была тюрьмой, а еще раньше она была собственно крепостью. Из крепости легко сделать тюрьму, а из тюрьмы можно сделать крепость. Среди обломков сохранилась камера, где, говорят, сидел Серго Орджоникидзе, тогда еще фельдшер Гудаутского уезда.

Сквозь приплюснутое узкое оконце он смотрел вдаль как танкист в смотровую щель. Оконце позволяло смотреть только в одну сторону, в сторону моря. Человек, который должен смотреть в одну сторону, или ничего не видит, или видит больше тех, кто вынудил его смотреть в одну сторону. Если бы в долгие часы тюремного одиночества он видел только кусок моря, перечеркнутый железными прутьями, он смирился бы или сошел с ума. Но он видел больше и потому победил.

Обо всем этом мы тогда не думали. Мы про-

ходили через крепостной двор, всегда вкусно пахнущий жареной рыбой, мимо ярко выбеленных рыбацких домиков. Белье, развешанное на веревках, плотно надувалось ветром, близость моря не давала ему покоя, пеленки подражали парусам.

И наконец, море! Огромное и неожиданное, оно врывалось в глаза и обдавало стойкой соленой свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по крутой тропинке на берег и, не успев притормозить, летели в теплую, ласковую воду.

Когда пришла пора искать клады, один мой школьный товарищ шепнул мне, что видел в одном месте в море золотые монеты. Поклявшись никому не говорить об этой тайне, мы расстались до следующего дня. Ночью я плохо спал: ворочался, вскакивал, никак не мог дождаться рассвета. Чуть забрезжило, я встал и на цыпочках выскользнул из дому. Мы встретились у старой крепости. Говорили почему-то шепотом, хотя кругом на полкилометра простирался пустынный пляж. Было по-утреннему зябко, вода тихо плескалась у ног. Мы взобрались на мокрый от утренней сырости обломок крепостной стены и осторожно переползли к его краю. Легли на

живот и стали глядеть. Через некоторое время товарищ мой ткнул пальцем в воду. Свесив голову, замирая от волнения, я вглядывался, но ничего не видел, кроме смутного очертания дна. Но он очень хотел, чтобы я увидел монеты. И я наконец увидел их. Как бы колыхаясь, они таинственно поблескивали сквозь толщу воды. Разглядеть их можно было в короткое мгновение, когда одна волна уже пробежала, а другая еще не подошла.

Мы разделись и начали нырять. Вода еще была очень холодная: дело происходило в апреле или в начале мая. Я несколько раз нырнул, но до дна не достал. Не хватало дыхания, и уши сильно болели.

Я тогда еще не знал, что нырять нужно под углом, а не вертикально, как это я делал. Ныряя под углом, проходишь большее расстояние до дна, зато идти легко, а главное — уши привыкают к давлению и не болят.

Каждый раз я почти доныривал до дна. Казалось, только протяни руку — и схватишь монеты, но меня обманывала прозрачность воды. Наконец мне пришло в голову броситься в воду со скалы, чтобы глубже нырнуть за счет инерции прыжка. Я бухнулся в воду и без труда донырнул до дна. Схватив монеты вместе с горстью песка, я

с силой оттолкнулся и вынырнул. Ухватившись рукой за каменный выступ, я осторожно приподнял другую руку. Песок стыдливыми струйками стекал с ладони, а на ладони моей блестели две металлические пробки, которыми обычно закрывают бутылки с минеральной водой. Видно, какая-то компания трезво пировала, устроившись на этой каменной глыбе. Дорого же нам обошелся этот нарзанный пир! С трудом продев одеревеневшие руки и ноги в одежду, мы долго подпрыгивали и бегали по берегу, пока не согрелись. Море подшутило над нами.

Я люблю это место. Здесь можно было часами жариться, лежа на скале, лениво следя за дымящими теплоходами или парящими парусниками. В камнях водились крабы, мы их ловили, натыкая на заостренный железный прут. Море в этих местах наступает на берег: можно заплыть и метрах в двадцати от берега нащупать ногами ржавый обломок стены, неподвижно стоять на нем по грудь в воде, легким движением рук удерживая равновесие.

Я люблю это место. Здесь я когда-то научился плавать, и здесь же я чуть не утонул. Обычно любишь места, где пережил большую опасность, если она не результат чьей-то подлости.

Я хорошо запомнил день, когда научился плавать, когда я почувствовал всем телом, что могу держаться на воде и что море держит меня. Мне, наверное, было лет семь, когда я сделал это великолепное открытие. До этого я барахтался в воде и, может быть, даже немного плавал, но только если знал, что в любую секунду могу достать ногами дно.

Теперь это было совсем новое ощущение, как будто мы с морем поняли друг друга. Я теперь мог не только ходить, видеть, говорить, но и плавать, то есть не бояться глубины. И научился я сам! Я обогатил себя, никого при этом не ограбив.

Недалеко от берега из воды торчал зеленоватый обломок крепостной стены, через него перекатывались легкие волны. Я доплывал до него, ложился плашмя и отдыхал. Это было похоже на путешествие на необитаемый остров. Впрочем, остров был не такой уж необитаемый. С набегающей волной иногда выплескивался краб, неуклюже забегал за край скалы и, высовываясь из-за камня, следил за мной злыми хозяйскими глазами. Если глядеть в глубину, можно было заметить каких-то серебристых мальков, которые неожиданно проносились, вспыхивая как искры, выбитые из головешки.

Иногда я ложился на спину и, когда волна перекатывалась через меня, видел диск солнца, качающийся и мягкий.

Вокруг, в воде и на берегу, было много народу. Отдыхающих легко было узнать по неестественно белым телам или искусственно темному загару. На вершине каменной глыбы, громоздившейся на берегу, сидела девушка в синем купальнике. Она читала книгу — вернее, делала вид, что читает, точнее, притворялась, что пытается читать. Рядом с ней на корточках сидел парень в белоснежной рубашке и в новеньких туфлях, блестящих и черных, как дельфинья спина. Он ей что-то говорил. Девушка, иногда откидывая голову, смеялась и щурилась не то от солнца, не то оттого, что парень слишком близко и слишком прямо смотрел на нее. Отсмеявшись, она решительно опускала голову, чтобы читать, но парень опять что-то говорил, и она опять смеялась, и зубы ее блестели, как пена вокруг скалы и как рубашка парня. Он ей все время приятно мешал читать. Я следил за ними со своего островка и, хоть ничего не понимал в таких делах, понимал, что им хорошо. Парень иногда поворачивал голову и мельком глядел в сторону моря, как бы призывая его в свидетели. Он глядел весело и

уверенно, как подобает человеку, у которого все хорошо и еще долго будет все хорошо. Мне было приятно их видеть, и я вздрагивал от смутного и сладкого сознания, что когда-нибудь и у меня будет такое.

От долгого купания я продрог, но, не успев как следует отогреться на берегу, снова лез в воду. Я боялся, что чудо не повторится и я не смогу удержаться на воде.

До скалы и обратно — раз. До скалы и обратно — два, до скалы и обратно… И вдруг я понял, что тону. Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как английская соль, холодная и враждебная. Я рванулся изо всех сил и вынырнул. Солнце ударило по лицу, я услышал всплеск воды, смех, голоса и увидел парня и девушку.

Не знаю почему, выныривая, я не кричал. Возможно, не успевал, возможно, язык отнимался от страха. Но мысль работала ясно. Оттого, что я не мог кричать, было страшно, как это бывает во сне, и я с отчаянной жаждой ждал, что парень повернется в сторону моря. Но вдруг у меня в голове мелькнула неприятная догадка, что он не прыгнет в море в таких отутюженных брюках, в такой белоснежной рубашке, что я вообще не стою порчи таких прекрасных вещей. С этой

грустной мыслью я опять погрузился в воду, она казалась мутной и равнодушной. Нахлебавшись воды, я опять рванулся, и солнце опять ударило по глазам, и вокруг с удесятеренной отчетливостью слышались голоса людей. И тем обидней было тонуть у самого берега.

Второй раз я унырнул немного ближе к обломку скалы, на котором они сидели, и теперь совсем близко увидел туфлю парня, черную, лоснящуюся, крепко затянутую шнурком.

Я даже разглядел металлический наконечник на шнурке. Я вспомнил, что такие наконечники на моих ботинках часто почему-то терялись, и концы шнурков делались пушистыми, как кисточки, и их трудно было продеть в дырочки на ботинках, и я ходил с развязанными шнурками, и меня за это ругали. Вспоминая об этом, я еще больше пожалел себя.

В последний раз погружаясь в воду, я вдруг заметил, что лицо парня повернулось в мою сторону и что-то такое мелькнуло на нем, как будто он с трудом припоминает меня.

«Это я, я! — хотелось крикнуть мне. — Я проплывал мимо вас, вы должны меня вспомнить!» Я даже постарался сделать постное лицо; я боялся, что волнение и страх так исказили его, что па-

рень меня не узнает. Но он меня узнал, и тонуть стало как-то спокойней, и я уже не сопротивлялся воде, которая сомкнулась надо мной.

Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я очнулся и понял, что парень меня все-таки спас. От радости и от тепла, постепенно разливавшегося по телу, хотелось тихо и благодарно скулить. Но я не только не благодарил, но молча и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я был уверен, что мое спасение не стоит его намокшей одежды, и старался оправдаться серьезностью своего положения.

— Надо сделать искусственное дыхание, — раздался голос девушки надо мной.

— Сам очухается, — ответил парень, и я услышал, как хлюпнула вода в его туфле.

Что такое искусственное дыхание, я знал и поэтому сейчас же затаил дыхание. Но тут что-то подступило к горлу, и изо рта у меня полилась вода. Я поневоле открыл глаза и увидел лицо девушки, склоненное надо мной. Она стояла на коленях и, хлопая жесткими, выгоревшими ресницами, глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне на лоб, рука была теплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть ее ладонь.

— Трави, трави, — сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку.

Рубашка потемнела, но у самого ворота была белой, как и раньше: туда вода не доставала. Когда он заговорил, я понял, что расплаты за причиненный ущерб не будет. Я сосредоточился и «стравил»: было приятно, что у меня в животе столько воды. Ведь это означало, что я все-таки по-настоящему тонул.

— Будешь теперь заплывать? — спросил у меня парень, с силой выкручивая снятую рубашку.

Он теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и крепкий, он и раздетый казался нарядным.

— Не буду, — охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить.

— Напрасно, — сказал парень и еще туже закрутил рубашку.

Я решил, что это необычный взрослый и действовать надо необычно.

Я встал и, шатаясь, пошел к морю, легко доплыл до своего островка и легко поплыл обратно. Море возвращало силу, отнятую страхом. Парень стоял на берегу и улыбался мне, и я плыл на улыбку, как на спасательный круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая на него, и видно было, что она гордится им. Когда я вылез из воды, они медленно шли

вдоль берега, и девушка держала в руках свою ненужную, наконец закрытую книгу. Я лег на горячую гальку, стараясь плотнее прижиматься к ней, и чувствовал, как в меня входит крепкое, сухое тепло разогретых камней.

Так он и ушел навсегда со своей девушкой, ушел, мимоходом вернув мне жизнь.

1962